



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

АНТ. П. ЧЕХОВА.

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ.

Съ двумя портретами — при I и XVII томахъ.

ТОМЪ СЕДЬМОЙ.

СОДЕРЖАНИЕ:

Володя.—Квяглия.—Бѣда.—Спать хочется.—Холодная кровь.—Скучная история.—
Прпадокъ.—Шампанское.—Въ ссылкѣ.—Отецъ.—Жена.

INSTYTUT
ZADANI POLSKACKICH PAN
BIBLIOTEKA
00-30 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
Tel. 26-68-63

С.-ПЕТЕРВУРГЪ
Издание Т-ва А. Ф. МАРКСЪ.



Артистическое заведение Т-ва А. Ф. Маркса, Измайл. просп., № 29.

24. 113/2

В О Л О Д Я.

Въ одно изъ лѣтнихъ воскресеній, часовъ въ пять вечера, Володя, семнадцатилѣтній юноша, некрасивый, болѣзниный и робкій, сидѣлъ въ бесѣдкѣ на дачѣ у Шумихиныхъ и скучалъ. Его невеселыя мысли текли по тремъ направленіямъ. Во-первыхъ, на завтра, въ понедѣльникъ, ему предстояло держать экзаменъ по математикѣ; онъ зналъ, что если завтра ему не удастся решить письменную задачу, то его исключатъ, такъ какъ сидѣлъ онъ въ шестомъ классѣ два года и имѣлъ годовую отмѣтку по алгебрѣ $2\frac{3}{4}$. Во-вторыхъ, его пребываніе у Шумихиныхъ, людей богатыхъ и претендующихъ на аристократизмъ, причиняло постоянную боль его самолюбію. Ему казалось, что т-те Шумихина и ея племянницы глядятъ на него и его ташап, какъ на бѣдныхъ родственниковъ и приживаловъ, что онѣ не уважаютъ ташап и смѣются надъ ней. Разъ онъ нечаянно подслушалъ, какъ т-те Шумихина говорила на террасѣ своей кузинѣ Аннѣ Федоровнѣ, что ею ташап продолжаетъ еще молодиться и наводить на себя красоту, что она никогда не платить проигрыша и имѣть пристрастіе къ чужимъ ботинкамъ и къ чужому табаку. Каждый день Володя умолялъ ташап неѣздить къ Шумихинымъ, описывалъ ей, какую обидную роль играетъ она у этихъ господъ, убѣждалъ, говорилъ дерзости, но та, легко-мысленная, избалованная, прожившая на своемъ вѣку два состоянія — свое и мужино, всегда тяготѣвшая къ высшему обществу, не понимала его, и Володя раза два въ недѣлю долженъ былъ провожать ее на ненавистную дачу.

Въ-третьихъ, юноша ни на минуту не могъ отдѣлаться отъ страннаго, непріятнаго чувства, которое было для него совершенно ново... Ему казалось, что онъ былъ влюбленъ въ кузину и гостью Шумихиной, Анну Федоровну. Это была подвижная, голосистая и смѣшивавая барынька, лѣтъ тридцати, здоровая, крѣпкая, розовая, съ круглыми плечами, съ круглымъ жирнымъ подбородкомъ и съ постояннѣй улыбкой на тонкихъ губахъ. Она была некрасива и немолода — Володя отлично зналъ это, но почему-то онъ былъ не въ силахъ не думать о ней, не глядѣть на нее, когда она, играя въ крокетъ, пожимала своими круглыми плечами и двигала гладкой спиной, или же, послѣ долгаго смѣха и бѣготни по лѣстницамъ, падала въ кресло и, за-жмуривъ глаза, тяжело дыша, дѣлала видъ, что ея груди тѣсно и душно. Она была замужемъ. Ея мужъ, солидный архитекторъ, разъ въ недѣлю прїѣзжалъ на дачу, отлично высыпался и возвращался назадъ въ городъ. Странное чувство началось у Володи съ того, что онъ безпричинно возненавидѣлъ этого архитектора и радовался всякий разъ, когда тотъ уѣзжалъ въ городъ.

Теперь, сидя въ бесѣдкѣ и думая о завтрашнемъ экзамѣнѣ и о матанѣ, надь которой смѣются, онъ чувствовалъ сильное желаніе видѣть Нюту (такъ Шумихины называли Анну Федоровну), слышать ея смѣхъ, шорохъ ея платья... Это желаніе не походило на ту чистую, поэтическую любовь, которая была знакома ему по романамъ и о которой онъ мечталъ каждый вечеръ, ложась спать; оно было странно, непонятно, онъ стыдился его и боялся, какъ чего-то очень нехорошаго и нечистаго, въ чемъ тяжело сознаваться передъ самимъ собой...

— Это не любовь,—говорилъ онъ себѣ.—Въ тридцати-лѣтнихъ и замужнихъ не влюбляются... Это просто маленькая интрижка... Да, интрижка...

Думая объ интрижкѣ, онъ вспоминалъ про свою непобѣдимую робость, про отсутствіе усовъ, веснушки, узкіе глаза, ставилъ себя въ воображеніи рядомъ съ Нютою — и эта пара казалась ему невозможной; тогда спѣшилъ онъ вообразить себя красивымъ, смѣлымъ, остроумнымъ, одѣтымъ по самой послѣдней модѣ...

Въ самый разгаръ мечтаній, когда онъ, сгорбившись и глядя въ землю, сидѣлъ въ темномъ уголкѣ бесѣдки, по-

слышались легкие шаги. Кто-то не спеша шел по аллее. Скоро шаги затихли, и у входа мелькнуло что-то белое.

— Есть здесь кто-нибудь? — спросила женский голос.

Володя узнала этот голос и испуганно подняла голову.

— Кто тут? — спрашивала Нюта, входя в беседку. —

Ах, это вы, Володя? Что вы здесь делаете? Думаете? И как это можно все думать, думать, думать... этак можно съ ума сойти!

Володя поднялась и растерянно поглядела на Нюту. Она только-что вернулась из купальни. На ея плечах висели простыни и мохнатое полотенце, и из-подъ белого шелкового платка на головѣ выглядывали мокрые волосы, привившие ко лбу. Отъ нея шел влажный, прохладный запах купальни и миндального мыла. Отъ быстрой ходьбы она запыхалась. Верхняя пуговка ея блузы была разстегнута, такъ что юноша видѣл и шею, и грудь.

— Что же вы молчите? — спросила Нюта, оглядывая Володю. — Невѣжливо молчать, когда съ вами говорить дама. Какой вы, однако, тюлень, Володя! Вы все сидите, молчите, думаете, какъ философъ какой-нибудь. Въ васъ совсѣмъ нѣтъ жизни и огия! Противный вы, право... Въ ваши годы нужно жить, прыгать, болтать, ухаживать за женщинами, влюбляться.

Володя глядела на простыню, которую поддерживала белая, пухлая рука, и думалъ...

— Молчать! — удивлялась Нюта. — Это даже странно... Послушайте, будьте мужчиной! Ну, хоть улыбнитесь! Фу!, противный философъ! — засмеялась она. — А знаете, Володя, отчего вы такой тюлень? Оттого, что не ухаживаете за женщинами. Отчего вы не ухаживаете? Правда, здесь барышень нѣть, но вѣдь вамъ ничто не мѣшаетъ ухаживать за дамами! Отчего вы, напримѣръ, за мной не ухаживаете?

Володя слушалъ и въ тяжеломъ, напряженномъ раздумье почесывала себѣ високъ.

— Молчать и любить уединеніе только очень гордые люди, — продолжала Нюта, отдергивая его руку отъ виска. — Вы гордецъ, Володя. Почему вы глядите исподлобья? Извольте мнѣ глядѣть прямо въ лицо! Да ну же, тюлень!

Володя рѣшилъ заговорить. Желая улыбнуться, онъ задергалъ нижней губой, замигалъ глазами и опять потянулъ руку къ виску.

— Я... я люблю вась! — проговорилъ онъ.

Нюта удивленно подняла брови и засмѣялась.

— Что слышу я?! — занѣла она, какъ поютъ оперные пѣвцы, когда слышать что-нибудь ужасное. — Какъ? Что вы сказали? Повторите, повторите...

— Я... я люблю вась! — повторилъ Володя.

И ужъ безъ всяких участія своей воли, ничего не понимая и не соображая, онъ сдѣлалъ полшага къ Нютѣ и взялъ ее за руку выше кисти. Въ глазахъ его помутилось и выступили слезы, весь міръ обратился въ одно большое, мохнатое полотенце, отъ которого пахло купальней.

— Браво, браво! — услышалъ онъ веселый смѣхъ. — Что же вы молчите? Миѣ хочется, чтобы вы говорили! Ну?

Видя, что ему не мѣшаютъ держать руку, Володя взглянула на смѣющееся лицо Нюты и неуклюже, неудобно взялъ обѣими руками ее за талію, причемъ кисти обѣихъ рукъ его сопились на ея спинѣ. Онъ держалъ ее обѣими руками за талію, а она, закинувъ на затылокъ руки и показывая ямочки на локтяхъ, поправляла подъ платкомъ прическу и говорила покойнымъ голосомъ:

— Надо, Володя, быть ловкимъ, любезнымъ, милымъ, а такимъ можно сдѣлаться подъ вліяніемъ только женского общества. Однако, какое у вась нехорошее... злое лицо. Надо говорить, смѣяться... Да, Володя, не будьте букой, вы молоды и успѣете еще нафилософствовать. Ну, пустите меня, я пойду. Пустите же!

Она безъ усилия освободила свою талію и, что-то напѣвая, вышла изъ бесѣдки. Володя остался одинъ. Онъ пригладилъ свои волосы, улыбнулся и раза три прошелся изъ угла въ уголъ, потомъ сѣлъ на скамью и улыбнулся еще разъ. Ему было невыносимо стыдно, такъ что даже онъ удивлялся, что человѣческий стыдъ можетъ достигать такой остроты и силы. Отъ стыда онъ улыбался, шепталъ какія-то несвязанныя слова и жестикулировалъ.

Ему было стыдно, что съ нимъ только-что обошлись, какъ съ мальчикомъ, стыдно за свою робость, а главное за то, что онъ осмѣлился взять порядочную замужнюю женщину за талію, хотя ни по возрасту, ни по своимъ наружнымъ качествамъ, ни по общественному положенію онъ, какъ ему казалось, не имѣлъ на это никакого права.

Онъ вскочилъ, вышелъ изъ бесѣдки и, не оглядываясь, пошелъ въ глубину сада подальше отъ дома.

«Ахъ, поскорѣе бы уѣхать отсюда!—думалъ онъ, хватая себя за голову.—Боже, поскорѣе бы!»

Поѣздъ, на которомъ долженъ быть ѿхать Володя съ taman, отходилъ въ восемь часовъ сорокъ минутъ. Оставалось до поѣзда около трехъ часовъ, но онъ съ наслажденiemъ ушелъ бы на станцію сейчасъ же, не дожидаясь taman.

Въ восьмомъ часу онъ подходилъ къ дому. Вся его фигура изображала рѣшимость: что будетъ, то будетъ! Онъ рѣшился войти смѣло, глядѣть прямо, говорить громко, несмотря ни на что.

Онъ прошелъ террасу, большую залу, гостиную и остановился въ послѣдней, чтобы перевести духъ. Отсюда слышно было, какъ въ сосѣдней столовой пили чай. М-те Шумихина, taman и Нюта о чѣмъ-то говорили и смѣялись.

Володя прислушался.

— Увѣряю васъ!—говорила Нюта.—Я своимъ глазамъ не вѣрила! Когда онъ сталъ объясняться мнѣ въ любви и даже, представьте, взялъ меня за талию, я не узнала его. И знаете, у него есть манера! Когда онъ сказалъ, что влюбленъ въ меня, то въ лицѣ у него было что-то звѣрское, какъ у черкеса.

— Неужели!—ахнула taman, закатываясь протяжнымъ смѣхомъ.— Неужели! Какъ онъ напоминаетъ мнѣ своего отца!

Володя побѣжалъ назадъ и выскочилъ на свѣжій воздухъ.

«И какъ онѣ могутъ говорить вслухъ обѣ этомъ!—мучился онъ, всплескивая руками и съ ужасомъ глядя на небо.—Говорятъ вслухъ, хладнокровно... И taman смѣялась... taman! Боже мой, зачѣмъ ты далъ мнѣ такую мать? Зачѣмъ?

Но идти въ домъ нужно было, во что бы то ни стало. Онъ раза три прошелся по аллеѣ, немного успокоился и вошелъ въ домъ.

— Что же вы не приходите вѣ-время чай пить?—строго спросила м-те Шумихина.

— Виноватъ, мнѣ... мнѣ пора ѿхать,—забормоталъ онъ, не поднимая глазъ.—Maman, ужъ восемь часовъ!

— Поѣзжай самъ, мой милый,—сказала томно taman:—

я остаюсь ночевать у Лили. Прощай, мой другъ... Дай я тебе перекрещу...

Она перекрестила сына и сказала по-французски, обращаясь къ Нютѣ:

— Онъ немного похожъ на Лермонтова... Не правда ли?

Кое-какъ простившись и не взглянувъ ни на чье лицо, Володя вышелъ изъ столовой. Черезъ десять минутъ онъ ужъ шагалъ по дорогѣ къ станціи и былъ радъ этому. Теперь ужъ ему не было ни страшно, ни стыдно, дышалось легко и свободно.

Въ полуверстѣ отъ станціи онъ сѣлъ на камень у дороги и стала глядѣть на солнце, которое больше чѣмъ на половину спряталось за насыпь. На станціи ужъ кое-гдѣ зажглись огни, замелькаль одинъ мутный, зеленый огонекъ, но поѣзда еще не было видно. Володѣ пріятно было сидѣть, не двигаться и прислушиваться къ тому, какъ мало-малу наступалъ вечеръ. Сумракъ бесѣдки, шаги, запахъ купальни, смѣхъ и талія — все это съ поразительной ясностью предстало въ его воображеніи и все это ужъ не было такъ страшно и значительно, какъ раньше...

«Пустяки...» Она не отдернула руку и смѣялась, когда я держалъ ее за талію, — думалъ онъ: — значитъ, ей это нравилось. Если бъ ей это было противно, то она разсердила бы...»

И теперь Володѣ стало досадно, что тамъ, въ бесѣдкѣ, у него было недостаточно смѣлости. Ему стало жаль, что онъ такъ глупо уѣзжалъ, и ужъ онъ былъ увѣренъ, что если бы тотъ случай повторился, то онъ былъ бы смѣлѣе и проще смотрѣлъ бы на вещи.

А слушаю повторяться не трудно. У Шумихиныхъ послѣ ужина долго гуляютъ. Если Володя пойдетъ гулять съ Нютой по темному саду, то — вотъ и случай!

«Вернусь, — думалъ онъ: — а уѣду завтра съ утреннимъ поѣздомъ... Скажу, что опоздалъ къ поѣзду».

И онъ вернулся... M-me Шумихина, maman, Нюта и одна изъ племянницъ сидѣли на террасѣ и играли въ винтъ. Когда Володя солгалъ имъ, что опоздалъ къ поѣзду, онъ обезпокоились, какъ бы онъ завтра не опоздалъ къ экзамену, и посовѣтовали ему встать пораньше. Все время, пока онъ играли въ карты, онъ сидѣлъ въ сторонѣ, жадно оглядывалъ Нюту и ждалъ... Въ его головѣ ужъ готовъ

былъ планъ: онъ подойдеть въ потемкахъ къ Нютѣ, возьметъ ее за руку, потомъ обниметъ; говорить ничего не нужно, такъ какъ обоимъ все будетъ понятно безъ разговоровъ.

Но послѣ ужина дамы не пошли гулять въ садъ и продолжали играть въ карты. Играли онѣ до часа ночи и потомъ разошлись спать.

«Какъ это все глупо! — досадовалъ Володя, ложась въ постель. — Но ничего, погожу завтрашняго дня... Завтра опять въ бесѣдкѣ. Ничего...»

Онъ не старался уснуть, а сидѣлъ въ постели, обнявъ руками колѣни, и думалъ. Мысль объ экзаменѣ была ему противна. Онъ ужъ рѣшилъ, что его исключать и что въ этомъ исключеніи нѣтъ ничего ужаснаго. На противъ, все очень хорошо, даже очень. Завтра онъ будетъ свободенъ, какъ итица, надѣнетъ партикулярное платье, будетъ курить явно,ѣздить сюда и ухаживать за Нютой, когда угодно; и ужъ онъ будетъ не гимназистомъ, а «молодымъ человѣкомъ». А остальное, что называется карьерой и будущимъ, такъ ясно: Володя поступитъ въ вольноопредѣляющіеся, въ телеграфисты, наконецъ, въ аптеку, гдѣ до служится до провизора... мало ли должностей? Прошелъ часъ-другой, а онъ все сидѣлъ и думалъ...

Въ третью часу, когда ужъ свѣтало, дверь осторожно скрипнула, и въ комнату вошла мама.

— Ты не спишь? — спросила она, зѣвая. — Спи, спи, я на минутку... Я только капли возьму...

— Зачѣмъ вамъ?

— У бѣдной Лили опять спазмы. Спи, дитя мое, у тебя завтра экзаменъ...

Она достала изъ шкафчика флаконъ съ чѣмъ-то, подошла къ окну, прочла сигнатурку и вышла.

— Марья Леонтьевна, это не тѣ капли! — услышала черезъ минуту Володя женскій голосъ. — Это ландышъ, а Лили просить морфинъ. Вашъ сынъ спить? Попросите его, чтобы онъ отыскалъ...

Это былъ голосъ Нюты. Володя похолодѣлъ. Онъ быстро надѣлъ брюки, накинулъ на плечи шинель и пошелъ къ двери.

— Понимаете? Морфинъ! — объясняла шепотомъ Нюта.

Тамъ должно быть написано по-латыни. Разбудите Володю, онъ найдеть...

Maman открыла дверь, и Володя увидѣлъ Нюту. Она была въ той же самой блузѣ, въ какой ходила купаться. Волосы ея были не причесаны, разбросаны по плечамъ, лицо заспанное, смуглое отъ сумерекъ...

— Вотъ Володя не спитъ...—сказала она.—Володя, поищите, голубчикъ, въ шкатулкѣ морфинъ! Наказаніе съ этой Лили... Вѣчно у нея что-нибудь.

Maman что-то пробормотала, зѣвнула и ушла.

— Ищите же,—сказала Нюта.—Что стоятъ?

Володя пошелъ къ шкатулку, присѣлъ на колѣни и сталъ перебирать флашончики и коробки съ лѣкарствами. Руки у него дрожали, а въ груди и въ животѣ было такое ощущеніе, какъ будто по всѣмъ его внутренностямъ бѣгали холодныя волны. Отъ запаха энира, карболовой кислоты и разныхъ травъ, за которыхъ онъ безъ всякой надобности хватался дрожащими руками и которыхъ разсыпалась отъ этого, ему было душно и кружилась голова.

«Кажется, ташан ушла,— думалъ онъ. — Это хорошо... хорошо...»

— Скоро же?—спросила протяжно Нюта.

— Сейчасъ... Вотъ это, кажется, морфинъ...—сказалъ Володя, прочитавъ на одной изъ сигнатуръ слово «morph...»— Извольте!

Нюта стояла въ дверяхъ такъ, что одна нога ея была въ коридорѣ, а другая въ его комнатѣ. Она поправляла свои волосы, которые трудно было поправить — такъ они были густы и длинны! — и разсѣянно глядѣла на Володю. Въ просторной блузѣ, заспанной, съ распущенными волосами, при томъ скучномъ свѣтѣ, какой шелъ въ комнату отъ бѣлаго, но еще не освѣщенаго солнцемъ неба, она показалась Володѣ обаятельной, роскошной... Очарованный, дрожа всѣмъ тѣломъ и съ наслажденіемъ вспоминая о томъ, какъ онъ обнималъ это чудное тѣло въ бесѣдкѣ, онъ подалъ ей капли и сказалъ:

— Какая вы...

— Что?

Она вошла въ комнату.

— Что?—спросила она, улыбаясь.

Онъ молчалъ и смотрѣлъ на нее, потому, какъ тогда въ

бесѣдкѣ, взялъ за руку... А она смотрѣла на него, улыбалась и ждала: что будетъ дальше?

— Я васъ люблю...—прошепталъ онъ.

Она перестала улыбаться, подумала и сказала:

— Погодите, кажется, кто-то идетъ. Охъ, ужъ эти мнѣ гимназисты!—говорила она вполголоса, идя къ двери и выглядывая въ коридоръ.—Нѣтъ, никого не видно...

Она вернулась...

Затѣмъ Володѣ показалось, что комната, Нюта, разсвѣтѣлъ самъ онъ—все слилось въ одно ощущеніе остраго, необыкновеннаго, небывалаго счастья, за которое можно отдать всю жизнь и пойти на вѣчную муку, но прошло полминуты, и все это вдругъ исчезло. Володя видѣлъ одно только полное, некрасивое лицо, искаженное выраженіемъ гадливости, и самъ вдругъ почувствовалъ отвращеніе къ тому, что произошло.

— Однако мнѣ нужно уходить,—сказала Нюта, брезгливо оглядывая Володю.—Какой некрасивый, жалкій... фи, гадкій утенокъ!

Какъ теперь Володѣ казались безобразны ея длинные волосы, просторная блузка, ея шаги, голосъ!..

«Гадкій утенокъ... — думалъ онъ послѣ того, какъ она ушла.—Въ самомъ дѣлѣ я гадокъ... Все гадко».

На дворѣ ужъ восходило солнце, громко пѣли птицы; слышно было, какъ въ саду шагалъ садовникъ и какъ скрипѣла его тачка... А немнога погодя послышалось мычанье коровъ и звуки пастушеской свирѣли. Солнечный свѣтъ и звуки говорили, что гдѣ-то на этомъ свѣтѣ есть жизнь чистая, изящная, поэтическая. Но гдѣ она? О ней никогда не говорили Володѣ ни татан, ни всѣ тѣ люди, которые окружали его.

Когда лакей будилъ его къ утреннему поѣзду, онъ представился спящимъ...

«Ну его, все къ чорту!»—думалъ онъ.

Всталъ онъ съ постели въ одиннадцатомъ часу. Причесываясь передъ зеркаломъ и глядя на свое некрасивое, блѣдное отъ безсонной ночи лицо, онъ подумалъ:

«Совершенно вѣрно... Гадкій утенокъ».

Когда татан увидѣла его и ужаснулась, что онъ не на экзаменѣ, Володя сказалъ

— Я проспалъ, татаан... Но вы не беспокойтесь, я представляю медицинское свидѣтельство.

М-те Шумихина и Нюта проснулись въ первомъ часу. Володя слышалъ, какъ проснувшаяся м-те Шумихина со звономъ открыла у себя окно, какъ на ея грубый голосъ отвѣтила Нюта раскатистымъ смѣхомъ. Онъ видѣлъ, какъ отворилась дверь и изъ гостиной потянулась къ завтраку вереница племянницъ и приживалокъ (въ толпѣ послѣднихъ была и татаан), какъ замелькало умытое, смѣющееся лицо Нюты, а рядомъ съ ея лицомъ черные брови и борода только-что пріѣхавшаго архитектора.

Нюта была въ малороссийскомъ костюмѣ, который совсѣмъ не шелъ къ ней и дѣлалъ ее неуклюжею; архитекторъ остряль пошло и плоско; въ котлетахъ, что подавали за завтракомъ, было очень много луку—такъ казалось Володѣ. Ему также казалось, что Нюта нарочно громко хохотала и поглядывала въ его сторону, чтобы этимъ дать понять ему, что воспоминаніе о ночи нисколько не беспокоитъ ея и что она не замѣчаетъ присутствія за столомъ гадкаго утенка.

Въ четвертомъ часу Володя ѿхалъ съ татаан на станцію. Грязныя воспоминанія, безсонная ночь, предстоящее исключеніе изъ гимназіи, угрizenія совѣсти—все это возбуждало въ немъ теперь тяжелую, мрачную злобу. Онъ глядѣлъ на тощий профиль татаан, на ея маленький носикъ, на ватерпруфъ, подаренный ей Нютой, и бормоталъ:

— Зачѣмъ вы пудрите? Это не пристало въ ваши годы! Вы наводите на себя красоту, не платите проигрыша, курите чужой табакъ... противно! Я васъ не люблю... не люблю!

Онъ оскорблялъ ее, а она испуганно поводила своимъ глазками, всплескивала ручками и шептала въ ужасѣ:

— Что ты, другъ мой? Боже мой, кучерь услышитъ! Замолчи, а то кучерь услышитъ! Ему все слышно!

— Не люблю... не люблю!—продолжалъ онъ, задыхаясь.—Вы безнравственная, бездушная... Не смѣйте носить этого ватерпруфа! Слышите? А то я изорву его въ клочки...

— Опомнись, дитя мое! — заплакала татаан. — Кучерь услышитъ!

— А гдѣ состояніе моего отца? Гдѣ ваши деньги? Вы все промотали! Мнѣ не стыдно своей бѣдности, но стыдно, что у меня такая мать... Когда мои товарищи спрашиваютъ о васъ, я всегда краснѣю.

На поѣздѣ пришлось ѻхать до города двѣ станціи. Все время Володя стоялъ на площадкѣ и дрожалъ всѣмъ тѣломъ. Ему не хотѣлось входить въ вагонъ, такъ какъ тамъ сидѣла мать, которую онъ ненавидѣлъ. Ненавидѣлъ онъ самого себя, кондукторовъ, дымъ отъ паровоза, холодъ, которому приписывалъ свою дрожь... И чѣмъ тяжелѣ становилось у него на душѣ, тѣмъ сильнѣе онъ чувствовалъ, что гдѣ-то на этомъ свѣтѣ, у какихъ-то людей есть жизнь чистая, благородная, теплая, изящная, полная любви, ласкъ, веселья, раздолья... Онъ чувствовалъ это и тосковалъ такъ сильно, что даже одинъ пассажиръ, пристально поглядѣвъ ему въ лицо, спросилъ:

— Вѣроятно, у васъ зубы болятъ?

Въ городѣ taman и Володя жили у Мары Петровны, дамы-дворянки, которая нанимала большую квартиру и отъ себя сдавала ее жильцамъ. Матан нанимала двѣ комнаты: въ одной съ окнами, гдѣ стояла ея кровать и висѣли на стѣнахъ двѣ картины въ золотыхъ рамкахъ, жила она сама, а въ другой, смежной, маленькой и темной, жилъ Володя. Тутъ стоялъ диванъ, на которомъ онъ спалъ, и кромѣ этого дивана не было никакой другой мебели: вся комната была занята плетеными корзинами съ платьемъ, картонками отъ шляпъ и всяkimъ хламомъ, который для чего-то берегла taman. Уроки приготовлялъ Володя въ комнатѣ матери или въ «общей»—такъ называлась большая комната, куда всѣ жильцы сходились во время обѣда и по вечерамъ.

Вернувшись домой, онъ легъ на диванъ и укрылся одѣломъ, чтобы унять дрожь. Картонки отъ шляпъ, плетенки и хламъ напомнили ему, что у него нѣть своей комнаты, нѣть пріюта, гдѣ бы онъ могъ спрятаться отъ taman, отъ ея гостей и отъ голосовъ, которые доносились теперь изъ «общей»; ранецъ и книги, разбросанныя по угламъ, напомнили ему обѣ экзаменѣ, на которомъ онъ не былъ... Почему-то совсѣмъ некстати пришла ему на память Ментона, гдѣ онъ жилъ со своимъ покойнымъ отцомъ, когда было семи лѣтъ; припомнились ему Біаррицъ и двѣ дѣвочки-англичанки, съ которыми онъ бѣгалъ по песку... Захотѣлось возобновить въ памяти цвѣты неба и океана, высоту волнъ и свое тогдашнее настроеніе, но это не удалось ему, дѣвочки-англичанки промелькнули въ воображеніи, какъ живыя, все же остальное смѣщалось, безпорядочно расплылось...

«Нѣтъ, здѣсь холодно»,—подумалъ Володя, всталъ, надѣлъ шинель и пошелъ въ «общую».

Въ «общей» пили чай. За самоваромъ сидѣли трое: *maman*, учительница музыки, старушка въ черепаховомъ *princepe* и Августинъ Михайловичъ, пожилой, очень толстый французъ, служившій на парфюмерной фабрикѣ.

— Я сегодня не обѣдала,—говорила *maman*.—Надо бы горничную послать за хлѣбомъ.

— Дуняша!—крикнулъ французъ.

Оказалось, что горничную услала куда-то хозяйка.

— О, это ничего не означаетъ,—сказалъ французъ, широко улыбаясь.—Я сейчасъ самъ схожу за хлѣбомъ. О, это ничего!

Онъ положилъ свою крѣпкую, вонючую сигару на видное мѣсто, надѣлъ шляпу и вышелъ. По уходѣ его, *maman* стала рассказывать учительницѣ музыки о томъ, какъ она гостила у Шумихиныхъ и какъ хорошо ее тамъ принимали.

— Вѣдь Лили Шумихина моя родственница...—говорила она.—Ея покойный мужъ, генералъ Шумихинъ, приходится кузеномъ моему мужу. А сама она урожденная баронесса Кольбъ...

— *Maman*, это неправда!—сказалъ раздраженно Володя.—Зачѣмъ лгать?

Онъ зналъ отлично, что *maman* говорить правду; въ ея разказѣ о генералѣ Шумихинѣ и урожденной баронессы Кольбѣ не было ни одного слова лжи, но тѣмъ не менѣе, все-таки онъ чувствовалъ, что она лжетъ. Ложь чувствовалась въ ея манерѣ говорить, въ выраженіи лица, во взглядѣ, во всемъ.

— Вы лжете! — повторилъ Володя и ударилъ кулакомъ по столу съ такой силой, что задрожала вся посуда и у *maman* расплескался чай.—Для чего вы рассказываете про генераловъ и баронессы? Все это ложь!

Учительница музыки растерялась и закашляла въ платокъ, дѣля видѣ, что она поперхнулась, а *maman* заплакала.

«Куда уйти?»—подумалъ Володя.

На улицѣ онъ ужъ былъ; къ товарищамъ идти стыдно. Опять некстати припомнились ему двѣ дѣвочки-англичанки... Онъ прошелся изъ угла въ уголъ по «общей» и вошелъ въ

комнату Августина Михайлыча. Тутъ сильно пахло эфирными маслами и глицериновымъ мыломъ. На столѣ, на окнахъ и даже на стульяхъ стояло множество флаконовъ, стаканчиковъ и рюмокъ съ разноцвѣтными жидкостями. Володя взялъ со стола газету, развернулъ ее и прочелъ заглавіе: «*Figaro*»... Газета издавала какой-то сильный и пріятный запахъ. Потомъ онъ взялъ со стола револьверъ...

— Полноте, не обращайте вниманія! — утѣшала въ съдней комнатѣ учительница музыки *шатан*. — Онъ еще такъ молоды! Въ его годы молодые люди всегда позволяютъ себѣ лишнее. Съ этимъ надо мириться.

— Нѣть, Евгенія Андреевна, онъ слишкомъ испорченъ! — говорила *шатан* нараспѣвъ. — Надѣ ниимъ нѣть старшаго, а я слаба и ничего не могу сдѣлать. Нѣть, я несчастна!

Володя вложилъ дуло револьвера въ ротъ, нащупалъ что-то похожее на курокъ или собачку и надавилъ пальцемъ... Потомъ нащупалъ еще какой-то выступъ и еще разъ надавилъ. Вынувъ дуло изо рта, онъ вытеръ его о полу шинели, оглядѣлъ замокъ; раньше онъ никогда въ жизни не бралъ въ руки оружія...

— Кажется, это надо поднять... — соображалъ онъ. — Да, кажется...

Въ «общую» вошелъ Августинъ Михайлычъ и, хохоча, сталъ рассказывать о чёмъ-то. Володя опять вложилъ дуло въ ротъ, сжалъ его зубами и надавилъ что-то пальцемъ. Раздался выстрѣль... Что-то съ страшною силою ударило Володю по затылку, и онъ упалъ на столъ, лицомъ прямо въ рюмки и во флаконы. Затѣмъ онъ увидѣлъ, какъ его покойный отецъ въ цилиндрѣ съ широкой, черной лентой, носившій въ Ментонѣ трауръ по какой-то дамѣ, вдругъ охватилъ его обѣими руками, и оба они полетѣли въ какую-то очень темную, глубокую пропасть.

Потомъ все смѣшалось и исчезло...

КНЯГИНИЯ.

Въ большія, такъ-называемыя «Красныя» ворота N—скаго мужскаго монастыря вѣхала коляска, заложенная въ четверку сътыхъ, красивыхъ лошадей; іеромонахи и послушники, стоявшіе толпой около дворянской половины гостиаго корпуса, еще издали по кучеру и по лошадямъ узнавали въ дамѣ, которая сидѣла въ коляскѣ, свою хорошую знакомую, княгиню Вѣру Гавриловну.

Старикъ въ ливреѣ прыгнулъ съ козель и помогъ княгинѣ выйти изъ экипажа. Она подняла темную вуаль и не спѣша подошла ко всѣмъ іеромонахамъ подъ благословеніе, потомъ ласково кивнула послушникамъ и направилась въ покой.

— Что, соскучились безъ своей княгини?—говорила она монахамъ, вносившимъ ея вещи.—Я у васъ цѣлый мѣсяцъ не была. Ну, вотъ пріѣхала, глядите на свою княгиню. А гдѣ отецъ архимандритъ? Боже мой, я сгораю отъ нетерпѣнія! Чудный, чудный старикъ! Вы должны гордиться, что у васъ такой архимандритъ.

Когда вошелъ архимандритъ, княгиня восторженно вскрикнула, скрестила на груди руки и подошла къ нему подъ благословеніе.

— Нѣтъ, нѣть! Дайте мнѣ подѣловать! — сказала она, хватая его за руку и жадно цѣлюя ее три раза.—Какъ я рада, святой отецъ, что наконецъ вижу васъ! Вы, небось, забыли свою княгиню, а я каждую минуту мысленно жила въ вашемъ миломъ монастырѣ. Какъ у васъ здѣсь хорошо! Въ этой жизни для Бога, вдали отъ суетнаго міра, есть

какая-то особая прелестъ, святой отецъ, которую я чувствую всей душой, но передать на словахъ не могу!

У княгини покраснѣли щеки и навернулись слезы. Говорила она безъ умолку, горячо, а архимандритъ, старикъ лѣтъ 70, серьезный, некрасивый и застѣнчивый, молчалъ, лишь изрѣдка говорилъ сорывисто и по-военному:

— Такъ точно, ~~заше~~ сиятельство... слушаю-сь... понимаю-сь...

— Надолго изволили пожаловать къ намъ? — спросилъ онъ.

— Сегодня я переношу у васъ, а завтра поѣду къ Клавдію Николаевичу — давно ужъ мы съ ней не видались, а послѣ завтра опять къ вамъ и проживу дня три-четыре. Хочу у васъ здѣсь отдохнуть душой, святой отецъ...

Княгиня любила бывать въ N—скомъ монастырѣ. Въ послѣдніе два года она облюбовала это мѣсто и пріѣзжала сюда почти каждый лѣтній мѣсяцъ и жила дня по два, по три, а иногда и по недѣлѣ. Робкіе послушники, тишина, низкіе потолки, зашахъ кипариса, скромная закуска, дешевыя занавѣски на окнахъ — все это трогало ее, умиляло и располагало къ созерцанію и хорошимъ мыслямъ. Достаточно ей было побыть въ покояхъ полчаса, какъ ей начинало казаться, что она тоже робка и скромна, что и отъ нея пахнетъ кипарисомъ: прошлое уходило куда-то вдаль, теряло свою цѣну, и княгиня начинала думать, что, несмотря на свои 29 лѣтъ, она очень похожа на старого архимандрита и такъ же, какъ онъ, рождена не для богатства, не для земного величія и любви, а для жизни тихой, скрытой отъ міра, сумеречной, какъ покой...

Бываетъ такъ, что въ темную келію постника, погруженного въ молитву, вдругъ нечаянно заглянетъ лучъ, или сядеть у окна келии птичка и запоетъ свою пѣсню; суровый постникъ невольно улыбнется, и въ его груди изъподъ тяжелой скорби о грѣхахъ, какъ изъ-подъ камня, вдругъ польется ручьемъ тихая, безгрѣшная радость. Княгинѣ казалось, что она приносila съ собою извѣнѣально такое же утѣшеніе, какъ лучъ или птичка. Ея привѣтливая, веселая улыбка, кроткій взглядъ, голосъ, шутки, вообще вся она, маленькая, хорошо сложенная, одѣтая въ простое черное платье, своимъ появлѣніемъ должна была возбуждать въ простыхъ, суровыхъ людяхъ чувство умиле-

нія и радости. Каждый, глядя на нее, долженъ быль думать: «Богъ послалъ намъ ангела»... И чувствуя, что каждый невольно думаетъ это, она улыбалась еще привѣтливѣ и старалась походить на птичку.

Напившись чаю и отдохнувъ, она вышла погулять. Солнце уже сѣло. Отъ монастырскаго цвѣтника повѣяло на княгиню душистой влагой только то политой резеды, изъ церкви донеслось тихое пѣніе мужскихъ голосовъ, которое издали казалось очень пріятнымъ и грустнымъ. Шла всенощная. Въ темныхъ окнахъ, гдѣ кротко мерцали лампадные огоньки, въ тѣняхъ, въ фигурѣ старика монаха, сидѣвшаго на паперти около образа съ кружкой, было написано столько безмятежнаго покоя, что княгинѣ почему-то захотѣлось плакать...

А за воротами, на аллѣѣ между стѣной и березами, гдѣ стоять скамьи, быль уже совсѣмъ вечеръ. Воздухъ темнѣлъ быстро, быстро... Княгиня прошлась по аллѣѣ, сѣла на скамью и задумалась.

Она думала о томъ, что хорошо бы поселиться на всю жизнь въ этомъ монастырѣ, гдѣ жизнь тиха и безмятежна, какъ лѣтній вечеръ; хорошо бы позабыть совсѣмъ о неблагодарномъ, распутномъ князѣ, о своемъ громадномъ состояніи, о кредиторахъ, которые безнокоятъ ее каждый день, о своихъ несчастьяхъ, о горничной Дашѣ, у которой сегодня утромъ было дерзкое выраженіе лица. Хорошо бы всю жизнь сидѣть здѣсь на скамье и сквозь стволы березъ смотрѣть, какъ внизу подъ горой ключами бродить вечерній туманъ, какъ далеко-далеко надъ лѣсомъ чернымъ облакомъ, похожимъ на вуаль, летять на ночлегъ грачи, какъ два послушника — одинъ верхомъ на пѣгой лошади, другой пѣшикомъ — гонять лошадей на ночное и, обрадовавшись свободѣ, шалять, какъ малыя дѣти; ихъ молодые голоса звонко раздаются въ неподвижномъ воздухѣ, и можно разобрать каждое слово. Хорошо сидѣть и прислушиваться къ тишинѣ: то вѣтеръ подуетъ и тронетъ верхушки березъ, то лягушка запелестить въ прошлогодней листвѣ, то за стѣною колокольные часы пробьютъ четверть... Сидѣть бы неподвижно, слушать и думать, думать, думать...

Мимо прошла старуха съ котомкой. Княгиня подумала что хорошо бы остановить эту старуху и сказать ей что

нибудь ласковое, задушевное, помочь ей... Но старуха ни разу не оглянулась и повернула за уголъ.

Немного погодя, на аллѣѣ показался высокій мужчина, съ сѣдой бородой п въ соломенной шляпѣ. Поровнявшись съ княгиней, онъ снялъ шляпу и поклонился, и по его большой лысинѣ и острому, горбатому носу княгиня узнала въ немъ доктора Михаила Ивановича, который, лѣтъ пять тому назадъ, служилъ у нея въ Дубовкахъ. Она вспомнила, что кто-то ей говорилъ, что въ прошломъ году у этого доктора умерла жена, и ей захотѣлось посочувствовать ему, утѣшить.

— Докторъ, вы, вѣроятно, меня не узнаете? — спросила она, привѣтливо улыбаясь.

— Нѣть, княгиня, узналъ, — сказалъ докторъ, снимая еще разъ шляпу.

— Ну, спасибо, а то я думала, что и вы забыли свою княгиню. Люди помнить только своихъ враговъ, а друзей забываютъ. И вы прїѣхали помолиться?

— Я здѣсь каждую субботу ночью, по обязанности. Я гуть лѣчу.

— Ну, какъ поживаете? — спросила княгиня, вздыхая. — Я слышала, у васъ скончалась супруга! Какое несчастье!

— Да, княгиня, для меня это большое несчастье.

— Что дѣлать! Мы должны съ покорностью переносить несчастья. Безъ воли Провидѣнія ни одинъ волосъ не падаетъ съ головы человѣка.

— Да, княгиня.

На привѣтливую, кроткую улыбку княгини и ея вздохи докторъ отвѣчалъ холодно и сухо: «Да, княгиня». И выраженіе лица у него было холодное, сухое.

«Чтѣ бы еще такое сказать ему?» — подумала княгиня.

— Сколько времени мы съ вами не видѣлись, однако! — сказала она. — Пять лѣтъ! За это время сколько воды въ море утекло, сколько произошло перемѣнъ, даже подумать страшно! Вы знаете, я замужъ вышла... изъ графини стала княгиней. И уже успѣла разойтись съ мужемъ.

— Да, я слышалъ.

— Много Богъ послалъ мнѣ испытаній! Вы, вѣроятно, тоже слышали, я почти разорена. За долги моего несчастнаго мужа продали у меня Дубовки, и Кирьяково, и Софино. Остались у меня только Бараново да Михаль-

цево. Страшно оглянуться назадъ: сколько перемѣнъ, не-частій разныхъ, сколько ошибокъ!

— Да, княгиня, много ошибокъ.

Княгиня немного смущилась. Она знала свои ошибки; все онѣ были до такой степени интимны, что только одна она могла думать и говорить о нихъ. Она не удержалась и спросила:

— Вы про какія ошибки думаете?

— Вы упомянули о нихъ, стало-быть, знаете... — отвѣтилъ докторъ и усмѣхнулся.—Что жъ о нихъ говорить!

— Нѣтъ, скажите, докторъ. Я буду вамъ очень благодарна! И, пожалуйста, не церемоньтесь со мной. Я люблю слушать правду.

— Я вамъ не судья, княгиня.

— Не судья? Какимъ вы тономъ говорите! Значить, знаете что-то. Скажите!

— Если желаете, то извольте. Только, къ сожалѣнію, я не умѣю говорить и меня не всегда можно понять.

Докторъ подумалъ и началъ:

— Ошибокъ много, но собственно главная изъ нихъ, по моему мнѣнію, это общий духъ, которымъ... который царилъ во всѣхъ вашихъ имѣніяхъ. Видите, я не умѣю выражаться. То-есть главное — это нелюбовь, отвращеніе къ людямъ, какое чувствовалось положительно во всемъ. На этомъ отвращеніи у васъ была построена вся система жизни. Отвращеніе къ человѣческому голосу, къ лицамъ, къ затылкамъ, шагамъ... однимъ словомъ, ко всему, что составляетъ человѣка. У всѣхъ дверей и на лѣстницахъ стоять сытые, грубые и лѣнивые гайдуки въ ливреяхъ, чтобы не пускать въ домъ неприлично одѣтыхъ людей; въ передней стоять стулья съ высокими спинками, чтобы во время баловъ и приемовъ лакеи не пачкали затылками обоеvъ на стѣнахъ; во всѣхъ комнатахъ шарнировые ковры, чтобы не было слышно человѣческихъ шаговъ; каждого входящаго обязательно предупреждаютъ, чтобы онъ говорилъ потише и поменьше и чтобы не говорилъ того, что можетъ дурно повліять на воображеніе и нервы. А въ вашемъ кабинетѣ не подаютъ человѣку руки и не просятъ его садиться, точно такъ, какъ сейчасъ вы не подали мнѣ руки и не пригласили сѣсть...

— Извольте, если хотите! — сказала княгиня, протягив-

вая руку и улыбаясь. — Право, сердиться изъ-за такого пустяка...

— Да развѣ я сержусь? — засмеялся докторъ, но тотчасъ же всыпнулъ, снялъ шляпу и, размахивая сю, заговорилъ горячо:— откровенно говоря, я давно уже ждалъ случая, чтобы сказать вамъ все, все... То-есть я хочу сказать, что вы глядите на всѣхъ людей по-наполеоновски, какъ на мясо для пушекъ. Но у Наполеона была хоть какая-нибудь идея, а у васъ, кромѣ отвращенія, ничего!

— У меня отвращеніе къ людямъ! — улыбалась княгиня, пожимая въ изумленіи плечами.— У меня!

— Да, у васъ! Вамъ нужно фактовъ? Извольте! Въ Михаильевѣ у васъ живутъ милостыней три бывшихъ вашихъ повара, которые ослѣдили въ вашихъ кухняхъ отъ печного жара. Все, что есть на десяткахъ тысячъ вашихъ десятинъ здороваго, сильнаго и красиваго, все взято вами и вашими прихлебателями въ гайдуки, лакеи, въ кучера. Все это двуногое живье воспиталось въ лакействѣ, обѣло, огрубѣло, потеряло образъ и подобіе, однимъ словомъ... Молодыхъ медиковъ, агрономовъ, учителей, вообще интеллигентныхъ работниковъ, Боже мой, отрываютъ отъ дѣла, отъ честнаго труда и заставляютъ изъ-за куска хлѣба участвовать въ разныхъ кукольныхъ комедіяхъ, отъ которыхъ стыдно дѣлается всякому порядочному человѣку! Иной молодой человѣкъ не прослужить и трехъ лѣтъ, какъ становится лицемѣромъ, подлышай, ябедникомъ... Хорошо это? Ваши управляющіе-поляки, эти подлые шпіоны, всѣ эти Казиміры и Каэтаны рыщутъ отъ утра до ночи по десяткамъ тысячъ десятинъ и въ угоду вамъ стараются содрать съ одного вола три шкуры. Позвольте, я выражаясь безъ системы, но это ничего! Простой народъ у васъ не считаются людьми. Да и тѣхъ князей, графовъ и архіереевъ, которые прїѣзжали къ вамъ, вы признавали только какъ декорацию, а не какъ живыхъ людей. Но главное... главное, что меня больше всего возмущаетъ, — имѣть большие миллиона состоянія и ничего не сдѣлать для людей, ничего!

Княгиня сидѣла удивленная, испуганная, обиженная, не зная, что сказать и какъ держать себя. Никогда раньше съ нею не говорили такимъ тономъ. Непріятный, сердитый голосъ доктора и его неуклюжая, занкающаяся рѣчь производили въ ея ушахъ и головѣ рѣзкій, стучацій шумъ,

потомъ же ей стало казаться, что жестикулирующій докторъ бѣть ее своею шляпой по головѣ.

— Неправда! — выговорила она тихо и умоляющимъ голосомъ. — Для людей я много хорошаго сдѣлала, это вы сами знаете!

— Да полноте! — крикнулъ докторъ. — Неужели вы еще продолжаете считать вашу благотворительную дѣятельность чѣмъ-то серьезнымъ и полезнымъ, а не кукольной комедіей? Вѣдь то была комедія отъ начала до конца, то была игра въ любовь къ ближнему, самая откровенная игра, которую понимали даже дѣти и глупыя бабы! Взять хоть этотъ вашъ — какъ его? — страннопріимный домъ для безродныхъ старухъ, въ которомъ меня вы заставили быть чѣмъ-то въ родѣ главнаго доктора, а сами были почетной опекуншой. О, Господи Боже наше, что за учрежденіе милое! Построили домъ съ паркетными полами и съ флюгеромъ на крыши, собрали въ деревняхъ съ десятокъ старухъ и заставили ихъ спать подъ байковыми одѣялами, на простыняхъ изъ голландскаго полотна и кушать леденцы.

Докторъ злорадно прыснула въ шляпу и продолжалъ быстро и заикаясь:

— Была игра! Низшіе пріютскіе чины прячутъ одѣяла и простыни подъ замокъ, чтобы старухи не пачкали — пусть спятъ, чортовы перечницы, на полу! Старуха не смѣеть ни на кровать сѣсть, ни кофту надѣть, ни по гладкому паркету пройтись. Все сохранялось для парада и пряталось отъ старухъ, какъ отъ воровъ, а старухи потихоньку кормились и одѣвались Христа ради. и денно, и нощно молили Бога, чтобъ поскорѣе уйти изъ-подъ ареста и отъ душеспасительныхъ назиданій сътыхъ подлецовъ, которымъ вы поручили надзоръ за старухами. А высшіе чины что дѣлали? Это просто восхитительно! Этакъ, раза два въ недѣлю, вечеромъ, скакуть тридцать пять тысячъ курьеровъ и объявляютъ, что завтра княгиня, то-есть вы, будете въ пріютѣ. Это значитъ, что завтра нужно бросать больныхъ, одѣваться иѣхать на парадъ. Хорошо, пріѣзжаю. Старухи во всемъ чистомъ и новомъ уже выстроены въ рядъ и ждутъ. Около нихъ ходитъ отставная гарнизонная крыса — смотритель, со своей сладенькой, ябеннической улыбочкой. Старухи зѣваютъ и переглядываются, но роптать боятся. Ждемъ. Скачать младшій управляющій.

Черезъ полчаса послѣ него старшій управляющій, потомъ главноуправляющій конторой экономіи, потомъ еще кто-нибудь и еще кто-нибудь... скачутъ безъ конца! У всѣхъ таинственныйя, торжественныйя лица. Ждемъ, ждемъ, переминаемся съ ноги на ногу, посматриваемъ на часы—все это въ гробовомъ молчаніи, потому что всѣ мы ненавидимъ другъ друга и на ножахъ. Проходитъ часъ, другой, и вотъ, наконецъ, показывается вдали коляска и... и...

Докторъ залился тонкимъ смѣхомъ и выговорилъ тоненьkimъ голоскомъ:

— Вы выходите изъ коляски, и старая вѣдьмы по командѣ гарнизонной крысы начинаютъ пѣть:— «Коль славенъ нашъ Господь въ Сіонѣ, не можетъ изъяснить языкъ»... Недури?

Докторъ захотѣлъ басомъ и машиналь рукой, какъ бы желая показать, что отъ смѣха онъ не можетъ выговорить ни одного слова. Смѣялся онъ тяжело, рѣзко, съ крѣпко стиснутыми зубами, какъ смигаются недобрые люди. и по его голосу, лицу и блестящимъ, немножко наглымъ глазамъ можно было понять, что онъ глубоко презиралъ и княгиню, и пріютъ, и старухъ. Во всемъ, что онъ такъ неумѣло и грубо рассказалъ, не было ничего смѣшного и веселаго, но хохоталъ онъ съ удовольствіемъ и даже съ радостью.

— А инкола?—продолжалъ онъ, тяжело дыша отъ смѣха.— Помните, какъ вы пожелали сами учить мужицкихъ дѣтей? Должно-быть, очень хорошо учили, потому что скоро всѣ мальчишки разбѣжались, такъ что потомъ пришлось пороть ихъ и нанимать за деньги, чтобы они ходили къ вамъ. А помните, какъ вы пожелали собственоручно кормить соской грудныхъ младенцевъ, матери которыхъ работаютъ въ полѣ? Вы ходили по деревнѣ и плакали, что младенцевъ этихъ нѣть къ вашимъ услугамъ—всѣ матери брали ихъ съ собой въ поле. Потомъ староста приказалъ матерямъ по-очереди оставлять своихъ младенцевъ вамъ на потѣху. Удивительное дѣло! Всѣ бѣжали отъ вашихъ благодѣяній, какъ мыши отъ кота! А почему это? Очень просто! Не оттого, что народъ у насть невѣжественный и неблагодарный, какъ вы объясняли всегда, а оттого, что во всѣхъ вашихъ затѣяхъ, извините меня за выраженіе, не было ни на одинъ грошъ любви и милосердія! Было одно только желаніе забавляться живыми куклами и ничего другого... Кто не умѣеть отличать людей отъ болонокъ, тотъ не долженъ заниматься bla-

готвореніемъ. Увѣряю васъ, между людьми и болонками — большая разница!

У княгини страшно билось сердце, въ ушахъ у нея стучало и все еще ей казалось, что докторъ долбитъ ее своей пляпой по головѣ. Докторъ говорилъ быстро, горячо и некрасиво, съ заиканьемъ и съ излишней жестикуляціей; для нея было только понятно, что съ нею говорить грубый, невоспитанный, злой, неблагодарный человѣкъ, но чего онъ хочетъ отъ нея и о чёмъ говорить — она не понимала.

— Уйдите! — сказала она плачущимъ голосомъ, поднимая вверхъ руки, чтобы заслонить свою голову отъ докторской пляпы. — Уйдите!

— А какъ вы обращаетесь со своими служащими? — продолжалъ возмущаться докторъ. — Вы ихъ за людей не считаете и третируете, какъ послѣднихъ мошенниковъ. Напримѣрь, позвольте васъ спросить, за что вы меня уволили? Служилъ десять лѣтъ вашему отцу, потомъ вамъ честно, не зная ни праздниковъ, ни отпусковъ, заслужилъ любовь всѣхъ на сто верстъ кругомъ, и вдругъ въ одинъ прекрасный день мнѣ объявляютъ, что я уже не служу! За что? До сихъ поръ не понимаю! Я докторъ медицины, дворянинъ, студентъ московскаго университета, отецъ семейства, такая мелкая и ничтожная сошка, что меня можно выгнать въ шею безъ объясненія причины! Зачѣмъ со мной церемониться? Я слышалъ потомъ, что жена, безъ моего вѣдома, тайкомъ ходила къ вамъ раза три просить за меня и вы ее не приняли ни разу. Говорять, плакала въ передней. И я этого никогда не прощу ей, покойницѣ! Никогда!

Докторъ замолчалъ и стиснулъ зубы, напряженно придумывая, что бы еще такое сказать очень непріятное, мстительное. Онъ что-то вспомнилъ, и нахмуренное, холодное лицо его вдругъ просияло.

— Взять хоть бы ваши отношенія къ этому монастырю! — заговорилъ онъ съ жадностью. — Вы никогда никого не щадили и, чѣмъ святѣе мѣсто, тѣмъ больше шансовъ, что ему достанется на орѣхи отъ вашего милосердія и ангельской кротости. Зачѣмъ выѣздите сюда? Что вамъ здѣсь у монаховъ нужно, позвольте васъ спросить? Что вамъ Гекуба, и что вы Гекубѣ? Опять-таки забава, игра, кощунство надъ человѣческою личностью и больше ничего. Вѣдь въ монашескаго Бога вы не вѣруете, у васъ въ сердцѣ свой со-

ственныи Богъ, до котораго вы дошли своимъ умомъ на спиритическихъ сеансахъ; на обряды церковные вы смотрите сиисходительно, къ обѣднѣ и ко всенощной не ходите, сините до полудня... зачѣмъ же вы сюда ъздите?.. Въ чужой монастырь вы ходите со своимъ Богомъ и воображаете, что монастырь считаетъ это за превеликую честь для себя! Какъ бы не такъ! Вы спросите-ка, между прочимъ, во что обходятся монахамъ ваши визиты? Вы изволили пріѣхать сюда сегодня вечеромъ, а третьяго дня ужъ тутъ былъ верховой, посланный изъ экономіи предупредить, что вы сюда собираетесь. Цѣлый день вчера приготавляли для васъ покон и ждали. Сегодня прибылъ авангардъ—наглая горничная, которая то и дѣло бѣгаеть черезъ дворъ, шуршить, пристасть съ вопросами, распоряжается... терпѣть не могу! Сегодня монахи весь день были насторожѣ: вѣдь если вѣдь не встрѣтить съ церемоніей—бѣда! Архіерею пожалуетесь! «Меня, ваше преосвященство, монахи не любятъ. Не знаю, чѣмъ я ихъ прогнѣвала. Правда, я великая грѣшница, но вѣдь я такъ несчастна!» Ужъ одному монастырю была изъ-за вѣдь нахлобучка. Архимандритъ занятой, ученый человѣкъ, у него и минуты нѣть свободной, а вы то и дѣло требуете его къ себѣ въ покон. Никакогоуваженія ни къ старости, ни къ сану. Добро бы жертвовали много, не такъ бы ужъ обидно было, а то вѣдь за все время монахи отъ вѣдь и ста рублей не получили!

Когда княгиню безпокояли, не понимали, обижали, и когда она не знала, что ей говорить и дѣлать, то обыкновенно она начинала плакать. И теперь въ концѣ концовъ она закрыла лицо и заплакала тонкимъ, дѣтскимъ голоскомъ. Докторъ вдругъ замолчалъ и посмотрѣлъ на нее. Лицо его потемнѣло и стало суровымъ.

— Простите меня, княгиня,—сказалъ онъ глухо.—Я поддался злому чувству и забылся. Это нехорошо.

И, конфузливо кашлянувъ, забывая надѣть шляпу, онъ быстро отошелъ отъ княгини.

На небѣ уже мерцали звѣзды. Должно-быть, по ту сторону монастыря восходила луна, потому что небо было ясно, прозрачно и нѣжно. Вдоль бѣлой монастырской стѣны безшумно носились летучія мыши.

Часы медленно пробили три четверти какого-то часа, должно-быть, девятаго. Княгиня поднялась и тихо пошла къ воротамъ. Она чувствовала себя обиженнай и плакала,

и ей казалось, что и деревья, и звезды, и летучая мышь жалеютъ ее; и часы пробили мелодично только для того, чтобы посочувствовать ей. Она плакала и думала о томъ, что хорошо бы ей на всю жизнь уйти въ монастырь: въ тихие лѣтніе вечера она гуляла бы одиноко по аллеямъ, обиженная, оскорблена, непонятая людьми, и только бы одинъ Богъ да звѣздное небо видѣли слезы страдалицы. Въ церкви еще продолжалась всенощная. Княгиня остановилась и прислушалась къ пѣнію; какъ хорошо это пѣніе звучало въ неподвижномъ, темномъ воздухѣ! Какъ сладко подъ это пѣніе плакать и страдать!

Придя къ себѣ въ покой, она поглядѣла въ зеркало на свое заплаканное лицо и попудрилась, потомъ сѣла ужинать. Монахи знали, что она любить маринованную стерлядь, мелкие грибки, малагу и простые медовые пряники, отъ которыхъ во рту пахнетъ кипарисомъ, и каждый разъ, когда она приѣзжала, подавали ей все это. Кушая грибки и зашивая ихъ малагой, княгиня мечтала о томъ, какъ ее окончательно разорять и покинуть, какъ всѣ ея управляющіе, приказчики, конторщики и горничная, для которыхъ она такъ много сдѣлала, измѣнять ей и начинать говорить грубости, какъ всѣ люди, сколько ихъ есть на землѣ, будутъ наладить на нее, злословить, смеяться; она откажется отъ своего княжескаго титула, отъ роскоши и общества, уйдетъ въ монастырь, и никому ни одного слова упрека; она будетъ молиться за враговъ своихъ, и тогда всѣ вдругъ поймутъ ее, придутъ къ ней просить прощенія, но ужъ будетъ поздно...

А послѣ ужина она опустилась въ углу передъ образомъ на колѣни и прочла двѣ главы изъ Евангелия. Потомъ горничная постлала ей постель, и она легла спать. Потягиваясь подъ бѣлымъ покрываломъ, она сладко и глубоко вздохнула, какъ вздыхаютъ послѣ плача, закрыла глаза и стала засыпать...

Утромъ она проснулась и взглянула на свои часики: было половина десятаго. На коврѣ около кровати тянулась узкая, яркая полоса свѣта отъ луча, который шелъ изъ окна и чуть-чуть освѣщалъ комнату. За черной занавѣской на окнѣ шумѣли мухи.

«Рано!»—подумала княгиня и закрыла глаза.

Потягиваясь и нѣжась въ постели, она вспомнила вчерашнюю встречу съ докторомъ и всѣ тѣ мысли, съ какими вчера она уснула; вспомнила, что она несчастна. Потомъ пришли

ей на память ея мужъ, живущій въ Петербургѣ, управляющіе, доктора,сосѣди, знакомые чиновники... Длинный рядъ знакомыхъ мужскихъ лицъ пронесся въ ея воображеніи. Она улыбнулась и подумала, что если бы эти люди сумѣли проникнуть въ ея душу и понять ее, то всѣ они были бы у ея ногъ...

Въ четверть двѣнадцатаго она позвала горничную.

Выйдя изъ покоя, чтобы садиться въ экипажъ, она зажмурилась отъ яркаго дневнаго свѣта и засмѣялась отъ удовольствія: день былъ удивительно хорошъ! Оглядывая прищуренными глазами монаховъ, которые собрались у крыльца проводить ее, она привѣтливо закивала головой и сказала:

Прощайте, мои друзья! До послѣдняго.

Ее пріятно удивлю, что вмѣстѣ съ моихами у крыльца находился и докторъ. Лицо его было блѣдно и сурово.

— Княгиня,—сказалъ онъ, снимая шляпу и виновато улыбаясь:— я уже давно жду васъ тутъ. Простите Бога ради... Нехорошее, мстительное чувство увлекло меня вчера, и я наговорилъ вамъ... глупостей. Однимъ словомъ, я прошу прощенія.

Княгиня привѣтливо улыбнулась и протянула къ его губамъ руку. Онъ поцѣловалъ и покраснѣлъ.

Стараясь походить на птичку, княгиня порхнула въ экипажъ и закивала головой во всѣ стороны. На душѣ у нея было весело, ясно и тепло, и сама она чувствовала, что ея улыбка необыкновенно ласкова и мягка. Когда экипажъ покатилъ къ воротамъ, потомъ по пыльной дорогѣ мимо избъ и садовъ, мимо длинныхъ чумацкихъ обозовъ и богоильцевъ, идущихъ вереницами въ монастырь, она все еще щурилась и мягко улыбалась. Она думала о томъ, что нѣтъ выше наслажденія, какъ всюду вносить съ собою теплоту, свѣтъ и радость, прощать обиды и привѣтливо улыбаться врагамъ. Встрѣчные мужики кланялись ей, коляска мягко шуршала, изъ-подъ колесъ валили облака пыли, уносимыя вѣтромъ на золотистую рожь, и княгинѣ казалось, что ея тѣло качается не на подушкахъ коляски, а на облачахъ, и что сама она похожа на легкое, прозрачное облачко...

— Какъ я счастлива! — шептала она, закрывая глаза. —
Какъ я счастлива!

БЪДА.

Директора городского банка Петра Семеныча, бухгалтера, его помощника и двухъ членовъ отправили ночью въ тюрьму. На другой день послѣ перенолоха купецъ Авдѣевъ, членъ ревизіонной комиссіи банка, сидѣлъ съ пріятелями у себя въ лавкѣ и говорилъ:

— Такъ, значитъ, Богу угодно. Отъ судьбы не уйдешь. Сейчасъ вотъ мы икрои закусываемъ, а завтра, гляди — тюрьма, сума, а то и смерть. Всякое бываетъ. Теперь взять къ примѣру хоть Петра Семеныча...

Онъ говорилъ и жмурилъ свои пьяные глазки, а пріятели вынивали, закусывали икрой и слушали. Описавъ позоръ и беспомощность Петра Семеныча, который еще вчера былъ силенъ и всѣми уважаемъ, Авдѣевъ продолжалъ со вздохомъ:

— Отзываются кошкѣ мышкины слезки. Такъ имъ, мошенникамъ, и надо! Умѣли, курицыны дѣти, грабить, такъ пущай же теперь отвѣтъ дадутъ.

— Гляди, Иванъ Даимиличъ, какъ бы и тебѣ не досталось! — замѣтилъ одинъ изъ пріятелей.

— А мнѣ за что?

— А за то. Тѣ грабили, а ревизіонная комиссія что глядѣла? Небось, вѣдь ты подписывалъ отчеты?

— Экось, легко ли дѣло! — усмѣхнулся Авдѣевъ. — Подписывалъ! Носили ко мнѣ въ лавку отчеты, ну и подписывалъ. Нешто я понимаю? Мнѣ что ни дай, я все подмахнусъ. Напиши ты сейчасъ, что я человѣка зарѣзаль, такъ я и

то подпишу. Не время мнѣ разбирать, да и не вижу безъ очковъ.

Потолковавъ о крахѣ банка и о судьбѣ Петра Семеныча, Авдѣевъ и его пріятели отправились на пирогъ къ знакомому, у которого въ этотъ день была именинница жена. На именинахъ всѣ гости говорили только о крахѣ банка. Авдѣевъ горячился больше всѣхъ и увѣрялъ, что онъ давно уже предчувствовалъ этотъ крахъ и еще два года тому назадъ зналъ, что въ банкѣ не совсѣмъ чисто. Пока ѿли пирогъ, онъ описалъ съ десятокъ противозаконныхъ операций, которая ему были извѣстны.

— Если вы знали, то отчего же вы не донесли? — спросилъ его офицеръ, бывшій на именинахъ.

— Не я одинъ, весь городъ зналъ... — усмѣхнулся Авдѣевъ. — Да и нѣтъ времени по судамъ ходить. Ну ихъ!

Отдохнувъ послѣ пирога, онъ пообѣдалъ и еще разъ отдохнулъ, потомъ отправился ко всенощной въ свою церковь, гдѣ былъ старостой; послѣ всенощной опять пошелъ на именины и до самой полночи игралъ въ преферансъ. По видимому, все обстояло благополучно.

Когда же послѣ полночи Авдѣевъ вернулся къ себѣ домой, кухарка, отворявшая ему дверь, была блѣдна и отъ дрожи не могла выговорить ни одного слова. Его жена, Елизавета Трофимовна, откормленная, сырая старуха, съ распущенными сѣдыми волосами, сидѣла въ залѣ на диванѣ, тряслась всѣмъ тѣломъ и, какъ пьяная, безсмысленно поводила глазами. Около нея со стаканомъ воды суетился тоже блѣдный и крайне взволнованный старинный сынъ ея, гимназистъ Василій.

Что такое? — спросилъ Авдѣевъ и сердито покосился на печку. (Его семья часто угорала).

Сейчасъ слѣдователь съ полиціей приходилъ... — отвѣтилъ Василій. — Обыскивали.

Авдѣевъ поглядѣлъ вокругъ себя. Шканы, комоды, столы — все носило на себѣ слѣды недавняго обыска. Минуту Авдѣевъостоялъ неподвижно, какъ въ столбикѣ, ничего не понимая, потомъ всѣ внутренности его задрожали и отяжелѣли, лѣвая нога онѣмѣла, и онъ, не вынося дрожи, легъ ничкомъ на диванъ; ему слышно было, какъ переворачивались его внутренности и какъ непослушная лѣвая нога стучала по спинкѣ дивана,

Въ какія-нибудь двѣ-три минуты онъ припомнилъ все свое прошлое, но не нашелъ ни одной такой вины, кото-рая заслуживала бы вниманія судебной власти...

— Все это одна чепуха...—сказалъ онъ, поднимаясь.— Это, должно-быть, меня оговорили. Надо будетъ завтра жалобу подать, чтобы они не смѣли это самое...

На другой день утромъ, послѣ безсонной ночи, Авдѣевъ, какъ всегда, отправился къ себѣ въ лавку. Покупатели принесли ему извѣстіе, что въ истекшую ночь прокуроръ отправилъ въ тюрьму еще товарища директора и письмо-водителя банка. Это извѣстіе не обезпокоило Авдѣева. Онъ былъ увѣренъ, что его оговорили и что, если онъ сегодня подастъ жалобу, то слѣдователю достанется за вчерашній обыскъ.

Въ десятомъ часу онъ побѣжалъ въ управу къ секретарю, который былъ единственнымъ образованнымъ человѣкомъ во всей управѣ.

— Владимиrъ Степанычъ, что же это за мода?—началь онъ, наклоняясь къ уху секретаря.—Люди крали, а я-то тутъ при чемъ? Съ какой стати? Милый человѣкъ,—зашепталъ онъ:—ночью-то у меня обыскъ были! Ей-Богу... Осатанили они, что ли? За что меня трогать?

— А за то, что не нужно быть бараномъ,—покойно отвѣтилъ секретарь.—Прежде чѣмъ подписывать, надо было глядѣть...

— Что глядѣть? Да гляди я въ эти отчеты хоть тысячу лѣтъ, я ничего не пойму! Чорта лысаго я понимаю! Какой я булгахтеръ? Минъ носили, я и подписывалъ.

— Позвольте. Кромѣ того, вы, какъ и вся ваша комиссія, сильно скомпрометированы. Вы безъ всякаго обезпече-нія взяли изъ банка 19 тысячъ.

— Господи твоя воля!—удивился Авдѣевъ.—Нешто я одинъ долженъ? Вѣдь весь городъ долженъ! Я плачу проценты и отдамъ долгъ. Господь съ тобой! А кромѣ того, ежели, скажемъ, разсудждать по совѣсти, нешто я самъ взять эти деньги? Минъ Петръ Семеиычъ всучилъ. Возьми, говорить, и возьми. Ежели, говорить, не берешь, то, значить, намъ не довѣряешь и сторонишься. Ты, говорить, возьми и отцу мельницу построй. Я и взялъ.

— Ну, вотъ видите: такъ могутъ разсудждать только дѣти и бараны. Во всякомъ случаѣ, сеньоръ, вы напрасно вол-

нуетесь. Суда вамъ, конечно, не избѣжать, но навѣрное вась оправдаютъ.

Равнодушіе и покойный тонъ секретаря подѣствовали на Авдѣева успокаивающе. Вернувшись къ себѣ въ лавку и застать въ ней пріятелей, онъ опять выпивалъ, закусывалъ икрой и философствовалъ. Онъ ужъ почти забылъ объ обыскѣ и его беспокоило только одно обстоятельство, которое онъ не могъ не замѣтить: у него какъ-то странно нѣмѣла лѣвая нога и почему-то совсѣмъ не варилъ желудокъ.

Вечеромъ того же дня судьба сдѣлала по Авдѣеву еще одинъ оглушительный выстрѣль: на экстренномъ засѣданіи думы все банківцы, въ томъ числѣ и Авдѣевъ, были исключены изъ числа гласныхъ, какъ находящіеся подъ судомъ и слѣдствіемъ. Утромъ онъ получилъ бумагу, въ которой его приглашали немедленно сдать должность церковнаго старосты.

Затѣмъ Авдѣевъ потерялъ счетъ въ выстрѣлахъ, которые дѣлала по немъ судьба, и для него быстро одинъ за другимъ замелькали странные, небывалые дни, и каждый день приносилъ съ собой какой-нибудь новый неожиданный сюрпризъ. Между прочимъ слѣдователь прислать ему поѣхѣту. Отъ слѣдователя вернулся онъ домой оскорбленный, красный.

Приставъ, какъ съ ножомъ къ горлу: зачѣмъ подписывать? Подписывалъ, вотъ и все! Нешто я нарочно? Но-сили въ лавку, я и подписывалъ. Я и читать-то по писаному путемъ не умѣю.

Пришли какіе-то молодые люди съ равнодушными лицами, запечатали лавку и описали въ домѣ всю мебель. Подозрѣвая въ этомъ интригу и попрежнему не чувствуя за собой никакой вины, оскорбленный Авдѣевъ сталъ бѣгать по присутственнымъ мѣстамъ и жаловатьсяся. По цѣлымъ часамъ ожидалъ онъ въ переднихъ, сочинялъ длинныя прошенія, плакать, бранился. Въ отвѣтъ на его жалобы прокуроръ и слѣдователь говорили ему равнодушно и резонно:

— Приходите, когда васъ позовутъ, а теперь намъ не-когда.

А другіе отвѣчали:

— Это не наше дѣло.

Секретарь же, образованный человѣкъ, который, какъ

казалось Авдѣеву, могъ бы помочь ему, только пожималъ плечами и говорилъ:

— Вы сами виноваты. Не нужно быть бараномъ...

Старикъ хлюпоталъ, а нога нѣмѣла попрежнему и желудокъ варилъ все хуже. Когда бездѣлье утомило его и наступила нужда, онъ рѣшилъ поѣхать къ отцу на мельницу, или къ брату, и заняться мучной торговлей, но его не пустили изъ города. Семья уѣхала къ отцу, а онъ остался одинъ.

Дни мелькали за днями. Безъ семьи, безъ работы и безъ денегъ, бывшій староста, почтенный иуважаемый человѣкъ, по цѣлымъ днямъ ходилъ по лавкамъ своихъ пріятелей, вышивалъ, закусывалъ и выслушивалъ совѣты. По утрамъ и вечерамъ онъ, чтобы убить время, ходилъ въ церковь. Глядя по цѣлымъ часамъ на иконы, онъ не молился, а думалъ. Совѣсть его была чиста, и свое положеніе объяснялъ онъ ошибкой и недоразумѣніемъ; по его мнѣнію, все произошло только оттого, что слѣдователи и чиновники молоды и неопытны: ему казалось, что если бы какой-нибудь старый судья поговорилъ съ нимъ по душамъ и подробнѣ, то все вошло бы въ свою колею. Онъ не понималъ своихъ судей, а суды, казалось ему, не понимали его...

Дни бѣжали за днями и, наконецъ, послѣ долгой, томительной проволочки наступило время суда. Авдѣевъ взялъ взаймы 50 рублей, запасся спиртомъ для ноги и травкой для желудка, и поѣхалъ въ тотъ городъ, гдѣ находилась судебная палата.

Судъ продолжался полторы недѣли. Все время суда Авдѣевъ солидно и съ достоинствомъ, какъ это подобаетъ человѣку почтенному и невинно пострадавшему, сидѣлъ среди товарищѣй по несчастью, слушалъ и ровно ничего не понималъ. Настроеніе у него было враждебное. Онъ сердился, что его долго держать въ судѣ, что нигдѣ нельзя достать постной єды, что защитникъ не понимаетъ его и, какъ казалось ему, говоритъ не то, что нужно. Суды, казалось ему, судили не такъ, какъ бы слѣдовало. Они не обращали на Авдѣева почти никакого вниманія, обращались къ нему разъ въ три дня и вопросы, которые они задавали ему, были такого свойства, что, отвѣчая на нихъ, Авдѣевъ всякий разъ возбуждалъ въ публикѣ смѣхъ. Когда онъ порывался говорить о своихъ проторяхъ, убыткахъ и о томъ, что

желаетъ взыскать судебнаго издергки, защитникъ оборачивался и дѣлалъ непонятную гримасу, публика смѣялась, а предсѣдатель строго заявлялъ, что это къ дѣлу не относится. Въ своемъ послѣднемъ словѣ онъ сказалъ не то, чему училъ его защитникъ, а совсѣмъ другое, тоже возбуждившее смѣхъ.

Въ тѣ страшные часы, когда присяжные совѣщались въ своей комнатѣ, онъ сердитый сидѣлъ въ буфетѣ и совсѣмъ не думалъ о присяжныхъ. Онъ не понималъ, зачѣмъ они совѣщаются такъ долго, если все такъ ясно, и что имъ нужно отъ него.

Проголодавшись, онъ попросилъ лакея дать ему чегонибудь дешеваго и постнаго. За сорокъ копеекъ ему дали какойто холдной рыбы съ морковью. Онъ сѣѣть и тотчасъ же почувствовалъ, какъ эта рыба тяжелымъ комомъ заходила въ его животѣ; начались отрыжка, изжога, боль...

Когда онъ потомъ слушалъ старшину, читавшаго вопросные пункты, внутренности его переворачивались, тѣло обливалось холднымъ потомъ, лѣвая нога нѣмѣла; онъ не слушалъ, ничего не понималъ и невыносимо страдалъ оттого, что старшину нельзя слушать сидя или лежа. Наконецъ, когда ему и его товарищамъ позволили сѣсть, всталъ прокуроръ судебнай палаты и сказалъ что-то непонятное. Точно изъ земли выросши, появились откуда-то жандармы съ шашками наголо и окружили всѣхъ обвиняемыхъ. Авдѣеву приказали встать и идти.

Теперь онъ понялъ, что его обвинили и взяли подъ стражу, но онъ не испугался и не удивился; въ животѣ происходилъ такой беспорядокъ, что ему было совсѣмъ не до страхи.

— Значить, настѣ теперь не пустятъ въ номеръ? — спросилъ онъ у одного изъ своихъ товарищей. — А у меня въ номерѣ три рубля денегъ и непочатая четверка чаю.

Ночевалъ онъ въ частномъ домѣ, всю ночь чувствовалъ отвращеніе къ рыбѣ и думалъ о трехъ рубляхъ и четверкѣ чаю. Рано утромъ, когда небо стало синѣть, ему приказали одѣться и идти. Два солдата со штыками повели его въ тюрьму. Никогда въ другое время городскія улицы не казались ему такъ длинны и безконечны. Шель онъ не по тротуару, а среди улицы по тающему, грязному снѣгу. Внутренности все еще воевали съ рыбой, лѣвая нога нѣ-

мѣла; калоши онъ забылъ не то въ судѣ, не то въ частномъ домѣ, ноги его зябли...

Черезъ пять дней всѣхъ обвиняемыхъ опять повели въ судъ для выслушиванія приговора. Авдѣевъ узналъ, что его приговорили къ ссылкѣ на житѣе въ Тобольскую губернію. И это не испугало его и не удивило. Ему почему-то казалось, что судъ еще не кончился, что проволочка все еще тянется и что настоящаго «рѣшенія» еще не было... Жить онъ въ тюрьмѣ и каждый день ждать этого рѣшенія.

Только полгода спустя, когда пришли къ нему прощаться жена и сынъ Василій, когда онъ въ тощей, нищенски одѣтой старушкѣ сѣда узналъ свою, когда-то сырую и солидную Елизавету Трофимовну, и когда вместо гимназического платья увидѣль на сына куцый, потертый пиджакъ и саринковыя панталоны, онъ понялъ, что судьба его уже рѣшена и что, какое бы еще ни было новое «рѣшеніе», ему уже не вернуть своего прошлаго. И онъ въ первый разъ за все время суда и тюремнаго заключенія, согиаль со своего лица сердитое выраженіе и горько заплакалъ.

СПАТЬ ХОЧЕТСЯ.

Ночь. Нянька Варька, дѣвочка лѣтъ тринадцати, качаетъ колыбель, въ которой лежитъ ребенокъ, и чуть слышно мурлычетъ:

Баю-баюшки-баю,
А я пѣсенку спою...

Передъ образомъ горить зеленая лампадка; черезъ всю комнату отъ угла до угла тянется веревка, на которой висятъ пеленки и большія черныя панталоны. Отъ лампадки ложится на потолокъ большое зеленое пятно, а пеленки и панталоны бросаютъ длинныя тѣни на печку, колыбель, на Варьку... Когда лампадка начинаетъ мигать, пятно и тѣни оживаютъ и приходятъ въ движение, какъ отъ вѣтра. Душно. Пахнетъ щами и сапожнымъ товаромъ.

Ребенокъ плачетъ. Онъ давно уже осинъ и изнемогъ отъ плача, но все еще кричить, и неизвѣстно, когда онъ уймется. А Варькѣ хочется спать. Глаза ея сливаются, голову тянуть внизъ, шея болитъ. Она не можетъ шевельнуть ни вѣками, ни губами, и ей кажется, что лицо ея высохло и одеревенѣло, что голова стала маленькой, какъ булавочная головка.

— Баю-баюшки-баю, — мурлычетъ она: — тебѣ кашки наварю...

Въ печкѣ кричитъ сверчокъ. Въ соѣдней комнатѣ, за дверью, похранываютъ хозяинъ и подмастерье Аѳанасій... Колыбель жалобно скрипѣтъ, сама Варька мурлычетъ — и все это сливаются въ ночную, убаюкивающую музыку, которую такъ сладко слушать, когда ложишся въ постель.

Теперь же эта музыка только раздражает и гнетет, потому что она вгоняет въ дремоту, а спать нельзя; если Варька, не дай Богъ, уснуть, то хозяева прибываютъ ей.

Лампадка мигаетъ. Зеленое пятно и тѣни приходятъ въ движение, лѣзутъ въ полуоткрытые, неподвижные глаза Варьки и въ ея на-половину уснувшемъ мозгу складываются въ туманныя грезы. Она видитъ темныя облака, которые гоняются другъ за другомъ по небу и кричать, какъ ребенокъ. Но вотъ подуль вѣтеръ, пропали облака, и Варька видитъ широкое шоссе, покрытое жидкую грязью; по шоссе тянутся обозы, идетутся люди съ котомками на спинахъ, носятся взадъ и впередъ какія-то тѣни; по обѣ стороны сквозь холодный, суровый туманъ видны лѣса. Вдругъ люди съ котомками и тѣнями падаютъ на землю въ жидкую грязь. — «Зачѣмъ это?» — спрашиваетъ Варька. — «Спать, спать!» — отвѣчаютъ ей. И они засыпаютъ крѣпко, спать сладко, а на телеграфныхъ проволокахъ сидятъ вороны и сороки, кричать, какъ ребенокъ, и стараются разбудить ихъ.

— Баю-баюшки-баю, а я пѣсенку спою... — мурлычетъ Варька и уже видитъ себя въ темной, душной избѣ.

На полу ворочается ея покойный отецъ Ефимъ Степановъ. Она не видитъ его, но слышитъ, какъ онъ катается отъ боли по полу и стонетъ. У него, какъ онъ говорить, «разыгралась грыжа». Боль такъ сильна, что онъ не можетъ выговорить ни одного слова и только втягиваетъ въ себя воздухъ и отбываетъ зубами барабанную дробь:

— Бу-бу-бу-бу...

Мать Пелагея побѣжала въ усадьбу къ господамъ сказать, что Ефимъ помираетъ. Она давно уже ушла и пора бы ей вернуться. Варька лежитъ на печи, не спить и прислушивается къ отцовскому «бу-бу-бу». Но вотъ слышно, кто-то подѣхалъ къ избѣ. Это господа прислали молодого доктора, который пріѣхалъ къ нимъ изъ города въ гости. Докторъ входитъ въ избу; его не видно въ потемкахъ, но слышно, какъ онъ кашляетъ и щелкаетъ дверью.

— Засвѣтите огонь, — говоритъ онъ.

— Бу-бу-бу... — отвѣчаетъ Ефимъ.

Пелагея бросается къ печкѣ и начинаетъ искать черепокъ со спичками. Проходить минута въ молчаніи. Докторъ, порывшись въ карманахъ, зажигаетъ свою спичку.

— Сейчасъ, батюшка, сейчасъ, — говоритъ Пелагея, бро-

сается вонь изъ избы и, немнога погодя, возвращается съ огаркомъ.

Щеки у Ефима розовыя, глаза блестятъ и взглядъ какъ-то особенно остръ, точно Ефимъ видитъ насквозь избу, и доктора.

— Ну, что? Что ты это вздумалъ? — говорить докторъ, нагибаясь къ нему.—Эге! Давно ли это у тебя?

Чего-съ? Помирать, ваше благородіе, пришло время... Не быть мнѣ въ живыхъ...

— Полно вздоръ говорить... Вылѣчимъ!

— Это какъ вамъ угодно, ваше благородіе, благодаримъ, покорно, а только мы понимаемъ... Коли смерть пришла, что ужъ тутъ.

Докторъ съ четверть часа возится съ Ефимомъ; потомъ поднимается и говоритъ:

— Я ничего не могу подѣлать... Тебѣ нужно въ больницу ъхать, тамъ тебѣ операцию сдѣлаютъ. Сейчасъ же поѣзжай... Непремѣнно поѣзжай! Немножко поздно, въ больницѣ все уже сняты, но это ничего, я тебѣ записочку дамъ. Слышишь?

— Батюшка, да на чёмъ же онъ поѣдетъ? — говорить Пелагея.—У насъ нѣть лошади.

— Ничего, я попрошу господъ, они дадутъ лошадь.

Докторъ уходить, свѣча тухнетъ и опять слышится «бу-бу-бу»... Спустя полчаса, къ избѣ кто-то ѿдѣжжаетъ. Это господа прислали телѣжку, чтобы ъхать въ больницу. Ефимъ собирается и ёдетъ...

Но вотъ наступаетъ хорошее, ясное утро. Пелагея нѣть дома: она пошла въ больницу узнать, что дѣлается съ Ефимомъ. Гдѣ-то плачетъ ребенокъ и Варька слышитъ, какъ кто-то ея голосомъ поетъ:

— Баю-баюшки-баю, а я пѣсенку спою...

Возвращается Пелагея; она крестится и шепчетъ:

— Ночью вправили ему, а къ утру Богу душу отдать... Царство небесное, вѣчный покой... Сказываютъ, поздно захватили... Надо бы раны...

Варька идеть въ лѣсъ и плачетъ тамъ, но вдругъ кто-то бѣть ее по затылку съ такой силой, что она стукается лбомъ о березу. Она поднимаетъ глаза и видитъ передъ собой хозяина-сапожника.

— Ты что же это, паршивая? — говорить онъ. — Дите плачетъ, а ты спиши?

Онъ больно треплетъ ее за ухо, а она встряхиваетъ головой, качаетъ колыбель и мурлычетъ свою пѣсню. Зеленое пятно и тѣни отъ панталонъ и пеленокъ колеблются, мигаютъ ей и скоро опять овладѣваютъ ея мозгомъ. Опять она видѣть шоссе, покрытое жидкую грязью. Люди съ котомками на спинахъ и тѣни разлеглись и крѣпко спать. Глядя на нихъ, Варька страстно хочется спать; она легла бы съ наслажденiemъ, но мать Пелагея идетъ рядомъ и торопитъ ее. Обѣ онѣ спѣшатъ въ городъ наниматься.

— Подайте милостынки Христа-ради! — просить мать у встрѣчныхъ. — Явите божескую милость, господа милосердные!

— Подай сюда ребенка! — отвѣчаетъ ей чей-то знакомый голосъ. — Подай сюда ребенка! — повторяетъ тотъ же голосъ, но уже сердито и рѣзко. — Синиць, подлая?

Варька вскакиваетъ и, оглядѣвшись, понимаетъ, въ чемъ дѣло: нѣтъ ни шоссе, ни Пелагеи, ни встрѣчныхъ, а стоять посреди комнаты одна только хозяйка, которая пришла покормить своего ребенка. Пока толстая, плечистая хозяйка кормить и унимаетъ ребенка, Варька стоитъ, глядѣть на нее и ждеть, когда она кончитъ. А за окнами уже синѣетъ воздухъ, тѣни и зеленое пятно на потолкѣ замѣтно блѣднѣютъ. Скоро утро.

— Возьми! — говоритъ хозяйка, застегивая на груди сорочку. — Плачетъ. Должно, слазили.

Варька беретъ ребенка, кладетъ его въ колыбель и опять начинаетъ качать. Зеленое пятно и тѣни мало-по-малу исчезаютъ и ужъ некому лѣзть въ ея голову и туманить мозгъ. А спать хочется напрежнему, ужасно хочется! Варька кладетъ голову на край колыбели и качается всѣмъ тулowiщемъ, чтобы пересилить сонъ, но глаза все-таки слипаются и голова тяжела.

Варька, затоши печку! — раздается за дверью голосъ хозяина.

Значить, уже пора вставать и приниматься за работу. Варька оставляетъ колыбель и бѣжитъ въ сарай за дровами. Она рада. Когда бѣгаешь и ходишь, спать уже не такъ хочется, какъ въ сидячемъ положеніи. Она приносить дрова, топить печь и чувствуетъ, какъ расправляется ея одеревенѣвшее лицо и какъ проясняются мысли.

— Варька, поставь самоваръ! — кричитъ хозяйка.

Варька колеть лучину, но едва успѣваетъ зажечь ихъ и сунуть въ самоваръ, какъ слышится новый приказъ:

— Варька, почисть хозяину калоши!

Она садится на полъ, чистить калоши и думаетъ, что хорошо бы сунуть голову въ большую, глубокую калошу и подремать въ ней немножко... И вдругъ калоша растетъ, пухнетъ, наполняетъ собою всю комнату. Варька роняетъ щетку, но тотчасъ же встряхиваетъ головой, пучить глаза и старается глядѣть такъ, чтобы предметы не росли и не двигались въ ея глазахъ.

— Варька, помой снаружи лѣстницу, а то отъ заказчиковъ совсѣмъ!

Варька моетъ лѣстницу, убираетъ комнаты, потомъ топить другую печь и бѣжитъ въ лавочку. Работы много, нѣтъ ни одной минуты свободной.

Но ничто такъ не тяжело, какъ стоять на одномъ мѣстѣ передъ кухоннымъ столомъ и чистить картошку. Голову тянуть къ столу, картошка рябить въ глазахъ, ножъ валится изъ рукъ, а возлѣ ходить толстая, сердитая хозяйка съ засученными руками и говорить такъ громко, что звенитъ въ ушахъ. Мучительно также прислуживать за обѣдомъ, стирать, шить. Бываютъ минуты, когда хочется, ни на что не глядя, повалиться на полъ и спать.

День проходитъ. Глядя, какъ темнеютъ окна, Варька сжимаетъ себѣ деревенющіе виски и улыбается, сама не зная чего ради. Вечерняя мгла ласкаетъ ея слипающіеся глаза и обѣщаетъ ей скорый, крѣпкій сонъ. Вечеромъ къ хозяевамъ приходятъ гости.

— Варька, ставь самоваръ! — кричитъ хозяйка.

Самоваръ у хозяевъ маленький и прежде, чѣмъ гости паниваются чаю, приходится подогрѣвать его разъ пять. Послѣ чаю Варька стоитъ цѣлый часъ на одномъ мѣстѣ, глядитъ на гостей и ждетъ приказаній.

— Варька, сбѣгай купи три бутылки пива!

Она срываются съ мѣста и старается бѣжать быстрѣе, чтобы прогнать сонъ.

— Варька, сбѣгай за водкой! Варька, гдѣ штопоръ? Варька, почисть селедку!

Но вотъ, наконецъ, гости ушли; огни тушатся, хозяева ложатся спать.

— Варька, покачай ребенка! — раздается последний приказъ.

Въ печкѣ кричить сверчокъ; зеленое пятно на потолкѣ и тѣни отъ панталонъ и пеленокъ опять лѣзутъ въ полуоткрытые глаза Варьки, мигаютъ и туманяютъ ей голову.

— Баю-баюшки-баю, — мырлычетъ она: — а я пѣсенку спою...

А ребенокъ кричить и изнемогаетъ отъ крика. Варька видить опять грязное шоссе, людей съ котомками, Шелагею, отца Ефима. Она все понимаетъ, всѣхъ узнать, но сквозь полусонъ она не можетъ только никакъ понять той силы, которая сковываетъ ее по рукамъ и по ногамъ, давить ее и мѣшаеть ей жить. Она оглядывается, ищетъ эту силу, чтобы избавиться отъ нея, но не находитъ. Наконецъ, измучившись, она напрягаетъ всѣ свои силы и зрѣніе, глядить вверхъ на мигающее зеленое пятно, и, прислушавшись къ крику, находить врага, мѣшающаго ей жить.

Этотъ врагъ — ребенокъ.

Она смеется. Ей удивительно: какъ это раньше она не могла понять такого цусяка? Зеленое пятно, тѣни и сверчокъ тоже, кажется, смеются и удивляются.

Ложное представлѣніе овладѣваетъ Варькой. Она встаетъ съ табурета и, широко улыбаясь, не мигая глазами, прохаживается по комнатѣ. Ей пріятно и щекотно отъ мысли, что она сейчасъ избавится отъ ребенка, сковывающаго ее по рукамъ и ногамъ... Убить ребенка, а потомъ спать, спать, спать...

Смѣясь, подмигивая и грозя зеленому пятну пальцами, Варька подкрадывается къ колыбели и наклоняется къ ребенку. Задушивъ его, она быстро ложится на полъ, смеется отъ радости, что ей можно спать, и черезъ минуту спитъ уже крѣпко, какъ мертвая...

ХОЛОДНАЯ КРОВЬ.

Длинный товарный поезд давно уже стоит у полустанка. Паровоз не издает ни звука, точно потухъ; около поезда и въ дверяхъ полустанка ни души.

Отъ одного изъ вагоновъ идеть блѣдная полоса свѣта и скользить по рельсамъ запаснаго пути. Въ этомъ вагонѣ на разостланной буркѣ сидягь двое: одинъ — старый съ пирожкой, сѣдой бородой, въ полушубкѣ и въ высокой, мерлунчиковой шапкѣ, похожей на пашаху, другой — молодой, безусый, въ потертомъ драповомъ пиджакѣ и въ высокихъ, грязныхъ сапогахъ. Это грузоотправители. Старикъ сидитъ, протянувъ впередъ ноги, молчать и о чёмъ-то думаетъ; молодой полулежитъ и едва слышно пиликаетъ на дешевой гармоникѣ. Около нихъ на стѣнѣ висить фонарь съ сальной свѣчкой.

Вагонъ полонъ груза. Если сквозь тусклый свѣтъ фонаря взглянуть въ этотъ грузъ, то въ первую минуту глазамъ представляется что-то безформенно-чудовищное и несомнѣнно живое, что-то очень похожее на гигантскихъ раковъ, которые шевелятъ клешнями и усами, тѣснятся и безшумно карабкаются по скользкой стѣнѣ вверхъ къ потолку; но взглянувшись попристальнѣе, и въ сумеркахъ начинаютъ явственно выростать рога и ихъ отраженія, затѣмъ тощія, длинныя спины, грязная шерсть, хвости, глаза. Это быки и ихъ тѣни. Всѣхъ быковъ въ вагонѣ восемь. Одни изъ нихъ, обернувшись, глядятъ на людей и помахиваютъ хвостами, другіе стараются лечь или стать поудобнѣе. Имъ тѣсно. Если одинъ ложится, то остальные

должны стоять и жаться другъ къ другу. Нѣть ни яслей, ни коювязей, ни подстилокъ и ни клочка сѣна¹)...

Послѣ долгаго молчанія старикъ вытаскиваетъ изъ кармана серебряную луковицу и сираивается, который часъ: четверть третьяго.

— Ужъ второй часъ стоимъ, — говорить онъ, зѣвая. — Пойти поторопить ихъ, а то до утра будемъ здѣсь стоять. Они позаснули, или Богъ ихъ знаетъ, что они тамъ.

Старикъ встаетъ и вмѣстѣ со своею длинною тѣнью осторожно спускается изъ вагона въ потемки. Онъ пробирается вдоль поѣзда, къ локомотиву и, пройдя десятка два вагоновъ, видѣть раскрытую, красную печь; противъ печи неизвѣжно сидѣть человѣческая фигура; ея козырекъ, нось и колѣни выкрашены въ багровый цвѣтъ, все же осталъное черно и едва вырисовывается изъ потемокъ.

— Долго еще тутъ стоять будемъ? — спрашиваетъ старикъ.

Отвѣта нѣть. Неизвѣжная фигура, очевидно, спитъ. Старикъ нетерпѣливо крякаетъ и, пожимаясь отъ Ѣдкой сырости, обходитъ локомотивъ, причемъ яркій свѣтъ двухъ фонарей на мгновеніе бѣть ему въ глаза, а ночь отъ этого становится для него еще чернѣе; онъ идетъ къ полустанку.

Платформа и ступени полустанка мокры. Кое-гдѣ бѣгѣть недавно выпавшій, тающій снѣгъ. Въ самомъ полустанкѣ свѣтло и натоплено жарко, какъ въ банѣ. Пахнетъ керосиномъ. Кромѣ десятичныхъ вѣсовъ и небольшого, желтаго дивана, на которомъ спитъ какой-то человѣкъ въ кондукторской формѣ, въ помѣщеніи нѣть никакой мебели. Налѣво двѣ настежь открытые двери. Въ одну изъ нихъ видны телеграфный столикъ и лампа съ зеленымъ колпакомъ, въ другую — небольшая комнатка, на-половину занятая темнымъ шкаломъ. Въ этой комнаткѣ, на подоконникѣ сидѣть оберъ-кондукторъ и машинистъ. Оба они мнутъ въ рукахъ какую-то шапку и спорятъ.

Это не настоящій боберъ, а польскій, — говорить машинистъ. — Настоящіе бобры не такие бываются. Всей этой шапкѣ, ежели желаете знать, красная цѣна — пять цѣлковыхъ!

1) На многихъ дорогахъ, во избѣженіе несчастныхъ случаевъ, запрещается держать въ вагонахъ сѣно, а потому живой грузъ во все время пути остается безъ корма.

— Понимаете вы много... — обижается оберъ-кондукторъ. — Нять цѣлковыхъ! А вотъ мы сейчасъ купца спросимъ. Господинъ Малахинъ, — обращается онъ къ старику: — какъ по-вашему:польскій это боберъ, или настоящій?

Старикъ Малахинъ беретъ въ руки шапку и съ видомъ знатока щупаетъ мѣхъ, дуетъ, нюхаетъ и на сердитомъ лицѣ его вдругъ вспыхиваетъ презрительная улыбка.

— Стало-быть, польскій! — говорить онъ радостно. — Польскій и есть.

Начинается споръ. Оберъ-кондукторъ доказываетъ, что на шапкѣ боберъ настоящій, а машинистъ и Малахинъ стараются убѣдить его въ противномъ. Среди спора старики вдругъ вспоминаетъ о цѣли своего прихода.

Боберъ бобромъ, шапка шапкой, а поѣздъ стоить, господа! — говоритъ онъ. — Что жъ? Кого ждемъ? Поѣдемъ!

— Поѣдемъ, — соглашается оберъ-кондукторъ. — Выкуримъ еще по папироскѣ и поѣдемъ. Только сѣнить нечего... Все равно настѣ задержать на станції!

— Это съ какой стати?

— А такъ... Заинзали слишкомъ... Если на одной станції опоздаешь, то на другихъ поневолѣ будуть задерживать, чтобы дать ходъ встрѣчнымъ. Поѣзжай хоть сейчасъ, хоть утромъ, а все равно намъ ужъ не придетсяѣхать четырнадцатымъ номеромъ. Поѣдемъ, должно-быть, двадцать третьимъ.

— Это же по-каковски?

А по-таковски.

Малахинъ пытливо глядитъ на оберъ-кондуктора, думаетъ и бормочетъ машинально, какъ бы про себя:

Накажи меня Богъ, считаль и даже въ книжку запи-
салъ: за всю дорогуостояли мы линиихъ тридцать че-
тыре часа. Доведете вы, господа, до той точки, что у меня
или быки подохнутъ, или мнѣ за мясо, когда до мѣста
доѣду, и двухъ рублей не дадутъ. Это не ѻзда, а чистое
разоренѣе!

Оберъ-кондукторъ поднимаетъ брови и вздыхаетъ съ та-
кимъ выражениемъ, какъ будто хотеть сказать: «Къ сожа-
лѣнію, все это правда!» Машинистъ молчитъ и задумчиво
оглядывается шапку. По лицамъ обоихъ видно, что у нихъ
есть какая-то одна общая тайная мысль, которую они не
высказываютъ не потому, что хотятъ скрыть ее, а потому,

что подобные мысли передаются молчанием гораздо лучше, чѣмъ на словахъ. И стариkъ понимаетъ. Онъ лѣзетъ въ кармань, достаетъ оттуда десятирублевку и безъ предисловій, не мѣняя ни тона голоса, ни выраженія лица, а съ увѣренностью и прямотою, съ какими даютъ и берутъ взятки, вѣроятно, одни только русскіе люди, подаетъ бумажку оберъ-кондуктору. Тотъ молча беретъ, складываетъ ее вчетверо и, не спѣша, кладетъ въ кармань. Послѣ этого всѣ трое выходятъ изъ комнатки и, разбудивъ на пути спящаго кондуктора, идутъ на платформу.

— Погода! — крякаетъ оберъ-кондукторъ, вздрагивая плечами.— Зги не видать!

— Да, волчья погода...

Въ окно видно, какъ около зеленої лампы и телеграфнаго станка появляется блокурая голова телеграфиста; около нея показывается скоро другая голова, бородатая и въ красной фуражкѣ—должно быть, начальника полустанка. Начальникъ нагнулся къ столу, читаетъ что-то на синемъ бланкѣ и быстро водитъ папиросой вдоль строкъ... Малахинъ идетъ къ своему вагону.

Его спутникъ, молодой человѣкъ, попрежнему полулежитъ и едва слышно пиликаетъ на гармоникѣ. Онъ безусъ, почти еще мальчикъ; полное, бѣлое лицо его съ широкими скулами дѣтски задумчиво, глаза глядятъ не какъ у взрослыхъ, а грустно и покорно, но весь онъ широкъ, крѣпокъ, тяжель и грубъ такъ же, какъ стариkъ; онъ не шевелится и не мѣняетъ своей позы, точно ему не подъ силу приводить въ движение свое крупное тѣло. Пошевелись онъ, и тотчасъ, кажется, на немъ что-нибудь лопнетъ или раздастся стукъ, котораго испугаются быки и онъ самъ. Изъ-подъ его большихъ, толстыхъ пальцевъ, неповоротливо перебирающихъ клавиши и клапаны гармоники, непрерывно текутъ мелкие, жиденькіе звуки и сливаются въ немудрый, однообразный мотивчикъ; онъ слушаетъ и, повидимому, очень доволенъ своей музыкой.

Слышится звонокъ, но такъ глухо, какъ будто бы звонить не вблизи, а гдѣ-то очень далеко. Заnimъ тотчасъ же слѣдуетъ торопливый второй звонокъ, потомъ третій и свистъ оберъ-кондуктора. Проходитъ минута въ глубокомъ молчаніи; вагонъ не движется, стоять на мѣстѣ, но изъ-подъ него начинаютъ слышаться какіе-то неопределенные

звуки, похожие на скрипь снѣга подъ полозьями; вагонъ вздрагиваетъ и звуки стихаютъ. Наступаетъ опять тишина. Но вотъ раздается лязгъ буферовъ, отъ сильнаго толчка вагонъ вздрагиваетъ, точно дѣлаетъ прыжокъ, и всѣ быки падаютъ другъ на друга.

— Чтобы тебя на томъ свѣтѣ такъ дернуло! — ворчитъ стариикъ, поправляя свою высокую шапку, съѣхавшую отъ толчка на затылокъ. — Этакъ онъ у меня всю скотину перекалѣчить!

Яша молча встаетъ и, взявъ одного ушибленаго быка за рога, помогаетъ ему подняться на ноги... Вслѣдъ за толчкомъ опять наступаетъ тишина. Изъ-подъ вагона слышатся звуки скрипящаго снѣга, и кажется, что поѣздъ тронулся слегка назадъ.

— Сейчасъ опять дернетъ, — говоритъ стариикъ.

И дѣйствительно, по поѣзду проносится судорога, раздается трескъ, вагонъ вздрагиваетъ и быки опять падаютъ другъ на друга.

— Задача! — говоритъ Яша, прислушиваясь. — Должно, поѣздъ тяжелый. Никакъ не сдвинетъ.

— Раньше не былъ тяжелый, а теперь вдругъ потяжелѣлъ. Нѣть, братъ, это значитъ оберь-кондукторъ съ нимъ не подѣлился. Поди-ка снеси ему, а то онъ до утра будетъ дергать.

Яша беретъ у старика трехрubbлевую бумажку и прыгаетъ изъ вагона. Его тяжелые шаги глухо раздаются въ вагонѣ и постепенно стихаютъ. Тишина... Въ сосѣднемъ вагонѣ протяжно и тихо мычитъ быкъ, точно поетъ.

Яша возвращается. Въ вагонѣ влетаетъ сырой, холодный вѣтеръ.

— Закрои-ка, Яша, дверь, да будемъ ложиться, — говоритъ стариикъ. — Что даромъ свѣчку жечь?

Яша задвигаетъ тяжелую дверь; раздается свистъ локомотива и поѣздъ трогается.

— Холодно! — бормочетъ стариикъ, растягиваясь на буркѣ и кладя голову на уzelъ. — То ли дѣло дома! И тепло, и чисто, и мягко, и Богу есть гдѣ помолиться, а тутъ хуже свиней всякихъ. Ужъ четверо сутокъ какъ сапогъ не снимали.

Яша, пошатываясь отъ вагонной качки, открываетъ фонарь и мокрыми пальцами сдавливаетъ фитиль. Свѣчка всыхиваетъ, шипитъ, какъ сковорода, и тухнетъ.

— Да, братъ... — продолжаетъ Малахинъ, слыша, какъ Яша ложится рядомъ и своей громадной спиной прижимается къ его спинѣ. — Холодно. Изъ всѣхъ щелей такъ и дуетъ. Поспи тутъ твоя мать или сестра одну ночь, такъ къ утру бы ноги протянули. Такъ-то, братъ, не хотѣть учиться и въ гимназію ходить, какъ братья, ну вотъ и вози съ отцомъ быковъ. Самъ виноватъ, на себя и ролпиши... Братья-то теперь на постеляхъ спятъ, одѣялами укрылись, а ты, нерадивый и лѣнивый, на одной линіи съ быками... Да...

Изъ-за шума поѣзда не слышино словъ старика, но онъ еще долго бормочетъ, вздыхаетъ и крякаетъ. Холодный воздухъ въ вагонѣ становится все гуще и душнѣе. Острый запахъ свѣжаго навоза и свѣжная гаря дѣлаютъ его такимъ противнымъ и єдкимъ, что у засыпающаго Яши начинаетъ чесаться въ горлѣ и внутри груди. Онъ перхаетъ и чихаетъ, а привычный старикъ, какъ ни въ чемъ не бывало, дышитъ всею грудью и только покрякиваетъ.

Судя по качкѣ вагона и по стуку колесъ, поѣздъ летитъ быстро и неровно. Паровозъ тяжело дышитъ, пыхтитъ не въ такъ шуму поѣзда и въ общемъ получается какое-то клокотанье. Быки беспокойно тѣснятся и стучать рогами о стѣны.

Когда старикъ просыпается, въ щели вагона и въ открытое оконце глядить синее небо ранняго утра. Холодно невыносимо, въ особенности спинѣ и ногамъ. Поѣздъ стоитъ. Яша заспанный и угрюмый возится около быковъ.

Старикъ просыпается не въ духѣ. Нахмуренный и суровый, онъ сердито крякаетъ и глядить исподлобья на Яшу, который подперъ своимъ могучимъ плечомъ подъ грудь быка и, слегка приподнявъ его, старается распутать ему ногу.

— Говорилъ вчера, что веревки длинныя,—ворчитъ старикъ:—такъ нѣтъ—«не длинныя, папаша!» Ничего нельзя заставить, все по-своему дѣлаешь... Болванъ.

Онъ сердито выдвигаетъ дверь, и въ вагонѣ врывается свѣтъ. Какъ разъ противъ двери стоитъ пассажирскій поѣздъ, а за нимъ красное зданіе съ навѣсомъ — какая-то большая станція съ буфетомъ. Крыши и площадки вагоновъ, земля, шпалы — все покрыто тонкимъ слоемъ пушистаго, недавно выпавшаго снѣга. Въ промежутки между вагонами пассажирскаго поѣзда видно, какъ снуютъ пассажиры и

прохаживается рыжий, краснолицый жандармъ; лакей во фракѣ и въ бѣлой, какъ снѣгъ, манишкѣ, не выспавшійся, озябшій и, вѣроятно, очень недовольный своею жизнью, бѣжитъ по платформѣ и несетъ на подносѣ стаканъ чаю съ двумя сухарями.

Старикъ поднимается и начинаетъ молиться на востокъ. Яша, покончивъ съ быкомъ и поставивъ въ уголь лопату, становится рядомъ съ нимъ и тоже молится. Онъ только шевелить губами и крестится, отецъ же громко шепчетъ и конецъ каждой молитвы произносить вслухъ и отчетливо.

— ... и жизни будущаго вѣка аминь! — говоритъ громко старикъ, втягиваетъ въ себя воздухъ и тотчасъ же шепчетъ другую молитву и въ концѣ отчеканиваетъ твердо и ясно: и возложать на алтарь твой тельцы!

Прочитавъ свои молитвы, Яша торопливо крестится и говорить:

— Пожалуйте пять копеекъ.

И, получивъ пятиакъ, онъ береть красный мѣдный чайникъ и бѣжитъ на станцію за кипяткомъ. Широко пригая черезъ шпалы и рельсы, оставляя на пушистомъ снѣгу громадные слѣды и выливая на пути изъ чайника вчераший чай, онъ подбѣгаєтъ къ буфету и звонко стучить пятиакомъ по своей посудѣ. Изъ вагона видно, какъ буфетчикъ отстрияетъ рукой его большой чайникъ и не соглашается отдать за пятиакъ почти половину своего самовара, но Яша самъ отворачиваетъ кранъ и, разставивъ локти, чтобы ему не мѣшиали, наливаетъ себѣ кипятку полный чайникъ.

— Сволочь проклятая! — кричить ему вслѣдъ буфетчикъ, когда онъ бѣжитъ обратно къ вагону.

За чаемъ хмурое лицо старика Малахина немного проясняется.

— Пить и ѡсть мы умѣемъ, а дѣла не помнимъ, — говоритъ онъ. — Вчераший цѣлый день только и знали, что пили да ёли, а небось забыли расходы записать. Экая память, Господи!

Старикъ припоминаетъ вслухъ вчерашие расходы и записываетъ въ истрешанной записной книжкѣ, гдѣ и сколько было дано кондукторамъ, машинистамъ, смазчикамъ...

Между тѣмъ пассажирскій поѣздъ давно уже ушелъ, и по свободному пути взадъ и впередъ, какъ кажется, безъ вся-

кой определенной цѣли, а просто радуясь своей свободѣ, бѣгаешь дежурный локомотивъ. Солнце уже взошло и играетъ по снѣгу; съ навѣса станціи и съ крышъ вагоновъ падаютъ свѣтлые капли.

Напившись чаю, старикъ лѣниво плется изъ вагона на станцію. Тутъ среди залы первого класса стоять знакомый оберъ-кондукторъ и начальникъ станціи, молодой человѣкъ съ красивой бородкой и въ великолѣпномъ, шаршавомъ пальто. Молодой человѣкъ, вѣроятно, отъ не привычки стоять на одномъ мѣстѣ, грациозно, какъ хороший скаковой конь, переминается съ ноги на ногу, глядитъ по сторонамъ, дѣлаетъ подъ козырекъ всѣмъ мимо проходящимъ, улыбается, ищурить глаза... Онъ румянъ, здоровъ, веселъ, лицо его дышитъ вдохновенiemъ и такою свѣжестью, какъ будто онъ только-что свалился съ неба вмѣстѣ съ пушистымъ снѣгомъ. Увидѣвъ Малахина, оберъ-кондукторъ виновато вздыхаетъ и разводить руками.

— Не придется намъѣхать четырнадцатымъ номеромъ! — говоритъ онъ. — Опоздали сильно. Ужъ другой поѣздъ пошелъ съ этимъ номеромъ.

Начальникъ станціи быстро просматриваетъ какіе-то бланки, потомъ переводить свои голубые, восторженные глаза на Малахина и, улыбаясь, дыша на него свѣжестью, осыпаетъ его вопросами:

— Вы господинъ Малахинъ? У васъ быки? Восемь вагоновъ? Какъ же теперь быть? Вы опоздали, и четырнадцатый номеръ уже пущенъ мною ночью. Что же мы теперь будемъ сдѣлать?

Молодой человѣкъ двумя розовыми пальцами осторожно береть Малахина за мѣхъ полуушубка и, переминаясь съ ноги на ногу, ласково и убѣдительно объясняетъ ему, что такие-то номера уже ушли, а такие-то пойдутъ, что онъ готовъ сдѣлать для Малахина все отъ него зависящее. И по лицу его видно, что онъ действительно готовъ сдѣлать приятное не только Малахину, но даже всему свѣту — такъ онъ счастливъ, доволенъ и радъ! Старикъ слушаетъ и хотя ровно ничего не понимаетъ въ замысловатой поѣздной номераціи, но одобрительно киваетъ головой и самъ касается двумя пальцами нѣжной ворсы шаршаваго пальто. Ему пріятно видѣть и слушать приличного и ласковаго молодого человѣка. Чтобы съ своей стороны показать ему свое расположе-

женіе, онъ вынимаетъ десятирублевку, подумавъ, прибавляется къ ней еще двѣ рублевыя бумажки и подаетъ ихъ начальнику станціи. Тотъ беретъ, дѣлаетъ подъ козырекъ и граціозно суетъ себѣ въ карманъ.

— Вотъ что, господа, не устроить ли намъ такимъ образомъ? — говоритъ онъ, озаренный новою, только-что мелькнувшей идеей. — Воинскій поѣздъ опоздалъ... его, какъ видите, нѣть... Такъ не отправиться ли вамъ воинскимъ *) поѣздомъ? А воинскій я ужъ пущу двадцать восьмымъ номеромъ. А?

— Пожалуй, — соглашается оберъ-кондукторъ.

— И отлично! — радуется начальникъ станціи. — Въ такомъ случаѣ вамъ нечего тутъ ждать, сейчасъ и поѣзжайте! Я васъ сейчасъ и отправлю! Отлично!

Онъ дѣлаетъ Малахину подъ козырекъ и, читая на пути бланки, бѣжитъ къ себѣ. Стариkъ очень доволенъ только-что бывшимъ разговоромъ; онъ улыбается и оглядывается всю залу, какъ бы ища: нѣть ли тутъ еще чего-нибудь пріятнаго?

— А мы все-таки выпьемъ, — говоритъ онъ, беря оберъ-кондуктора подъ руку.

— Какъ будто бы еще рановато пить.

— Нѣть, ужъ вы позвольте мнѣ угостить васъ изъ любезности.

Оба идутъ къ буфету. Вышивши, оберъ-кондукторъ долго выбираетъ, чѣмъ бы закусить.

Это человѣкъ пожилой, чрезвычайно полный, съ полинявшимъ, пухлымъ лицомъ. Полнота у него непріятная, обрюзглая, съ желтизною, какая бываетъ у людей, много пьющихъ и спящихъ не вѣ-время.

— А теперь и по второй можно выпить, — говоритъ Малахинъ. — Теперь время холодное, не грѣхъ выпить. Кушайте, покорнейше прошу. Такъ, значитъ, я на васъ надѣюсь, господинъ оберъ-кондукторъ, что всю дорогу не будетъ никакихъ препятствий и непріятностей. Потому, знаете, въ нашемъ скотопромышленномъ дѣлѣ каждый часъ дорогъ. Сегодня одна цѣна мясу, а завтра, гляди, другая.

*) Воинскимъ называется номеръ поѣзда, предназначенаго специально для перевозки войскъ; когда войскъ не бываетъ, онъ везетъ товаръ и идетъ быстрѣе обыкновенныхъ товарныхъ поѣздовъ.

Опоздаешь на день—на два и не попадешь въ цѣну, да вмѣсто того, чтобъ пользу взять, гляди, и пріѣдешь домой, извините, безъ брюковъ. Кушайте, покорѣйше прошу... Я на вѣсъ надѣюсь, а насчетъ угощенія, или чего желаete, я изъ любезности могу во всякоe время вѣсъ уважить.

Накормивъ оберъ-кондуктора, Малахинъ возвращается къ себѣ въ вагонъ.

— Сейчасъ я себѣ воинскій номеръ вымаклачилъ, — говоритъ онъ сыну. — Шибко поѣдемъ. Кондукторъ говоритъ, что если все время съ этимъ номеромъ будемъ фхать, то завтра въ 8 часовъ вечера будемъ на мѣстѣ. Не похлопочешь, братъ, не получишь... Такъ-то... Гляди вотъ и пріучайся...

Послѣ первого звонка къ дверямъ вагона подходитъ человѣкъ съ лицомъ, чернымъ отъ сажи, въ блузѣ и въ грязныхъ, потертыхъ панталонахъ на-выпускъ. Это смазчикъ, который только-что лазилъ подъ вагонами и стучалъ молоткомъ по колесамъ.

— Господа, это ваши вагоны съ быками? — спрашиваетъ онъ.

— Наши, а что?

— А то, что два вагона больные. Нельзя ихъ пуштать, надо тутъ въ починку оставить.

— Ну да, бреши больше! Просто выпить хочется, хабару взять... Такъ и говорилъ бы.

— Какъ вамъ угодно, а только я сейчасъ обязанъ дождить.

Не возмущаясь и не протестуя, а спокойно, почти машинально старикъ достаетъ изъ кармана два двугривенныхъ и подаетъ ихъ смазчику. Тотъ тоже очень спокойно беретъ ихъ и, добродушно глядя на старика, заводить разговоръ:

— Поторговать, стало-быть, ѳдете... Хорошее дѣло!

Малахинъ вздыхаетъ и, спокойно глядя на черное лицо смазчика, разсказываетъ, что торговля быками прежде была дѣйствительно выгодна, теперь же она составляетъ дѣло рискованное и убыточное.

— Тутъ у меня товарищъ есть, — перебиваетъ его смазчикъ. — Такъ вы бы, господа кунцы, и ему сколько-нибудь презентовали...

Малахинъ даетъ и на товарища... Воинскій поѣздъ идетъ быстро и стоитъ на станціяхъ сравнительно недолго. Старикъ доволенъ. Пріятное впечатлѣніе, оставленное молодымъ человѣкомъ въ шаршавомъ пальто, крѣпко застѣло въ немъ, выпитая водка слегка туманила голову, погода великолѣпная и, повидимому, все обстоитъ прекрасно. Онъ безъ умолку говоритъ и во время каждой остановки бѣгаешь къ буфету. Чувствуя потребность въ слушателяхъ, онъ тащитъ къ буфету то оберъ-кондуктора, то машиниста, и пить не просто, а длинно, съ причитываніями и съ чоканьемъ.

— У васъ свое дѣло, у насъ свое...—говорить онъ благодушно, улыбаясь.—Дай Богъ и памъ, и вамъ, и чтобъ не какъ намъ угодно, а какъ Богу...

Отъ водки онъ мало-по-малу возбуждается и впадаетъ въ дѣловой азартъ. Ему хочется хлопотать, торопиться, наводить справки, безъ умолку говорить. Онъ то роется въ карманахъ и въ узлахъ, и ищетъ какой-то бланокъ, то что-то вспоминаетъ и никакъ не можетъ вспомнить, то вынимаетъ бумажникъ и безъ всякой надобности пересчитываетъ свои деньги. Онъ суетится, охаетъ, ужасается, всплескиваетъ руками... Разложивъ передъ собою письма и телеграммы столичныхъ мясоторговцевъ, счеты, почтовыя и телеграфныя расписки, бланки, свою записную книжку, онъ соображаетъ вслухъ и требуетъ, чтобы Яша слушаль.

А когда надоѣдаетъ ему читать бланки и говорить о пѣнахъ, онъ во время остановокъ бѣгаешь по вагонамъ, гдѣ стоять его быки, ничего не дѣлаетъ, а только всплескиваетъ руками и ужасается.

— Ахъ, Боже мой, Боже мой!—говорить онъ жалобнымъ голосомъ.—Священномуученикъ Власій! Хоть оно и быкъ, хоть оно и тварь, а вѣдь тоже, какъ и люди, хочетъ и пить, и ъсть. Ужъ четверо сутокъ, какъ не пили и не ъли. Ахъ, Боже мой, Боже мой!

Яша, какъ послушный сынъ, ходить за нимъ и исполняетъ его приказанія. Ему не нравится, что старикъ часто бѣгаешь къ буфету. Хоть онъ и боится отца, но не можетъ удержаться отъ замѣчанія.

— А вы ужъ начали!—говорить онъ, сурово оглядывая старика.—Съ какой это радости? Именинники ви, что ли?

— Не смѣшь ты родному отцу указывать.

— Ишь, моду какую взяли...

Когда не нужно бывает ходить за отцомъ, Яша все время сидитъ неподвижно на буркѣ и иликастъ на гармоникѣ. Изрѣдка онъ выйдетъ изъ вагона и лѣниво пройдется вдоль поѣзда: остановится онъ около локомотива и устремитъ долгій, неподвижный взглядъ на колеса или на рабочихъ, бросающихъ полѣнья на гендеръ; горячій локомотивъ сипитъ, падающія полѣнья издаютъ сочный, здоровый звукъ свѣжаго дерева; машинистъ и его помощникъ, люди очень хладнокровные и равнодушные, дѣлаютъ какія-то непонятныя движенія и не спѣшатъ. Постоявъ около паровоза, Яша лѣниво плетется на станцію; тутъ онъ оглядитъ закуски въ буфетѣ, прочтеть для себя вслухъ какое-нибудь очень неинтересное объявление и не сиѣша возвращается въ вагонъ. Лицо его не выражаетъ ни скуки, ни желаній; ему, новидимому, рѣшительно все равно, гдѣ ни быть: дома ли, въ вагонѣ, около ли паровоза...

Къ вечеру поѣздъ останавливается около большої станціи. Огни по линіи только-что зажжены; на сиѣющемъ фонѣ, въ свѣжемъ, прозрачномъ воздухѣ огни ярки и блѣдны, какъ звѣзды; красны и лучисты они только подъ навѣсомъ, гдѣ уже темно. Всѣ пути запружены вагонами и, кажется, приди новый поѣздъ, для него не найдется мѣста. Яша бѣжитъ на станцію за кипяткомъ для вечерняго чая. На платформѣ гуляютъ хорошо одѣтые дамы и гимназисты. По обѣ стороны вокзала, если поглядѣть съ платформы въдаль, мелькаютъ въ вечерней мглѣ далекіе огоньки—это городъ. Какой? Яшѣ не интересно знать. Онъ видитъ только тусклые огни и жалкія постройки за вокзаломъ, слышитъ крикъ извозчиковъ, чувствуетъ на лицѣ рѣзкій, холодный вѣтеръ и думаетъ, что этотъ городъ, вѣроятно, не хороший, не уютный и скучный...

Во время чая, когда уже совсѣмъ стемнѣло и на стѣнѣ вагона по-вчерашнему висѣтъ фонарь, поѣздъ вздрагиваетъ отъ легкаго толчка и тихо идетъ назадъ. Пройдя немногого, онъ останавливается; слышатся иеясные крики, кто-то стучитъ пѣлями около буферовъ и кричитъ: «готово!» Поѣздъ трогается и идетъ впередъ. Минутъ черезъ десять его снять тащать назадъ.

Выйдя изъ вагона Малахинъ не узнаетъ своего поѣзда.

Его восемь вагоновъ съ быками стоять въ одномъ ряду съ невысокими вагонами-платформами, какихъ раньше не было въ поѣздѣ. На двухъ-трехъ платформахъ наваленъ буть, а остальная пусты. Вдоль поѣзда снують незнакомые кондуктора. На вопросы они отвѣчаютъ неохотно и глухо. Имъ не до Малахина; они торопятся составить поѣздъ, чтобы поскорѣе отѣлаться и идти въ тепло.

— Какой это номеръ? — спрашиваетъ Малахинъ.

— Восемнадцатый!

— А гдѣ же воинскій? Зачѣмъ меня отъ воинскаго отѣлили?

Не получивъ отвѣта, старикъ идетъ на станцію. Онъ ищетъ сначала знакомаго оберъ-кондуктора и, не найдя его, идетъ къ начальнику станціи. Начальникъ сидитъ у себя въ комнатѣ за столомъ и перебираетъ пальцами пачку какихъ-то бланковъ. Онъ занятъ и дѣлаетъ видъ, что не замѣчаетъ вошедшаго. Наружность у него внушительная: голова черная, стрижена, уши оттопыренныя, носъ длинный, съ горбиной, лицо смуглѣе; выраженіе у него суровое и какъ будто оскорблѣнное. Малахинъ начинаетъ длино излагать ему свою претензію.

— Что-сь? — спрашиваетъ начальникъ. — Какъ? — онъ откидывается на спинку стула и продолжаетъ, возмущаясь: — что-сь? А почему же вамъ неѣхать съ восемнадцатымъ номеромъ? Говорите яснѣе, я ничего не понимаю! Какъ? Прикажете мнѣ разорваться на части?

Онъ сиплетъ вопросами и безъ всякой видимой причины становится все строже и строже. Малахинъ уже лѣзеть въ карманъ за бумажникомъ, но начальникъ, въ конецъ оскорблѣнnyй и возмущенный, неизвѣстно чѣмъ, вскакиваетъ со стула и выбѣгааетъ изъ комнаты. Малахинъ, по-жимая плечами, выходитъ и ищетъ, съ кѣмъ бы еще поговорить.

Отъ скучи ли, изъ желанія ли завершить хлопотливый день еще какой-нибудь новой хлопотой, или просто потому, что на глаза ему попадается оконце съ вывѣской «Телеграфъ», онъ подходитъ къ окну и заявляетъ желаніе послать телеграмму. Взявши перо, онъ думаетъ и пишетъ на синемъ бланкѣ: «Срочная. Начальнику движенія. Восемь вагоновъ живымъ грузомъ. Задерживаются на каждой станціи. Прошу дать скорый номеръ. Отвѣтъ уложенъ. Малахинъ».

Пославъ телеграмму, онъ опять идетъ въ комнату начальника станціи. Тутъ на диванчикѣ, обитомъ сѣрымъ сукномъ, сидѣтъ какой-то благообразный господинъ съ бакенами, въ очкахъ и въ енотовой шапкѣ; на немъ какая-то странная шубка, очень похожая на женскую, съ мѣховой опушкой, съ аксельбантами и съ разрѣзами на рукавахъ. Передъ нимъ стоитъ другой господинъ, сухой и жилистый, въ формѣ контролера.

— Помилуйте, — разсказываетъ контролеръ, обращаясь къ господину въ странной шубкѣ. — Я сейчасъ разскажу вамъ случай такой, что мое вамъ почтеніе! Z — я дорога ирестокойнѣйшимъ образомъ украла у N — ской дороги триста товарныхъ вагоновъ. Это фактъ-сы! Клянусь Богомъ! Завезла къ себѣ, перекрасила, выставила свои литеры и — сдѣлайте ваше одолженіе! N — ская дорога пилеть всюду агентовъ, ищетъ, ищетъ, и вдругъ, можете себѣ представить, попадается ей больной вагонъ Z — ской дороги. Она чинить его у себя въ депо и вдругъ, мое вамъ почтеніе, видитъ на колесахъ и осяхъ свое клеймо. Каково-съ? А? Сдѣлай это я, меня въ Сибирь сошлютъ, а желѣзнымъ дорогамъ — псс!

Малахину пріятно поговорить съ интеллигентными, образованными людьми. Онъ разглаживаетъ бороду и солидно вмѣшивается въ разговоръ.

— Взять теперь, господа, къ примѣру хоть такой случай, — говоритъ онъ. — Я везу быковъ въ X. Восемь вагоновъ. Хорошо-съ... Скажемъ теперь такъ: берутъ съ меня за каждый вагонъ, какъ за 600 пудовъ тяги. Въ восьми быкахъ не будетъ шести сотъ пудовъ, а гораздо меньше, они же не принимаютъ этого себѣ во вниманіе...

Въ это время въ комнату входитъ Яша, ищущій отца. Онъ слушаетъ и хочетъ сѣсть на стулъ, но, вѣроятно, вспомнивъ про свою тяжесть, отходитъ отъ стула и садится на подоконникъ.

— А они не принимаютъ это себѣ во вниманіе, — продолжаетъ Малахинъ: — и берутъ еще съ меня и съ сына за то, что мы при быкахъ ёдемъ, сорокъ два рубля, какъ за III классъ. Это мой сынъ Іаковъ; есть у меня дома еще двое, да тѣ по ученой части. Ну-съ, и кромѣ того, я такъ понимаю, что желѣзныя дороги разорили скотопромышленниковъ. Прежде, когда гурты гоняли, лучше было.

Говорить старикъ протяжно и длинно. Послѣ каждой фразы онъ взглядываеть на Яшу, какъ бы желая сказать: гляди, какъ я съ умными людьми разговариваю!

— Помилуйте!—перебиваеть его контролеръ.—Никто не возмущается, никто не критикуетъ! А почему? Очень просто! Мерзость возмущаетъ и рѣжетъ глаза только тамъ, где она случайна, где ею нарушается порядокъ; здѣсь же, где она, мое вамъ почтеніе, составляеть давно заведенную программу и входить въ основу самаго порядка, где каждая шапка носить ся слѣдъ и издаеть ея запахъ, она слишкомъ скоро входить въ привычку! Да-съ!

Бѣть второй звонокъ. Господинъ въ странной шубкѣ поднимается. Контролеръ береть его подъ руку и, продолжая горячо говорить, уходить съ нимъ на платформу. Послѣ третьяго звонка въ комнату вбѣгасть начальникъ станціи и садится за свой столъ.

— Послушайте, съ какимъ же номеромъ я поѣду?—спрашиваетъ Малахинъ.

Начальникъ глядить въ бланокъ и говорить, возмущаясь:

— Вы Малахинъ? Восемь вагоновъ? Съ вѣсъ по рублю за вагонъ и шесть двадцать за марки. У вѣсъ марокъ нѣтъ. Итого 14 руб. 20 коп.

Получивъ деньги, онъ записываетъ что-то, засыпаетъ пескомъ и, сердито рванувъ со стола пачку бланковъ, быстро выходитъ изъ комнаты.

Въ 10 часовъ вечера Малахинъ получаетъ отвѣтъ начальника движенія: «Дать преимущество». Прочитавъ эту телеграмму, старикъ значительно подмигиваетъ глазомъ и, очень довольный собою, кладеть ее въ карманъ.

— Вотъ,—говорить онъ Яшѣ.—Гляди и пріучайся.

Въ полночь его поѣздъ идетъ дальше. Ночь, какъ вчера темная и холодная, стоянки долгія. Яша сидить на буркѣ и невозмутимо пиликастъ на гармоникѣ, а старику все еще хочется хлопотать. На одной изъ станцій ему приходить охота составить протоколь. По его требованію, жандармъ садится и пишеть: «188* года ноября 10 я,unterъ-офицерь Z-го отдѣленія N-скаго жандармскаго полицейскаго управления желѣзныхъ дорогъ Илья Чередь, на основаніи 11 статьи закона 19-го мая 1871 года, составилъ сей протоколь на станціи X. въ нижеслѣдующемъ...»

— Дальше что писать?—спрашиваетъ жандармъ.

Малахинъ выкладываетъ передъ нимъ бланки, почтовыя и телеграфныя расписки, счеты... Что ему нужно отъ жандарма, онъ самъ опредѣленно не знаетъ; ему хочется описать въ протоколѣ не какой-нибудь отдельный эпизодъ, а все свое путешествіе, всѣ свои убытки, разговоры съ начальниками станцій, описать длинно и язвительно.

— А на станціи Z.—говорить онъ:—напишите: начальникъ станціи отцѣпилъ мои вагоны отъ воинскаго поѣзда, потому что моя физіономія ему не понравилась.

И ему хочется, чтобы жандармъ непремѣнно упомянулъ о физіономії. Тотъ утомленно слушаетъ и, не дослушавъ, продолжаетъ писать. Свой протоколъ онъ заканчиваетъ такъ: «Вышеизложенное я, унтеръ-офицеръ Чередъ, записалъ въ сей протоколъ и постановилъ представить оный начальнику Z-го отдѣленія, копію оного выдать мѣщанину Гаврилу Малахину». Старики беретъ копію, пріобщаетъ ее къ бумагамъ, которыми набить его боковой карманъ, и очень довольный идетъ къ себѣ въ вагонъ.

Утромъ Малахинъ опять просыпается не въ духѣ, но уже гибѣвъ свой изливаетъ не на Яшѣ, а на быкахъ.

— Пропали быки!—ворчитъ онъ.—Пропали! Они перехохнутъ! Накажи меня Богъ, перехохнуть всѣ! Тыфу!

Быки, давно уже не пивши, мучимые жаждою, лежутъ иней на стѣнахъ и, когда подходитъ къ нимъ Малахинъ, начинаютъ лизать его холодный полушубокъ. По ихъ свѣтлымъ слезящимся глазамъ видно, что они изнеможены жаждой и вагонной качкой, голодны и тоскуютъ.

— Вотъ, вози вась, проклятыхъ!—ворчитъ Малахинъ.—Ужъ издыхали бы поскорѣй, что ли! Глядѣть на вась противно.

Въ полдень поѣздъ останавливается у большой станціи, гдѣ, по правиламъ, для живого груза устраивается водоной. Быкамъ Малахина даютъ пить, но быки не пьютъ: вода оказывается слишкомъ холодной...

Проходить еще двое сутокъ и наконецъ вдали, въ сумглomъ туманѣ показывается столица. Путь конченъ. Поѣздъ останавливается, не доѣзжая города, около товарной станціи. Быки, выпущенные изъ вагоновъ на волю, пошатываются и спотыкаются, точно идутъ по скользкому льду.

Покончивъ съ выгрузкой и ветеринарнымъ осмотромъ,

Малахинъ и Яша поселяются въ грязныхъ, дешевыхъ номерахъ на окраинѣ города, на той самой площади, где производится торгъ скотомъ. Живутъ они въ грязи, ~~бдя~~ть отвратительно, какъ никогда не бывали у себя дома, спать подъ рѣзкіе звуки плохого оркестріона, день и ночь играющаго въ трактире подъ номерами. Старикъ съ утра уходитъ куда-то искать покупателей, а Яша по цѣлымъ днямъ сидитъ въ номерѣ, или же выходитъ на улицу поглядѣть столичный городъ. Онъ видитъ грязную, унавоженную площадь, трактирныя вывески, зубчатую стѣну монастыря въ туманѣ... Изрѣдка перебѣжитъ онъ улицу и заглянетъ въ окно бакалейной лавочки, полюбуется на банки съ разноцвѣтными пряниками, зѣбнетъ и лѣниво поплется къ себѣ въ номеръ. Столица не интересуетъ его.

Наконецъ быковъ продаютъ какому-то купцу. Малахинъ нанимаетъ погонщиковъ. Всѣхъ быковъ дѣлятъ на партии по десяти головъ въ каждой и гонять ихъ на другой конецъ города. Быки, понуривъ головы, утомленные, идутъ по шумнымъ улицамъ и равнодушно глядятъ на то, что видятъ они первый и послѣдній разъ въ жизни. Оборванные погонщики идутъ за ними, тоже понуривъ головы. Имъ скучно... Изрѣдка какой-нибудь погонщикъ встрепенется отъ думъ, вспомнить, что виереди его идуть виѣренные ему быки, и, чтобы показать себя занятымъ человѣкомъ, со всего размаха ударить палкой по спинѣ быка. Быкъ спотыкнется отъ боли, пробѣжитъ шаговъ десять впередъ и поглядитъ въ стороны съ такимъ выраженіемъ, какъ будто ему совсѣмъ, что его бьютъ при чужихъ людяхъ.

Продавъ быковъ и накупивъ для семьи гостинцевъ, какіе можно было бы купить у себя дома, Малахинъ и Яша собираются въ обратный путь. За три часа до отхода поѣзда, старикъ, уже вышившій съ покупателемъ, а потому хлопотливый, спускается съ Яшой въ трактиръ и садится пить чай. Какъ всѣ провинціалы, онъ не можетъ одинъ пить и есть: ему нужна компанія, такая же хлопотливая и разсудительная, какъ онъ самъ.

— Позови хозяина! — говорить онъ половому. — Скажи, что я его угостить желаю изъ любезности.

Хозяинъ, человѣкъ сытый и совершенно равнодушный къ своимъ постоянльцамъ, приходить и садится за столъ.

— Ну, поторговали! — говорит ему Малахинъ, смѣясь. — Промѣняли козу на ястреба. Какъ же, уѣхали сюда — было мясо по три-девяносто, а пріѣзжаемъ — оно ужъ по три съ четвертакомъ. Говорятъ, опоздали, было бы тремя днями раньше приѣзжать, потому что теперь на мясо спросъ не тотъ, Филипповъ постъ пришелъ... А? Чистая катафасія! На каждомъ быкѣ взялъ убытку четырнадцать рублей. Да вы посудите: провозъ быка сколько стоитъ? Пятнадцать рублей тарифа, да шесть рублей кладите на каждого быка — шахерь-махерь, взятки, угощенія, то да се...

Хозяинъ изъ приличія слушаетъ и неохотно хлебаетъ чай. Малахинъ охаетъ, всплескиваетъ руками, подиучиваетъ надъ своей неудачей, но по всему видно, что понесенный имъ убытокъ мало волнуетъ его. Ему все равно, что убытокъ, что польза, лишь бы только были у него слушатели, было бы о чемъ хлопотать, да не опоздать бы какъ-нибудь на поѣздъ.

Черезъ часъ Малахинъ и Яша, навычченные мѣшками и чемоданами, спускаются изъ номеровъ внизъ къ выходу, чтобы садиться на извозчика иѣхать на вокзалъ. Ихъ провожаютъ хозяинъ, коридорные и какія-то бабы. Старикъ растроганъ. Онъ тычетъ во всѣ стороны гравенники и говоритъ нараспѣвъ:

— Прощайте, оставайтесь здоровы! Дай Богъ вамъ, чтобъ все было, какъ надо. Богъ дастъ, коли будемъ живы и здоровы, опять пріѣдемъ въ Великомъ посту. Прощайте! Спасибо... дай Богъ!

Сѣвши въ санки, старикъ снимаетъ шапку и долго крестится въ ту сторону, гдѣ въ туманѣ темнѣеть монастырская стѣна. Яша садится рядомъ съ нимъ на краешекъ сидѣнья и свѣшиваетъ ногу въ сторону. Его лицо попрежнему безстрастно и не выражаетъ ни скуки, ни желаній. Онъ не радуется, что єдетъ домой, и не жалѣеть, что не успѣлъ поглядѣть на столицу.

— Трогай!

Извозчикъ бѣть по лошадкѣ и, обернувшись, начинаетъ браниться за тяжелый и громоздкій багажъ.

СКУЧНАЯ ИСТОРИЯ.

(Изъ записокъ старого человѣка.)

I.

Есть въ Россіи заслуженный профессоръ Николай Степановичъ такой-то, тайный советникъ и кавалеръ; у него такъ много русскихъ и иностранныхъ орденовъ, что когда ему приходится надѣвать ихъ, то студенты величаютъ его иконостасомъ. Знакомство у него самое аристократическое; по крайней мѣрѣ за послѣднія 25 — 30 лѣтъ въ Россіи иѣть и не было такого знаменитаго ученаго, съ которымъ онъ не былъ бы коротко знакомъ. Теперь дружить ему не съ кѣмъ, но если говорить о прошломъ, то длинный списокъ его славныхъ друзей заканчивается такими именами, какъ Пироговъ, Кавелинъ и поэтъ Некрасовъ, дарившиѳ его самой искренней и теплой дружбой. Онъ состоить членомъ всѣхъ русскихъ и трехъ заграницыыхъ университетовъ. И прочее, и проче. Все это и многое, что еще можно было бы сказать, составляетъ то, что называется моимъ именемъ.

Это мое имя¹ популярно. Въ Россіи оно известно каждому грамотному человѣку, а за границею оно упоминается съ каѳедръ съ прибавкою известный и почтенный. Принадлежать оно къ числу тѣхъ немногихъ счастливыхъ именъ, бранить которыхъ или упоминать ихъ всуе въ публикѣ и въ печати считается признакомъ дурного тона. Такъ это и должно быть. Вѣдь съ моимъ именемъ тѣсно связано понятіе о человѣкѣ знаменитомъ, богато одаренному и несо-

мнѣно полезномъ. Я трудолюбивъ и выносливъ, какъ верблюдъ, а это важно, и талантливъ, а это еще важнѣе. Къ тому же, къ слову сказать, я воспитанный, скромный и честный малый. Никогда я не соваль своего носа въ литературу и въ политику, не искалъ популярности въ полемикѣ съ невѣждами, не читалъ рѣчей ни на обѣдахъ, ни на могилахъ своихъ товарищѣй... Вообще на моемъ ученомъ имени нѣть ни одного пятна и пожаловаться ему не на что. Оно счастливо.

Носящій это имя, т.-е. я, изображаю изъ себя человѣка 62 лѣтъ, съ лысой головой, съ вставными зубами и съ неизлѣчимымъ тѣломъ. Насколько блестяще и красиво мое имя, настолько тусклъ и безобразенъ я самъ. Голова и руки у меня трясутся отъ слабости; шея, какъ у одной тургеневской героини, похожа на ручку контрабаса, грудь впалая, спина узкая. Когда я говорю или читаю, ротъ у меня кривится въ сторону; когда улыбаюсь — все лицо покрывается старчески-мертвенными морщинами. Ничего нѣть внушительного въ моей жалкой фигурѣ; только развѣ, когда бываю я боленъ тѣломъ, у меня появляется какое-то особенное выраженіе, которое у всякаго, при взгляде на меня, должно-быть, вызываетъ суровую внушительную мысль: «Повидимому, этотъ человѣкъ скоро умретъ».

Читаю я попрежнему не худо; какъ и прежде, я могу удерживать вниманіе слушателей въ продолженіе двухъ часовъ. Моя страсть, литературность изложенія и юморъ дѣлаютъ почти незамѣтными недостатки моего голоса, а онъ у меня сухъ, рѣзокъ и пѣвучъ, какъ у ханжи. Пишу же я дурно. Тотъ кусочекъ моего мозга, который завѣдуетъ писательскою способностью, отказался служить. Память моя ослабѣла, въ мысляхъ недостаточно послѣдовательности, и когда я излагаю ихъ на бумагѣ, мнѣ всякий разъ кажется, что я утерялъ чутье къ ихъ органической связи, конструкція однообразна, фраза скудна и робка. Часто пишу я не то, что хочу; когда пишу конецъ, не помню начала. Часто я забываю обыкновенные слова, и всегда мнѣ приходится тратить много энергіи, чтобы избѣгать въ письмѣ лишнихъ фразъ и ненужныхъ вводныхъ предложеній — то и другое ясно свидѣтельствуетъ объ упадкѣ умственной дѣятельности. И замѣчательно, чѣмъ проще письмо, тѣмъ мучительнѣе мое напряженіе. За научной статьей я чувствую себя го-

раздо свободнѣе и умнѣе, чѣмъ за поздравительнымъ письмомъ или докладной запиской. Еще одно: писать по-нѣмецки или по-англійски для меня легче, чѣмъ по-русски.

Что касается моего теперешняго образа жизни, то прежде всего я долженъ отмѣтить безсонницу, которою страдаю въ послѣднее время. Если бы меня спросили: что составляетъ теперь главную и основную черту твоего существованія? Я отвѣтилъ бы: безсонница. Какъ и прежде, по привычкѣ, ровно въ полночь я раздѣваюсь и ложусь въ постель. Засыпаю я скоро, но во второмъ часу просыпаюсь, и съ такимъ чувствомъ, какъ будто совсѣмъ не спалъ. Приходится вставать съ постели и зажигать лампу. Частъ, или два я хожу изъ угла въ уголъ по комнатѣ и разсматриваю давно знакомыя картины и фотографіи. Когда надоѣдаетъ ходить, сажусь за свой столъ. Сижу я неподвижно, ни о чѣмъ не думая и не чувствуя никакихъ желаній; если передо мной лежитъ книга, то машинально я придвигаю ее къ себѣ и читаю безъ всякаго интереса. Такъ, недавно, въ одну ночь я прочелъ машинально цѣлый романъ подъ страннымъ названіемъ: «О чѣмъ плѣла ласточка». Или же я, чтобы занять свое вниманіе, заставляю себя считать до тысячи, или воображаю лицо кого-нибудь изъ товарищей и начинаю вспоминать: въ какомъ году и при какихъ обстоятельствахъ онъ поступилъ на службу? Люблю прислушиваться къ звукамъ. То за двѣ комнаты отъ меня быстро проговорить что-нибудь въ бреду моя дочь Лиза, то жена пройдетъ черезъ залу со свѣчой и непремѣнно уронить коробку со спичками, то скрипнѣть разсыхающейся шкатулъ, или неожиданно загудить горѣлка въ ламиѣ — и всѣ эти звуки почему-то волнуютъ меня.

Не спать ночью — значитъ каждую минуту созиавать себя ненормальнымъ, а потому я съ нетерпѣніемъ жду утра и днія, когда я имѣю право не спать. Проходитъ много томительного времени, прежде чѣмъ на дворѣ закричитъ пѣтухъ. Это мой первый благовѣститель. Какъ только онъ прокричитъ, я уже знаю, что черезъ часть внизу проснется швейцарь и, сердито кашляя, пойдетъ зачѣмъ-то вверхъ по лѣстницѣ. А потомъ за окнами начнетъ мало-по-малу блѣднѣть воздухъ, раздадутся на улицѣ голоса...

День начинается у меня приходомъ жены. Она входитъ ко мнѣ въ юбкѣ, непричесанная, но уже умытая, пахнущая

цвѣточнымъ одеколономъ, и съ такимъ видомъ, какъ будто вошла нечаянно, и всякий разъ говорить одно и то же:

— Извини, я на минутку... Ты оиять не спаль?

Затѣмъ она тушитъ лампу, садится около стола и начинаетъ говорить. Я не пророкъ, но заранѣе знаю, о чёмъ будетъ рѣчь. Каждое утро одно и то же. Обыкновенно, послѣ тревожныхъ разспросовъ о моемъ здоровье, она вдругъ вспоминаетъ о нашемъ сынѣ офицерѣ, служащемъ въ Варшавѣ. Послѣ двадцатаго числа каждого мѣсяца мы высыпаемъ ему по 50 рублей—это главнымъ образомъ и служить темою для нашего разговора.

— Конечно, это намъ тяжело,—вздыхаетъ жена:—но пока онъ окончательно не сталъ на ноги, мы обязаны помочь ему. Мальчикъ на чужой сторонѣ, жалованье маленькое... Впрочемъ, если хочешь, въ будущемъ мѣсяцѣ мы пошлемъ ему не пятьдесятъ, а сорокъ. Какъ ты думаешь?

Ежедневный опытъ могъ бы убѣдить жену, что расходы не становятся меньше оттого, что мы часто говоримъ о нихъ, но жена моя не признаетъ опыта и аккуратно каждое утро разсказываетъ и о нашемъ офицерѣ, и о томъ, что хлѣбъ, славу Богу, сталъ дешевле, а сахаръ подорожалъ на двѣ копейки — и все это такимъ тономъ, какъ будто сообщаетъ мнѣ новость.

Я слушаю, машинально поддакиваю и, вѣроятно оттого, что не спалъ ночь, странныя, ненужныя мысли овладѣваютъ мной. Я смотрю на свою жену и удивляюсь какъ ребенокъ. Въ недоумѣніи я спрашиваю себя: неужели эта старая, очень полная, неуклюжая женщина, съ тупымъ выражениемъ мелочной заботы и страха передъ кускомъ хлѣба, со взглядомъ, отуманиеннымъ постоянными мыслями о долгахъ и нуждѣ, умѣющая говорить только о расходахъ и улыбаться только дешевизнѣ — неужели эта женщина была когда-то той самой тоненькой Варю, которую я страстно полюбилъ за хороший, ясный умъ, за чистую душу, красоту и, какъ Отелло Дездемону, за « состраданье » къ моей наукѣ? Неужели это та самая жена моя Варя, которая когда-то родила мнѣ сына?

Я напряженно всматриваюсь въ лицо сырой, неуклюжей старухи, ищу въ ней свою Варю, но отъ прошлаго у ней уぢлѣль только страхъ за мое здоровье, да еще манера мое жалованье называть нашимъ жалованьемъ, мою шашку—

нашой шапкой. Мне больно смотреть на нее, и чтобы утешить ее хоть немного, я позволяю ей говорить что угодно, и даже молчу, когда она несправедливо судить о людях, или журить меня за то, что я не занимаюсь практикой и не издаю учебниковъ.

Кончается нашъ разговоръ всегда одинаково. Жена вдругъ вспоминаетъ, что я еще не пилъ чаю, и пугается.

— Что жъ это я сижу?—говорить она, поднимаясь.— Самоваръ давно на столѣ, а я тутъ болтаю. Какая я стала безпамятная, Господи!

Она быстро идетъ и останавливается у двери, чтобы сказать:

— Мы Егору должны за пять мѣсяцевъ. Ты это знаешь? Не слѣдуетъ запускать жалованья прислугѣ, сколько разъ я говорила! Отдать за мѣсяцъ десять рублей гораздо легче, чѣмъ за пять мѣсяцевъ—пятьдесятъ!

Выходя за дверь, она опять останавливается и говорить:

— Никого мнѣ такъ не жаль, какъ нашу бѣдную Лизу. Учится дѣвочка въ консерваторіи, постоянно въ хорошемъ обществѣ, а одѣта Богъ знаетъ какъ. Такая шубка, что на улицу стыдно показаться. Будь она чья-нибудь другая, это бы еще ничего, но вѣдь всѣ знаютъ, что ея отецъ знаменитый профессоръ, тайный совѣтникъ!

И, попрекнувъ меня моимъ именемъ и чиномъ, она наконецъ уходитъ. Такъ начинается мой день. Продолжается онъ не лучше.

Когда я пью чай, ко мнѣ входитъ моя Лиза, въ шубкѣ, въ шапочкѣ и съ нотами, уже совсѣмъ готовая, чтобы идти въ консерваторію. Ей 22 года. На видъ она моложе, хороша собой и немножко похожа на мою жену въ молодости. Она нѣжно цѣлуетъ меня въ високъ и въ руку и говоритъ:

— Здравствуй, папочка. Ты здоровъ?

Въ дѣствѣ она очень любила мороженое, и мнѣ часто приходилось водить ее въ кондитерскую. Мороженое для нея было мѣриломъ всего прекраснаго. Если ей хотѣлось похвалить меня, то она говорила: «Ты, папа, сливочный». Одинъ пальчикъ назывался у нея фисташковымъ, другой сливочнымъ, третій малиновымъ и т. д. Обыкновенно, когда по утрамъ она приходила ко мнѣ здороваться, я сажалъ ее къ себѣ на колѣни и, цѣля ея пальчики, приговаривалъ:

— Сливочный... фисташковый... лимонный...

И теперь, по старой памяти, я цѣлую пальцы Лизы и бормочу: «фисташковый... сливочный... лимонный...», но выходитъ у меня совсѣмъ не то. Я холodenъ какъ мороженое, и мнѣ стыдно. Когда входить ко мнѣ дочь и касается губами моего виска, я вздрагиваю точно въ висоѣ жалить меня щела, напряженно улыбаюсь и отворачиваю свое лицо. Съ тѣхъ поръ, какъ я страдаю безсонницей, въ моемъ мозгу гвоздемъ сидитъ вопросъ: дочь моя часто видить, какъ я, стариkъ, знаменитый человѣкъ, мучительно краснѣю оттого, что долженъ лакею; она видить, какъ часто забота о мелкихъ долгахъ заставляетъ меня бросать работу и по цѣлымъ часамъ ходить изъ угла въ уголъ и думать, но отчего же она ви разу тайкомъ отъ матери не пришла ко мнѣ и не шепнула: «Отецъ, вотъ мои часы, браслеты, сережки, платья... Заложи все это, тебѣ нужны деньги...»? Отчего она, видя, какъ я и мать, поддавшись ложному чувству, стараемся скрыть отъ людей свою бѣдность, отчего она не откажется отъ дорогого удовольствія заниматься музыкой? Я бы не принялъ ни часовъ, ни браслетовъ, ии жертвъ, храни меня Богъ, — мнѣ не это нужно.

Кстати вспоминаю я и про своего сына, варшавскаго офицера. Это умный, честный и трезвый человѣкъ. Но мнѣ мало этого. Я думаю, если бы у меня былъ отецъ стариkъ и если бы я зналъ, что у него бываютъ минуты, когда онъ стыдится своей бѣдности, то офицерское мѣсто я отдалъ бы кому-нибудь другому, а самъ нанялся бы въ работники. Подобныя мысли о дѣтяхъ отравляютъ меня. Къ чему онѣ? Таить въ себѣ злое чувство противъ обыкновенныхъ людей за то, что они не герои, можетъ только узкій или озлобленный человѣкъ. Но довольно обѣ этомъ.

Въ безъ четверти десять нужно идти къ моимъ минымъ мальчикамъ читать лекцію. Одѣваюсь и иду по дорогѣ, которая знакома мнѣ уже 30 лѣтъ и имѣеть для меня свою исторію. Вотъ большой, сѣрий домъ съ аптекой; тутъ когда-то стоялъ маленький домикъ, а въ немъ была портерная; въ этой портерной я обдумывала свою диссертацио и написала первое любовное письмо къ Варѣ. Писалъ карандашомъ, на листѣ съ заголовкомъ «*Historia morbi*». Вотъ бакалейная лавочка; когда-то хозяйничала въ ней жидокъ, продававшій мнѣ въ долгъ папиросы, потомъ толстая баба.

любившая студентовъ за то, что «у каждого изъ нихъ мать есть»: теперь сидить рыжій купецъ, очень равнодушный человѣкъ, пьющій чай изъ мѣдного чайника. А вотъ мрачная, давно не ремонтированныя университетскія ворота; скучающій дворникъ въ тулузѣ, метла, кучи снѣга... На свѣжаго мальчика, пріѣхавшаго изъ провинціи и воображающаго, что храмъ науки въ самомъ дѣлѣ храмъ, такія ворота не могутъ произвести здороваго впечатленія. Вообще ветхость университетскихъ построекъ, мрачность коридоровъ, коноть стѣнъ, недостатокъ свѣта, унылый видъ ступеней, вѣшалокъ и скамей въ исторіи русскаго пессимизма занимаютъ одно изъ первыхъ мѣсть на ряду причинъ предрасполагающихъ... Вотъ и нашъ садъ. Съ тѣхъ поръ, какъ я былъ студентомъ, онъ, кажется, не сталъ ни лучше, ни хуже. Я его не люблю. Было бы гораздо умнѣе, если бы вместо чахоточныхъ липъ, желтой акаціи и рѣдкой, стриженої сирени росли тутъ высокія сосны и хорошие дубы. Студентъ, настроеніе котораго въ большинствѣ создается обстановкой, на каждомъ шагу, тамъ, где онъ учится, долженъ видѣть передъ собою только высокое, сильное и изящное... Храни его Богъ отъ тощихъ деревьевъ, разбитыхъ оконъ, сѣрыхъ стѣнъ и дверей, обитыхъ рваной kleenкой.

Когда подхожу я къ своему крыльцу, дверь распахивается и меня встрѣчаетъ мой старый сослуживецъ, сверстникъ и тезка швейцаръ Николай. Впустивъ меня, онъ крякаетъ и говорить:

— Морозъ, ваше превосходительство!

Или же, если моя шуба мокрая, то:

— Дождикъ, ваше превосходительство!

Затѣмъ онъ бѣжитъ впереди меня и отворяетъ на моемъ пути всѣ двери. Въ кабинетѣ онъ бережно снимаетъ съ меня шубу и въ это время успѣваетъ сообщить мнѣ какуюнибудь университетскую новость. Благодаря короткому знакомству, какое существуетъ между всѣми университетскими швейцарами и сторожами, ему известно все, что происходитъ на четырехъ факультетахъ, въ канцеляріи, въ кабинетѣ ректора, въ библіотекѣ. Чего только онъ не знаетъ? Когда у насъ злобою дни бываешь, напримѣръ, отставка ректора или декана, то я слышу, какъ онъ, разговаривая съ молодыми сторожами, называетъ кандидатовъ и тутъ же поясняетъ, что такого-то не утвердить министръ, такой-то

самъ откажется, потомъ вдается въ фантастическія подробности о какихъ-то таинственныхъ бумагахъ, полученныхъ въ канцеляріи, о секретномъ разговорѣ, бывшемъ якобы у министра съ попечителемъ и т. п. Если исключить эти подробности, то въ общемъ онъ почти всегда оказывается правымъ. Характеристики, дѣлаемыя имъ каждому изъ кандидатовъ, своеобразны, но тоже вѣрины. Если вамъ нужно узнать, въ какомъ году кто защищалъ диссертацио, поступилъ на службу, вышелъ въ отставку, или умеръ, то призовите къ себѣ на помошь громадную память этого солдата, и онъ не только назоветъ вамъ годъ, мѣсяцъ и число, но и сообщить также подробности, которыми сопровождалось то или другое обстоятельство. Такъ помнить можетъ только тотъ, кто любить.

Онъ хранитель университетскихъ преданій. Отъ своихъ предшественниковъ-швейцаровъ онъ получилъ въ наслѣдство много легендъ изъ университетской жизни, прибавилъ къ этому богатству много своего добра, добытаго за время службы, и если хотите, то онъ разскажетъ вамъ много длинныхъ и короткихъ исторій. Онъ можетъ разскказать о необыкновенныхъ мудрецахъ, знавшихъ все, о замѣчательныхъ труженикахъ, не сиавшихъ по недѣлямъ, о многочисленныхъ мученикахъ и жертвахъ науки; добро торжествуетъ у него надъ зломъ, слабый всегда побѣждаетъ сильного, мудрый глупаго, скромный гордаго, молодой стараго... Нѣть надобности принимать всѣ эти легенды и не-былицы за чистую монету, но процѣдите ихъ, и у васъ на фильтрѣ останется то, что нужно: наши хорошія традиціи и имена истинныхъ героевъ, признанныхъ всѣми.

Въ нашемъ обществѣ всѣ свѣдѣнія о мірѣ ученыхъ исчерпываются анекдотами о необыкновенной разсѣянности старыхъ профессоровъ и двумя-тремя остротами, которые приписываются то Груберу, то мнѣ, то Бабухину. Для образованного общества этого мало. Если бы оно любило науку, ученыхъ и студентовъ такъ, какъ Николай, то его литература давно бы уже имѣла цѣлую эпопею, сказания и житія, какихъ, къ сожалѣнію, она не имѣсть теперь.

Сообщивъ мнѣ новость, Николай придаетъ своему лицу строгое выраженіе, и у насъ начинается дѣловой разговоръ. Если бы въ это время кто-нибудь посторонній поступалъ, какъ Николай свободно обращается съ термино-

логіей, то, пожалуй, могъ бы подумать, что это ученый, замаскированный солдатомъ. Кстати сказать, толки объ учености университетскихъ сторожей сильно преувеличены. Правда, Николай знаетъ большие сотни латинскихъ названий, умѣеть собрать скелетъ, иногда приготовить препаратъ, разсмѣшить студентовъ какой-нибудь длиной, ученой цитатой, но, напримѣръ, незамысловатая теорія кровообращенія ~~для~~ него и теперь такъ же темна, какъ 20 лѣтъ назадъ.

За столомъ въ кабинетѣ, низко нагнувшись надъ книгой или препаратомъ, сидѣть мой прозекторъ Петръ Игнатьевичъ, трудолюбивый, скромный, но безталантный человѣкъ, лѣтъ 35, уже плѣшивый и съ большими животомъ. Работаетъ онъ отъ утра до ночи, читаетъ массу, отлично помнить все прочитанное—и въ этомъ отношеніи онъ не человѣкъ, а золото; въ остальномъ же прочемъ—это ломовой конь, или, какъ иначе говорить, ученый тушица. Характерные черты ломового коня, отличающія его отъ таланта, таковы: кругозоръ его тѣсень и рѣзко ограниченъ специальностью; вѣтъ своей специальности онъ наивнѣй какъ ребенокъ. Помнится, какъ-то утромъ я вошелъ въ кабинетъ и сказалъ:

— Представьте, какое несчастье! Говорягъ, Скобелевъ умеръ.

Николай перекрестился, а Петръ Игнатьевичъ обернулся ко мнѣ и спросилъ:

— Какой это Скобелевъ?

Въ другой разъ—это было нѣсколько раньше—я объяснилъ, что умеръ профессоръ Перовъ. Милѣйший Петръ Игнатьевичъ спросилъ:

— А что онъ читалъ?

Кажется, заной у него подъ самымъ ухомъ Иатти, напади на Россію полчища китайцевъ, случись землетрясеніе, онъ не пошевельнется ни однимъ членомъ и преснокойно будетъ смотрѣть принцуреннымъ глазомъ въ своей микроскопіи. Однимъ словомъ, до Гекубы ему нѣть никакого дѣла. Я бы дорого далъ, чтобы посмотрѣть, какъ эта сука спитъ со своей женой.

Другая черта: фанатическая вѣра въ непогрѣшимость науки и главнымъ образомъ всего того, что пишутъ нѣмцы. Онъ увѣренъ въ самомъ себѣ, въ своихъ препаратахъ,

знаеть цѣль жизни и совершенно не знакомъ съ сомнѣніями и разочарованіями, отъ которыхъ сѣдѣютъ таланты. Рабское поклоненіе авторитетамъ и отсутствіе потребности самостоятельно мыслить. Разубѣдить его въ чёмъ-нибудь трудно, спорить съ нимъ невозможно. Извольте-ка поспорить съ человѣкомъ, который глубоко убѣжденъ, что самая лучшая наука—медицина; самые лучшіе люди—врачи, самыя лучшія традиціи—медицинскія. Отъ недоброго медицинского прошлаго уцѣлѣла только одна традиція—блѣдый галстукъ, который носятъ теперь доктора; для ученаго же и вообще образованаго человѣка могутъ существовать только традиціи обще-университетскія, безъ всякаго дѣленія ихъ на медицинскія, юридическія и т. и., но Петру Игнатьевичу трудно согласиться съ этимъ и онъ готовъ спорить съ вами до страшнаго суда.

Будущность его представляется мнѣ ясно. За всю свою жизнь онъ приготовить не сколько сотень препаратовъ необыкновенной чистоты, напишетъ много сухихъ, очень приличныхъ рефератовъ, сдѣлаетъ съ десятокъ добросовѣстныхъ переводовъ, но пороха не выдумаетъ. Для пороха нужны фантазія, изобрѣтательность, умѣніе угадывать, а у Петра Игнатьевича нѣть ничего подобнаго. Короче говоря, это не хозяинъ въ наукѣ, а работникъ.

Я, Петръ Игнатьевичъ и Николай говоримъ вполголоса. Намъ немножко не по себѣ. Чувствуешь что-то особенное, когда за дверью моремъ гудитъ аудиторія. За 30 лѣтъ я не привыкъ къ этому чувству и испытываю его каждое утро. Я нервно застегиваю сюртукъ, задаю Николаю лишніе вопросы, сержусь... Похоже на то, какъ будто я трушу, но это не трусость, а что-то другое, чего я не въ состояніи ни назвать, ни описать.

Безъ всякой надобности я смотрю на часы и говорю:

— Что жъ? Надо идти.

И мы шествуемъ въ такомъ порядкѣ: впереди идетъ Николай съ препаратами или съ атласами, за нимъ я, а за мною, скромно поникнувъ головою, шагаетъ ломовой конь; или же, если нужно, впереди на носилкахъ несутъ трупъ, за трупомъ идетъ Николай и т. д. При моемъ появлѣніи студенты встаютъ, потомъ садятся, и шумъ моря внезапно стихаетъ. Наступаетъ штиль.

Я знаю, о чёмъ буду читать, но не знаю, какъ буду чи-

тать, съ чего начну и чѣмъ кончу. Въ головѣ нѣть ни одной готовой фразы. Но стоить мнѣ только оглядѣть аудиторію (она построена у меня амфитеатромъ) и произнести стереотипное «въ прошлой лекціи мы остановились на...», какъ фразы длинной вереницей вылетаютъ изъ моей души и — пошла писать губернія! Говорю я неудержимо быстро, страстно и, кажется, нѣть той силы, которая могла бы прервать теченіе моей рѣчи. Чтобы читать хорошо, т. е. нескучно и съ пользой для слушателей, нужно, кромѣ таланта, имѣть еще сноровку и опытъ, нужно обладать самымъ яснымъ представлѣніемъ о своихъ силахъ, о тѣхъ, кому читаешь, и о томъ, что составляетъ предметъ твоей рѣчи. Кромѣ того, надо быть человѣкомъ себѣ на умѣ, слѣдить зорко и ни на одну секунду не терять поля зрения.

Хорошій дирижеръ, передавая мысль композитора, дѣлаетъ сразу двадцать дѣлъ: читаетъ партитуру, машетъ налочкой, слѣдить за пѣвцомъ, дѣлаетъ движеніе въ сторону то барабана, то волторни и проч. То же самое и я, когда читаю. Предо мною полтораста лицъ непохожихъ одно на другое, и триста глазъ, глядящихъ мнѣ прямо въ лицо. Цѣль моя — побѣдить эту многоголовую гидру. Если я каждую минуту, пока читаю, имѣю ясное представлѣніе о степени ея вниманія и о силѣ разумѣнія, то она въ моей власти. Другой мой противникъ сидитъ во мнѣ самомъ. Это — безконечное разнообразіе формъ, явлений и законовъ и множество ими обусловленныхъ своихъ и чужихъ мыслей. Каждую минуту я долженъ имѣть ловкость выхватывать изъ этого громаднаго матеріала самое важное и нужное, и такъ же быстро, какъ течетъ моя рѣчь, облекать свою мысль въ такую форму, которая была бы доступна разумѣнію гидры и возбуждала бы ея вниманіе, причемъ надо зорко слѣдить, чтобы мысли передавались не по мѣрѣ ихъ накопленія, а въ извѣстномъ порядкѣ, необходимомъ для правильной компановки картины, какую я хочу нарисовать. Даѣтъ я стараюсь, чтобы рѣчь моя была литература, опредѣленія кратки и точны, фраза возможно проста и красива. Каждую минуту я долженъ осаживать себя и помнить, что въ моемъ распоряженіи имѣются только часъ и сорокъ минутъ. Однимъ словомъ, работы це мало. Въ одно и то же время приходится изображать изъ себя и

ученаго, и педагога, и оратора, и плохо дѣло, если ораторъ побѣдить въ васъ педагога и ученаго, или наоборотъ.

Читаешь четверть, полчаса и вотъ замѣчаешь, что студенты начинаютъ поглядывать на потолокъ, на Петра Игнатьевича, одинъ полѣзть за платкомъ, другой сядеть поудобнѣе, третій улыбнется своимъ мыслямъ... Это значить, что вниманіе утомлено. Нужно принять мѣры. Пользуясь первымъ удобнымъ случаемъ, я говорю какой-нибудь каламбуръ. Всѣ полтораста лицъ широко улыбаются, глаза весело блестятъ, слышится ненадолго гулъ моря... Я тоже смѣюсь. Вниманіе освѣжилось, и я могу продолжать.

Никакой спортъ, никакія развлечений и игры никогда не доставляли мнѣ такого наслажденія, какъ чтеніе лекціи. Только на лекціи я могъ весь отдаваться страсти и понималъ, что вдохновеніе не выдумка поэтовъ, а существуетъ на самомъ дѣлѣ. И я думаю, Геркулесъ послѣ самаго пикантнаго изъ своихъ подвиговъ не чувствовалъ такого сладостнаго изнеможенія, какое переживалъ я всякий разъ послѣ лекцій.

Это было прежде. Теперь же на лекціяхъ я испытываю одно только мученіе. Не проходить и получаса, какъ я начинаю чувствовать непобѣдимую слабость въ ногахъ и въ плечахъ; сажусь въ кресло, но сидя читать я не привыкъ; черезъ минуту поднимаюсь, продолжаю стоя, потомъ опять сажусь. Во рту сохнетъ, голосъ синяетъ, голова кружится... Чтобы скрыть отъ слушателей свое состояніе, я то и дѣло пью воду, кашляю, часто сморкаюсь, точно мнѣ мѣшаютъ насморкъ, говорю невиопадъ каламбуры и, въ концѣ концовъ, объявляю перерывъ раньше, чѣмъ слѣдуетъ. Но главнымъ образомъ мнѣ стыдно.

Моя совѣсть и умъ говорятъ мнѣ, что самое лучшее, что я могъ бы теперь сдѣлать,—это прочесть мальчикамъ прощальную лекцію, сказать имъ послѣднее слово, благословить ихъ и уступить свое мѣсто человѣку, который моложе и сильнѣе меня. Но пусть судить меня Богъ, у меня не хватаетъ мужества поступить по совѣсти.

Къ несчастію, я не философъ и не богословъ. Мнѣ отлично известно, что проживу я еще не больше полугода; казалось бы, теперь меня должны бы больше всего занимать вопросы о загробныхъ потемкахъ и о тѣхъ видѣніяхъ, которыхъ посѣтятъ мой могильный сонъ. Но почему-то душа

моя не хотеть знать этихъ вопросовъ, хотя умъ и сознаеть всю ихъ важность. Какъ 20—30 лѣтъ назадъ, такъ и теперь передъ смертію меня интересуетъ одна только наука. Испуская послѣдній вздохъ, я все-таки буду вѣрить, что наука—самое важное, самое прекрасное и нужное въ жизни человѣка, что она всегда была и будетъ высшимъ проявленіемъ любви, и что только ею одною человѣкъ побѣдить природу и себя. Вѣра эта, быть-можетъ, наивна и несправедлива въ своемъ основаніи, но я не виноватъ, что вѣрю такъ, а не иначе; побѣдить же въ себѣ этой вѣры я не могу.

Но не въ этомъ дѣло. Я только прошу снизойти къ моей слабости и понять, что оторвать отъ каѳедры и учениковъ человѣка, котораго судьбы костного мозга интересуютъ больше, чѣмъ конечная цѣль мірозданія, равносильно тому, если бы его взяли да и заколотили въ гробъ, не дождавшись, пока онъ умретъ.

Отъ безсонницы и вслѣдствіе напряженной борьбы съ возрастающею слабостью, со мной происходитъ нѣчто странное. Среди лекцій къ горлу вдругъ подступаютъ слезы, начинаютъ чесаться глаза, и я чувствую страстное, истерическое желаніе протянуть впередъ руки и громко пожаловаться. Мне хочется прокричать громкимъ голосомъ, что меня, знаменитаго человѣка, судьба приговорила къ смертной казни, что черезъ какихъ-нибудь полгода, здѣсь въ аудиторіи будетъ хозяиничать уже другой. Я хочу прокричать, что я отравленъ; новые мысли, какихъ не зналъ я раньше, отравили послѣдніе дни моей жизни и продолжаютъ жалить мой мозгъ, какъ москиты. И въ это время мое положеніе представляется такимъ ужаснымъ, что мнѣ хочется, чтобы все мои слушатели ужаснулись, вскочили съ мѣстъ и въ паническомъ страхѣ, съ отчаяннымъ крикомъ бросились къ выходу.

Не легко переживать такія минуты.

II.

Послѣ лекціи я сижу у себя дома и работаю. Читаю журналы, диссертациіи, или готовлюсь къ слѣдующей лекціи, иногда пишу что-нибудь. Работаю съ перерывами, такъ какъ приходится принимать посѣтителей.

Слышится звонокъ. Это товарищъ пришелъ поговорить о

дѣлѣ. Онъ входитъ ко мнѣ со шляпой, съ палкой и, протягивая ко мнѣ ту и другую, говорить:

— Я на минуту, на минуту! Сидите, collega! Только два слова!

Первымъ дѣломъ мы стараемся показать другъ другу, что мы оба необыкновенно вѣжливы и очень рады видѣть другъ друга. Я усаживаю его въ кресло, а онъ усаживается меня; при этомъ мы осторожно поглаживаемъ другъ друга по талиямъ, касаемся нуговицъ и похоже на то, какъ будто мы опушиваемъ другъ друга и боимся обжечься. Оба смеемся, хотя не говоримъ ничего смѣшного. Усѣвшись, наклоняемся другъ къ другу головами и начинаемъ говорить вполголоса. Какъ бы сердечно мы ни были расположены другъ къ другу, мы не можемъ, чтобы не золотить нашей рѣчи всякой китайцией, въ родѣ: «вы изволили справедливо замѣтить», или «какъ я уже имѣть честь вамъ сказать», не можемъ, чтобы не хохотать, если кто изъ насъ сострить, хотя бы неудачно. Кончивъ говорить о дѣлѣ, товарищъ порывисто встаетъ и, помахивая шляпой въ сторону моей работы, начинаетъ прощаться. Опять щупаемъ другъ друга и смеемся. Провожаю до передней; тутъ помогаю товарищу надѣть шубу, но онъ всячески уклоняется отъ этой высокой чести. Затѣмъ, когда Егоръ отворяетъ дверь, товарищъувѣряетъ меня, что я простужусь, а я дѣлаю видъ, что готовъ идти за нимъ даже на улицу. И когда, наконецъ, я возвращаюсь къ себѣ въ кабинетъ, лицо мое все еще продолжаетъ улыбаться, должно-быть, по инерціи.

Немнogo погодя, другой звонокъ. Кто-то входитъ въ переднюю, долго раздѣвается и кашляетъ. Егоръ докладываетъ, что пришелъ студентъ. Я говорю: проси. Черезъ минуту входитъ ко мнѣ молодой человѣкъ пріятной наружности. Вотъ ужъ годъ, какъ мы съ нимъ находимся въ натянутыхъ отношеніяхъ: онъ отвратительно отвѣчаетъ мнѣ на экзаменахъ, а я ставлю ему единицы. Такихъ молодцовъ, которыхъ я, выражаясь на студенческомъ языке, гоняю или проваливаю, у меня ежегодно набирается человѣкъ семь. Тѣ изъ нихъ, которые не выдерживаютъ экзамена по неспособности или по болѣзни, обыкновенно несутъ свой крестъ терпѣливо и не торгаются со мной; торгаются же и ходятъ ко мнѣ па домъ только сангвиники, широкія натуры,

которымъ проволочка на экзаменахъ портить аппетитъ и мѣшаеть аккуратно посѣщать оперу. Первымъ я мирволю, а вторыхъ гоняю по цѣлому году.

— Садитесь,—говорю я гостю.—Что скажете?

— Извините, профессоръ, за беспокойство...—начинаеть онъ, заикаясь и не глядя мнѣ въ лицо.—Я бы не посмѣть безноконить васъ, если бы не... Я держаль у васъ экзаменъ уже пять разъ и... и срѣзгался. Прошу васъ, будьте добры, поставьте мнѣ «удовлетворительно», потому что...

Аргументъ, который всѣ лѣтятъ приводятъ въ свою пользу, всегда одинъ и тотъ же: они прекрасно выдержали по всѣмъ предметамъ и срѣзгались только на моемъ, и это тѣмъ болѣе удивительно, что по моему предмету они занимались всегда очень усердно и знаютъ его прекрасно; срѣзгались же они, благодаря какому-то непонятному недоразумѣнію.

— Извините, мой другъ,—говорю я гостю:—поставить вамъ «удовлетворительно» я не могу. Подите еще почитайте лекціи и приходите. Тогда увидимъ.

Пауза. Мнѣ приходить охота немножко помучить студента за то, что пиво и оперу онъ любить большие, чѣмъ науку, и я говорю со вздохомъ:

— По-моему, самое лучшее, что вы можете теперь сдѣлать, это—совсѣмъ оставить медицинскій факультетъ. Если при вашихъ способностяхъ вамъ никакъ че удастся выдержать экзамена, то, очевидно, у васъ нѣтъ ни желанія, ни призванія быть врачомъ.

Лицо сангвиника вытягивается.

— Простите, профессоръ,—усмѣхается онъ:—но это было бы съ моей стороны по меньшей мѣрѣ странно. Проучиться пять лѣтъ и вдругъ... уйти!

— Ну, да! Лучше потерять даромъ пять лѣтъ, чѣмъ потомъ всю жизнь заниматься дѣломъ, котораго не любишь.

Но тотчасъ же мнѣ становится жаль его и я спѣшу сказать:

— Впрочемъ, какъ знаете. Итакъ, почитайте еще немножко и приходите.

— Когда?—глухо спрашиваетъ лѣтятъ.

— Когда хотите. Хоть завтра.

И въ его добрыхъ глазахъ я читаю: «Придти-то можно, но вѣдь ты, скотина, опять меня прогонишь!»

— Конечно,—говорю я:—вы не станете ученъе оттого, что будете у меня экзаменоваться еще пятнадцать разъ, но это воспитаеть въ васъ характеръ. И на томъ спасибо.

Наступаетъ молчаніе. Я поднимаюсь и жду, когда уйдетъ гость, а онъ стоитъ, смотритъ на окно, теребить свою бородку и думаетъ. Становится скучно.

Голосъ у сангвиника пріятный, сочный, глаза умные, на смѣшилывы, лицо благодушное, нѣсколько помятое отъ чистаго употребленія пива и долгаго лежанья на диванѣ; по видимому, онъ могъ бы разсказать мнѣ много интереснаго про оперу, про свои любовныя похожденія, про товарищей, которыхъ онъ любить, но, къ сожалѣнію, говорить объ этомъ не принято. А я бы охотно послушалъ.

— Профессоры! Даю вамъ честное слово, что если вы поставите мнѣ «удовлетворительно», то и...

Какъ только дѣло дошло до «честнаго слова», я махаю руками и сажусь за столъ. Студентъ думаетъ еще минуту и говоритъ уныло:

— Въ такомъ случаѣ прощайт... Извините.

— Прощайте, мой другъ. Доброго здоровья.

Онъ нерѣшительно идетъ въ переднюю, медленно одѣвается тамъ и, выйдя на улицу, вѣроятно, опять долго думаетъ; ничего не придумавъ, кроме «старого чорта» по моему адресу, онъ идетъ въ плохой ресторантъ пить пиво и обѣдать, а потомъ къ себѣ домой спать. Миръ ираху твоему, честный труженикъ!

Третій звоночокъ. Входить молодой докторъ въ новой черной парѣ, въ золотыхъ очкахъ и, конечно, въ бѣломъ галстукѣ. Рекомендуется. Прошу садиться и спрашиваю, что угодно. Не безъ волненія молодой жрецъ науки начинаетъ говорить мнѣ, что въ этомъ году онъ выдержалъ экзаменъ на докторанта и что ему остается теперь только написать диссертацию. Ему хотѣлось бы поработать у меня, подъ моимъ руководствомъ, и я бы премного обязалъ его, если бы далъ ему тему для диссертациіи.

— Очень радъ быть полезнымъ, коллега,—говорю я:—но давайте сначала споемся относительно того, что такое диссертация. Подъ этимъ словомъ принято разумѣть сочиненіе, составляющее продуктъ самостоятельного творчества. Не такъ ли? Сочиненіе же, написанное на чужую тему и подъ чужимъ руководствомъ, называется иначе...

Докторантъ молчить. Я вспыхиваю и вскаиваю съ мѣста.

— Чѣмъ вы все ко мнѣ ходите, не понимаю? — кричу я сердито. — Лавочка у меня, что ли? Я не торгую темами! Въ тысячу первый разъ прошу васъ всехъ оставить меня въ покой! Извините за неделикатность, но мнѣ, наконецъ, это надоѣло!

Докторантъ молчить и только около его скучъ выступаетъ легкая краска. Лицо его выражаетъ глубокое уваженіе къ моему знаменитому имени и учености, а по глазамъ его я вижу, что онъ презираетъ и мой голосъ, и мою жалкую фигуру, и первую жестикуляцію. Въ своеімъ гнѣвѣ я представляюсь ему чудакомъ.

— У меня не лавочка! — сержуясь я. — И удивительное дѣло! Отчего вы не хотите быть самостоятельными? Отчего вамъ такъ противна свобода?

Говорю я много, а онъ все молчить. Въ концѣ концовъ я мало-по-малу стихаю и, разумѣется, сдаюсь. Докторантъ получить отъ меня тему, которой грохнуть цѣна, напишетъ подъ моимъ наблюденіемъ никому ненужную диссертацию, съ достоинствомъ выдержать скучный диспутъ и получить ненужную ему ученую степень.

Звоночки могутъ слѣдоватъ одинъ за другимъ безъ конца, но я здѣсь ограничусь только четырьмя. Бываетъ четвертый звонокъ, и я слышу знакомые шаги, шорохъ платья, милый голосъ...

18 лѣть тому назадъ умеръ мой товарищъ окулистъ и оставилъ послѣ себя семилѣтнюю дочь Катю и тысячу шестьдесятъ денегъ. Въ своеімъ завѣщаніи онъ назначилъ опекуномъ меня. До десяти лѣть Катя жила въ моей семье, потомъ была отдана въ институтъ и живала у меня только въ лѣтніе мѣсяцы, во время каникулъ. Заниматься ея воспитаніемъ было мнѣ некогда, наблюдалъ я ее только урывками, и потому о дѣтствѣ ея могу сказать очень немногого.

Первое, что я помню и люблю по воспоминаніямъ, это — необыкновенную довѣрчивость, съ какою она вошла въ мой домъ, лѣчилась у докторовъ и которая всегда свѣтилась на ея личикѣ. Бывало, сидѣть гдѣ-нибудь въ сторонкѣ съ подвязанной щекой и непремѣнно смотрѣть на что-нибудь со вниманіемъ; видѣть ли она въ это время, какъ я пишу и перелистываю книги, или какъ хлопочетъ жена, или какъ

кухарка въ кухнѣ чистить картофель, или какъ играетъ собака, у нея всегда неизмѣнно глаза выражали одно и то же, а именно: «Все, что дѣлается на этомъ свѣтѣ, все прекрасно и умно». Она была любопытна и очень любила говорить со мной. Бывало, сидитъ за столомъ противъ меня, слѣдить за моими движеніями и задаетъ вопросы. Ей интересно знать, что я читаю, что дѣлаю въ университѣтѣ, но боюсь ли труповъ, куда дѣваю свое жалованье.

— Студенты дерутся въ университѣтѣ? — спрашиваетъ она.

— Дерутся, милая.

— А вы ставите ихъ на колѣни?

— Ставлю.

И ей было смѣшно, что студенты дерутся и что я ставлю ихъ на колѣни, и она смѣялась. Это былъ кроткій, терпѣливый и добрый ребенокъ. Нерѣдко мнѣ приходилось видѣть, какъ у нея отнимали что-нибудь, наказывали пона-расну, или не удовлетворяли ся любопытства; въ это время къ постоянному выраженію довѣрчивости на ея лицѣ привыкалась еще грусть — и только. Я не умѣлъ заступаться за нее, а только, когда видѣлъ грусть, у меня являлось желаніе привлечь ее къ себѣ и пожалѣть тономъ старой няньки: «сиротка моя милая»!

Помню также, она любила хорою одѣваться и прыскаться духами. Въ этомъ отношеніи она походила на меня. Я тоже люблю красивую одежду и хорошия духи.

Жалѣю, что у меня не было времени и охоты прослѣдить начало и развитіе страсти, которая вполнѣ уже владѣла Катею, когда ей было 14—15 лѣтъ. Я говорю объ ея страстной любви къ театру. Когда она прїѣзжала къ намъ изъ института на каникулы и жила у насъ, то ни о чёмъ она не говорила съ такимъ удовольствіемъ и съ такимъ жаромъ, какъ о пьесахъ и актерахъ. Своими постоянными разговорами о театрѣ она угомляла насъ. Жена и дѣти не слушали ся. У одного только меня не хватало мужества отказывать ей во вниманіи. Когда у нея являлось желаніе подѣлиться своими восторгами, она входила ко мнѣ въ кабинѣтъ и говорила умоляющимъ тономъ:

— Николай Степанычъ, позвольте мнѣ поговорить съ вами о театрѣ!

Я показывалъ ей на часы и говорилъ:

— Даю тебѣ подчаса. Начинай,

Позднѣе она стала привозить съ собою цѣлыми дюжинами портреты актеровъ и актрисъ, на которыхъ молилась; потомъ попробовала нѣсколько разъ участвовать въ любительскихъ спектакляхъ и въ концѣ концовъ, когда кончила курсъ, объявила мнѣ, что она родилась быть актрисой.

Я никогда не раздѣлялъ театральныхъ увлеченій Кати. По-моему, если пьеса хороша, то, чтобы она произвела должное впечатлѣніе, нѣть надобности утруждать актеровъ; можно ограничиться однимъ только чтеніемъ. Если же пьеса плоха, то никакая игра не сдѣлаетъ ее хорошею.

Въ молодости я часто посѣщалъ театръ, и теперь раза два въ годъ семья береть ложу и возить меня «провѣтрить». Конечно, этого недостаточно, чтобы имѣть право судить о театрѣ, но я скажу о немъ немногого. По моему мнѣнію, театръ не сталъ лучше, чѣмъ онъ былъ 30—40 лѣтъ назадъ. Попрежнему ни въ театральныхъ коридорахъ, ни въ фойѣ я никакъ не могу найти стакана чистой воды. Попрежнему капельдинеры штрафуютъ меня за мою шубу на двугривенный, хотя въ ношениі теплаго платья зимою нѣть ничего предосудительнаго. Попрежнему въ антрактахъ играетъ безъ всякой надобности музыка, прибавляющая къ впечатлѣнію, получаемому отъ пьесы, еще новое, непрощенное. Попрежнему мужчины въ антрактахъ ходятъ въ буфетъ пить спиртные напитки. Если не видно прогресса въ мелочахъ, то напрасно я сталъ бы искать его и въ крупномъ. Когда актеръ съ головы до ногъ опутанный театральными традиціями и предразсудками, старается читать простой, обыкновенный монологъ «Быть или не быть» не просто, а почему-то непремѣнно съ шипѣніемъ, и съ судорогами во всемъ тѣлѣ, или когда онъ старается убѣдить меня во что бы то ни стало, что Чапкій, разговаривающій много съ дураками и любящій дуру, очень умный человѣкъ, и что «Горе отъ ума» не скучная пьеса, то на меня отъ сцены вѣтъ тою же самой рутиной, которая скучна мнѣ была еще 40 лѣтъ назадъ, когда меня угождали классическими завываніями и біеніемъ по персямъ. И всякий разъ выхожу я изъ театра консервативнымъ болѣе, чѣмъ когда вхожу туда.

Сантиментальную и довѣрчивую толпу можно убѣдить въ томъ, что театръ въ настоящемъ его видѣ есть школа. Но

кто знакомъ со школой въ истинномъ ея смыслѣ, того на эту удоочку не поймаешь. Не зиаю, что будетъ черезъ 50—100 лѣтъ, но при настоящихъ условіяхъ театръ можетъ служить только развлеченіемъ. Но развлечеіе это слишкомъ дорого для того, чтобы продолжать пользоваться имъ. Оно отнимаетъ у государства тысячи молодыхъ, здоровыхъ и талантливыхъ мужчинъ и женщинъ, которые, если бы не посвящали себя театру, могли бы быть хорошими врачами, хлѣбопашцами, учительницами, офицерами; оно отнимаетъ у публики вечерніе часы—лучшее время для умственного труда и товарищескихъ бесѣдъ. Не говорю ужъ о денежныхъ затратахъ и о тѣхъ нравственныхъ потеряхъ, какія несетъ зритель, когда видить на сценѣ неправильно трактуемая убийство, прелюбодѣяніе, или клевету.

Катя же была совсѣмъ другого миѣнія. Она увѣряла меня, что театръ, даже въ настоящемъ его видѣ, выше аудиторій, выше книгъ, выше всего на свѣтѣ. Театръ—это сила, соединяющая въ себѣ одной всѣ искусства, а актеры—миссіонеры. Никакое искусство и никакая наука въ отдѣльности не въ состояніи дѣйствовать такъ сильно и такъ вѣрно на человѣческую душу, какъ сцена, и недаромъ поэтому актеръ средней величины пользуется въ государствѣ гораздо болѣею популярностью, чѣмъ самый лучшій ученый или художникъ. И никакая публичная дѣятельность не можетъ доставить такого наслажденія и удовлетворенія, какъ сценическая.

И въ одинъ прекрасный день Катя поступила въ труппу и уѣхала, кажется, въ Уфу, увезя съ собою много денегъ, тѣму радужныхъ надеждъ и аристократические взглѣды на ~~дѣло~~.

Первые письма ея съ дороги были удивительны. Я читалъ ихъ и просто изумлялся, какъ это небольшіе листки бумаги могутъ содержать въ себѣ столько молодости, душевной чистоты, святой наивности и вмѣстѣ съ тѣмъ тонкихъ, дѣльныхъ сужденій, которыя могли бы сдѣлать честь хорошему мужскому уму. Волгу, природу, города, которые она посѣщала, товарищей, свои успѣхи и неудачи она не описывала, а воспѣвала; каждая строчка дышала довѣрчивостью, какую я привыкъ видѣть на ея лицѣ—и при всемъ томъ масса грамматическихъ ошибокъ, а знаковъ препинанія почти совсѣмъ не было.

Не прошло и полгода, какъ я получилъ въ высшей степени поэтическое и восторженное письмо, начинавшееся словами: «Я полюбила». Къ этому письму была приложена фотографія, изображавшая молодого мужчину съ бритымъ лицомъ, въ широконолой шляпѣ и съ пледомъ, перекинутымъ черезъ плечо. Слѣдующія затѣмъ письма были по-прежнему великолѣпны, но ужъ показались въ нихъ знаки преинанія, исчезли грамматическая ошибки и сильно за-нахло отъ нихъ мужчиной. Катя стала писать мнѣ о томъ, что хорошо бы гдѣ-нибудь на Волгѣ построить большой театръ не иначе, какъ на паяхъ, и привлечь къ этому предпріятію богатое купечество и пароходовладѣльцевъ; денегъ было бы много, сборы громадные, актеры играли бы на условіяхъ товарищества... Можетъ-быть, все это и въ самомъ дѣлѣ хорошо, но мнѣ кажется, что подобная измышенія могутъ исходить только изъ мужской головы.

Какъ бы то ни было, полтора-два года, повидимому, все обстояло благополучно: Катя любила, вѣрила въ свое дѣло и была счастлива; но потомъ въ письмахъ я стала замѣчать явные признаки упадка. Началось съ того, что Катя пожаловалась мнѣ на своихъ товарищахъ—это первый и самый зловѣщій симптомъ; если молодой ученый или литераторъ начинаетъ свою дѣятельность съ того, что горько жалуется на ученыхъ или литераторовъ, то это значитъ, что онъ уже утомился и не годенъ для дѣла. Катя писала мнѣ, что ея товарищи не посѣщаются репетиціей и никогда не знаютъ ролей; въ постановкѣ нелѣпыхъ пьесъ и въ манерѣ держать себя на сценѣ видно у каждого изъ нихъ полное неуваженіе къ публикѣ; въ интересахъ сбора, о которомъ только и говорять, драматическія актрисы унижаются до пѣнія шансонетокъ, а трагики поютъ куплеты, въ которыхъ смѣются надъ рогатыми мужьями и надъ беременностью невѣрныхъ женъ и т. д. Въ общемъ надо изумляться, какъ это до сихъ поръ не погибло еще про-винціальное дѣло и какъ оно можетъ держаться на такой тонкой и гнилой жилочкѣ.

Въ отвѣтъ я послалъ Катѣ длинное и, признаться, очень скучное письмо. Между прочимъ я писалъ ей: «Мнѣ изрѣдка приходилось бесѣдовать со стариками-актерами, благороднѣйшими людьми, дарившими меня своимъ расположениемъ; изъ разговоровъ съ ними я могъ понять, что ихъ

дѣятельностью руководятъ не столько ихъ собственный разумъ и свобода, сколько мода и настроеніе общества; лучшимъ изъ нихъ приходилось на своеѣ вѣку играть и въ трагедіи, и въ опереткѣ, и въ парижскихъ фарсахъ, и въ фееріяхъ, и всегда одинаково имъ казалось, что они шли по прямому пути и приносили пользу. Значить, какъ видишь, причину зла нужно искать не въ актерахъ, а глубже, въ самомъ искусствѣ и въ отношеніяхъ къ нему всего общества». Это мое письмо только раздражило Катю. Она мнѣ отвѣтила: «Мы съ вами поемъ изъ разныхъ оперъ. Я вамъ писала не о благороднѣйшихъ людяхъ, которые дарили васъ своимъ расположениемъ, а о шайкѣ пройдохъ, не имѣющихъ ничего общаго съ благородствомъ. Это табунъ дикихъ людей, которые попали на сцену только потому, что ихъ не приняли бы нигдѣ въ другомъ мѣстѣ, и которые называютъ себя артистами только потому, что наглы. Ни одного таланта, но много бездарностей, пьяницъ, интригановъ, сплетниковъ. Не могу вамъ выскажать, какъ горько мнѣ, что искусство, которое я такъ люблю, попало въ руки неизвестныхъ мнѣ людей; горько, что лучшіе люди видятъ зло только издали, не хотятъ подойти поближе и выѣсто того, чтобы вступиться, пишутъ тяжеловѣснымъ слогомъ общія мѣста и никому иенужную мораль...» и такъ далѣе, все въ такомъ родѣ.

Прошло еще немного времени и я получила такое письмо: «Я безчеловѣчно обманута. Не могу больше жить. Распорядитесь моими деньгами, какъ это найдете нужнымъ. Я любила васъ, какъ отца и единственного моего друга. Простите».

Оказалось, что и ея *онъ* принадлежалъ тоже къ «табуну дикихъ людей». Внослѣдствіи по нѣкоторымъ намекамъ я могъ догадаться, что было покушеніе на самоубийство. Кажется, Катя пробовала отравиться. Надо думать, что она потомъ была серьезно больна, такъ какъ слѣдующее письмо я получила уже изъ Ялты, куда, по всей вѣроятности, ее послали доктора. Послѣднее письмо ея ко мнѣ содержало въ себѣ просьбу возможно скорѣе выслать ей въ Ялту тысячу рублей и оканчивалось оно такъ: «Извините, что письмо такъ мрачно. Вчера я похоронила своего ребенка». Проживъ въ Крыму около года, она вернулась домой.

Путешествовала она около четырехъ лѣтъ и во всѣ эти

четыре года, надо сознаться, я игралъ по отношению къ ней довольно незавидную и странную роль. Когда ранѣе она объявила мнѣ, что идетъ въ актрисы и потомъ писала мнѣ про свою любовь, когда ею періодически овладѣвалъ духъ расточительности и мнѣ то и дѣло приходилось, по ея требованію, высыпать ей то тысячу, то двѣ рублей, когда она писала мнѣ о своемъ намѣреніи умереть и потомъ о смерти ребенка, то всякий разъ я терялся и все мое участіе въ ея судьбѣ выражалось только въ томъ, что я много думалъ и писать длинныя, скучныя письма, которыхъ я могъ бы совсѣмъ не писать. А между тѣмъ, вѣдь я замѣнялъ ей родного отца и любилъ ее, какъ дочь!

Теперь Катя живетъ въ полуверстѣ отъ меня. Она на-
няла квартиру въ пять комнать и обставила довольно
комфортабельно и съ присущимъ ей вкусомъ. Если бы кто
взялся нарисовать ея обстановку, то преобладающимъ на-
строениемъ въ картинѣ получилась бы лѣниваго
тѣла—мягкія кушетки, мягкія табуретки, для лѣнивыхъ
ногъ—ковры, для лѣниваго зрѣнія—липучіе, тусклые, или
матовые цвѣта; для лѣнивой души—изобиліе на стѣнахъ
дешевыхъ вѣровъ и мелкихъ картинъ, въ которыхъ ори-
гинальность исполненія преобладаетъ надъ содержаніемъ,
избытокъ столиковъ и полочекъ, установленныхъ совершенно
ненужными и не имѣющими цѣни венцами, безформенные
лоскуты вмѣсто занавѣсей... Все это вмѣстѣ съ боязнью
яркихъ цвѣтовъ, симметріи и простора, помимо душевной
лѣни, свидѣтельствуетъ еще и объ извращеніи естествен-
наго вкуса. По цѣлымъ днамъ Катя лежитъ на кушеткѣ и
читаетъ книги, преимущественно романы и повѣсти. Изъ
дому она выходитъ только разъ въ день, послѣ полудня,
чтобы повидаться со мной.

Я работаю, а Катя сидитъ недалеко отъ меня на ди-
ванѣ, молчитъ и кутается въ шаль, точно ей холодно. От-
того ли, что она симпатична мнѣ, или оттого, что я при-
выкъ къ ея частымъ посѣщеніямъ, когда она была еще
дѣвочкой, ея присутствіе не мѣшає мнѣ сосредоточиться.
Изрѣдка я задаю ей машинально какой-нибудь вопросъ,
она даетъ очень короткій отвѣтъ; или же, чтобы отдохнуть
минутку, я оборачиваюсь къ ней и гляжу, какъ она, за-
думавшись, просматриваетъ какой-нибудь медицинскій жур-
налъ или газету. И въ это время я замѣчаю, что на лицѣ

ея уже не быть прежняго выраженија довѣрчивости. Выражение теперь холодное, безразличное, разсѣянное, какъ у пассажировъ, которымъ приходится долго ждать поѣзда. Одѣтая она попрежнему красиво и просто, но небрежно; видно, что платью и прическѣ не мало достается отъ кушетокъ и качалокъ, на которыхъ она лежитъ по цѣлымъ днямъ. И ужъ она не любопытна, какъ была прежде. Вопросовъ она ужъ мнѣ не задаетъ, какъ будто все ужъ испытала въ жизни и не ждетъ услышать ничего новаго.

Въ исходѣ четвертаго часа въ залѣ и въ гостиной начинается движеніе. Это изъ консерваторіи вернулась Лиза и привела съ собою подругъ. Слышно, какъ играютъ на рояли, пробуютъ голоса и хохочутъ; въ столовой Егоръ накрываетъ на столъ и стучитъ посудой.

— Прощайте,—говорить Катя.—Сегодня я не зайду къ вашимъ. Пусть извинятъ. Некогда. Приходите.

Когда я провожаю ее до передней, она сурово оглядываетъ меня съ головы до ногъ и говорить съ досадой:

— А вы все худѣете! Отчего не лѣчитесь? Я сѣѣзжу къ Сергею Федоровичу и приглашу. Пусть васъ посмотритъ.

— Не нужно, Катя.

— Не понимаю, что ваша семья смотрить! Хороши, нечего сказать.

Она торописто надѣваетъ свою шубку и въ это время изъ ея небрежно сдѣланной прически непремѣнно падаютъ на полъ двѣ-три шпильки. Поправлять прическу лѣни и никогда; она неловко прячетъ упавшіе локоны подъ шапочку и уходитъ.

Когда я вхожу въ столовую, жена спрашиваетъ меня:

— У тебя была сейчасъ Катя? Отчего же она не зашла къ намъ? Это даже странно...

— Мама!—говорить ей укоризненно Лиза.—Если не хочешь, то и Богъ съ ней. Не на колѣни же памъ становиться.

— Какъ хочешь, это пренебреженіе. Сидѣть въ кабинетѣ три часа и не вспомнить о насъ. Вирочемъ, какъ ей угодно.

Варя и Лиза обѣ ненавидятъ Катю. Ненависть эта мнѣ непопытна и, вѣроятно, чтобы понимать ее, нужно быть женщиной. Я ручаюсь головою, что изъ тѣхъ полутораста молодыхъ мужчинъ, которыхъ я почти ежедневно вижу въ

своей аудитории, и изъ той сотни пожилыхъ, которыхъ мнѣ приходится встрѣтить каждую недѣлю, едва ли найдется хоть одинъ такой, который умѣлъ бы понимать ненависть и отвращеніе къ прошлому Кати, т. е. къ внѣбрачной беременности и къ незаконному ребенку; и въ то же время я никакъ не могу припомнить ни одной такой знакомой мнѣ женщины, или дѣвушки, которая сознательно, или инстинктивно не питала бы въ себѣ этихъ чувствъ. И это не оттого, что женщина добродѣтельна и чище мужчины: вѣдь добродѣтель и чистота мало отличаются отъ порока, если онъ не свободны отъ злого чувства. Я объясняю это просто отсталостью женщинъ. Унылое чувство состраданія и боль совѣсти, какія испытываетъ современный мужчина, когда видитъ несчастіе, гораздо болыше говорятъ мнѣ о культурѣ и нравственномъ ростѣ, чѣмъ ненависть и отвращеніе. Современная женщина такъ же слезлива и груба сердцемъ, какъ и въ средніе вѣка. И по-моему, вполнѣ благоразумно поступаютъ тѣ, которые советуютъ ей воспитываться какъ мужчина.

Жена не любить Кати еще за то, что она была актрисой, за неблагодарность, за гордость, за эксцентричность и за всѣ тѣ многочисленные пороки, какіе одна женщина всегда умѣеть находить въ другой.

Кромѣ меня и моей семьи, у насъ обѣдаютъ еще двѣ-три подруги дочери и Александръ Адольфовичъ Гинккеръ, поклонникъ Лизы и претендентъ на ея руку. Это молодой блондинъ, не старше 30 лѣтъ, средняго роста, очень полный, широкоплечий, съ рыжими бакенами около ушей и съ нафабренными усиками, придающими его полному, гладкому лицу какое-то игрушечное выраженіе. Одѣтъ онъ въ очень короткій пиджакъ, въ цветную жилетку, въ брюки съ большими клѣтками, очень широкія сверху и отсюзія узкія книзу, и въ желтые ботинки безъ каблуковъ. Глаза у него выпуклые, рачьи, галстукъ похожъ на рапью шейку, и даже, мнѣ кажется, весь этотъ молодой человѣкъ издастъ запахъ ракового супа. Бываетъ онъ у насъ ежедневно, но никто въ моей семье не знаетъ, какого онъ происхожденія, гдѣ учился и на какія средства живетъ. Онъ не играетъ и не поетъ, но имѣетъ какое-то отношеніе и къ музыкѣ, и къ пѣнію, продаѣтъ гдѣ-то чын-то рояли, бываетъ часто въ консерваторіи, знакомъ со всѣми знамени-

тостями и распоряжается на концертахъ; судить онъ о музыкѣ съ большимъ авторитетомъ и, я замѣтилъ, съ нимъ охотно все соглашаются.

Богатые люди имѣютъ всегда около себя приживаловъ; науки и искусства тоже. Кажется, нѣть на свѣтѣ такого искусства или науки, которыя были бы свободны отъ присутствія «инородныхъ тѣлъ» въ родѣ этого г. Гнеккера. Я не музыкантъ и, быть-можетъ, ошибаюсь относительно Гнеккера, котораго къ тому же мало знаю. Но слишкомъ ужь кажутся мнѣ подозрительными его авторитетъ и то достоинство, съ какимъ онъ стоитъ около рояля и слушаетъ, когда кто-нибудь поетъ или играетъ.

Будь вы сто разъ джентльменомъ и тайнымъ совѣтникомъ, но если у васъ есть дочь, то вы ничѣмъ не гарантированы отъ того мѣщанства, которое часто вносятъ въ вашъ домъ и въ ваше настроеніе ухаживанія, сватовство и свадьба. Я, напримѣръ, никакъ не могу помириться съ тѣмъ торжественнымъ выраженіемъ, какое бываетъ у моей жены всякий разъ, когда сидитъ у насъ Гнеккеръ, не могу также помириться съ тѣми бутылками лафита, портвейна и хереса, которыя ставятся только ради него, чтобы онъ воочию убѣдился, какъ широко и роскошно мы живемъ. Не перевариваю я и отрывистаго смѣха Лизы, которому она научилась въ консерваторіи, и ея манеры щурить глаза въ то время, когда у насъ бываютъ мужчины. А главное, я никакъ не могу понять, почему это ко мнѣ каждый день ходить и каждый день со мною обѣдаетъ существо, совершенно чуждое моимъ привычкамъ, моей наукѣ, всему складу моей жизни, совершенно непохожее на тѣхъ людей, которыхъ я люблю. Жена и прислуга таинственно шепчутъ, что «это женихъ», но я все-таки не понимаю его присутствія; оно возбуждаетъ во мнѣ такое же недоумѣніе, какъ если бы со мною за столъ посадили зулуса. И мнѣ также кажется страннымъ, что моя дочь, которую я привыкъ считать ребенкомъ, любитъ этотъ галстукъ, эти глаза, эти мягкия щеки...

Прежде я любилъ обѣдь, или былъ къ нему равнодушенъ, теперь же онъ не возбуждаетъ во мнѣ ничего, кроме скуки и раздраженія. Съ тѣхъ поръ, какъ я сталъ превосходительнымъ и побывалъ въ деканахъ факультета, семья моя нашла почему-то нужнымъ совершенно измѣнить наше

меню и обѣденные порядки. Вместо тѣхъ простыхъ блюдъ, къ которымъ я привыкъ, когда былъ студентомъ и лѣкаремъ, теперь меня кормятъ супомъ-пюре, въ которомъ плаваютъ какія-то бѣлые сосульки, и почками въ мадерѣ. Генеральскій чинъ и извѣстность отняли у меня навсегда и щи, и вкусные пироги, и гуся съ яблоками, и леща съ кашей. Они же отняли у меня гориичную Агашу, говорливую и смѣшливую старушку, вместо которой подаетъ теперь обѣдъ Егоръ, тупой и надменный малый, съ бѣлой перчаткой на правой руцѣ. Антракты коротки, но кажутся чрезмѣрио длинными, потому что ихъ нечѣмъ наполнить. Ужъ иѣть прежней веселости, непринужденныхъ разговоровъ, шутокъ, смѣха, иѣть взаимныхъ ласокъ и той радости, которая волновала дѣтей, жену и меня, когда мы сходились, бывало, въ столовой; для меня, занятаго человѣка, обѣдъ былъ временемъ отдыха и свиданія, а для жены и дѣтей праздникомъ, правда, короткимъ, но свѣтлымъ и радостнымъ, когда они знали, что я на полчаса принадлежу не наукѣ, не студентамъ, а только имъ однимъ и больше никому. Иѣть уже большие умѣнья пытаться отъ одной рюмки, иѣть Агашу, иѣть леща съ кашей, иѣть того шума, какимъ всегда встрѣчались маленькие обѣденные скандалы въ родѣ драки подъ столомъ кошки съ собакой, или паденія повязки съ Катиной щеки въ тарелку съ супомъ.

Описывать теперешній обѣдъ такъ же не вкусно, какъ ѓсть его. На лицѣ у жены торжественность, напускная важность и обычное выраженіе заботы. Она беспокойно оглядывается наши тарелки и говорить: «Я вижу, вамъ жаркое не нравится... Скажите: вѣдь не нравится?» И я долженъ отвѣтить: «Напрасно ты беспокоишься, милая, жаркое очень вкусно». А она: «Ты всегда за меня заступаешься, Николай Степанычъ, и никогда не скажешь правды. Отчего же Александръ Адольфовичъ такъ мало кушалъ?» и все въ такомъ родѣ въ продолженіе всего обѣда. Лиза отрывисто хохочетъ и щурить глаза. Я гляжу на обѣихъ и только вотъ теперь за обѣдомъ для меня совершенно ясно, что внутренняя жизнь обѣихъ давно уже ускользнула отъ моего наблюденія. У меня такое чувство, какъ будто когда-то я жилъ дома съ настоящей семьей, а теперь обѣдаю въ гостяхъ у не настоящей жены и вижу

не настоящую Лизу. Произошла въ обѣихъ рѣзкая перемѣна, я прозѣвалъ тотъ долгій процессъ, по которому эта перемѣна совершилась, и не мудрено, что я ничего не понимаю. Огчего произошла перемѣна? Не знаю. Быть-можеть, вся бѣда въ томъ, что женѣ и дочери Богъ не далъ такой же силы, какъ мнѣ. Съ дѣтства я привыкъ противостоять виѣшнимъ вліяніямъ и закалилъ себя достаточно; такія житейскія катастрофы, какъ извѣстность, генеральство, переходъ отъ довольства къ жизни не по средствамъ, знакомства со знатью и проч., едва коснулись меня, и я остался цѣлъ и невредимъ; на слабыхъ же, не закаленныхъ жену и Лизу все это свалилось, какъ большая снѣговая глыба, и сдавило ихъ.

Барышни и Гнеккеръ говорятъ о фугахъ, контра-пунктахъ, о пѣвцахъ и шанистахъ, о Бахѣ и Брамсѣ, а жена, боясь, чтобы ся не заподозрили въ музыкальномъ незѣжествѣ, сочувствію улыбается имъ и бормочетъ: «Это прелестно... Неужели? Скажите...» Гнеккеръ солидно купаетъ, солидно острить и синходительно выслушиваетъ замѣчанія барышень. Изрѣдка у него является желаніе поговорить на плохомъ французскомъ языкѣ и тогда онъ почемутъ находить нужнымъ величать меня *votre excellence*.

А я угрюмъ. Видимо, я всѣхъ ихъ стѣсняю, а они стѣсняютъ меня. Никогда раньше я не былъ коротко знакомъ съ сословіемъ антагонизмомъ, но теперь меня мучаетъ имѣніе что-то въ родѣ этого. Я стараюсь находить въ Гнеккерѣ одинъ только дурины черты, скоро нахожу ихъ и терзаюсь, что на его жениховскомъ мѣстѣ сидѣть человѣкъ не моего круга. Присутствіе его дурно вліяетъ на меня еще и въ другомъ отношеніи. Обыкновенно, когда я остаюсь самъ съ собою, или бываю въ обществѣ людей, которыхъ люблю, я никогда не думаю о своихъ заслугахъ, а если начинаю думать, то онѣ представляются мнѣ такими ничтожными, какъ будто я сталъ ученымъ только вчера; въ присутствіи же такихъ людей, какъ Гнеккеръ, мои заслуги кажутся мнѣ высочайшей горой, вершина которой исчезаетъ въ облакахъ, а у подножія шевелятся едва замѣтные для глаза Гнеккеры.

Послѣ обѣда я иду къ себѣ въ кабинетъ и закуриваю тамъ свою трубочку, единственную за весь день, уцѣлѣвшую отъ давно бывшей скверной привычки дымить отъ

утра до ночи. Когда я курю, ко мнѣ входитъ жена и садится, чтобы поговорить со мной. Такъ же, какъ и утромъ, я заранѣ знаю, о чёмъ у настъ будеть разговоръ.

— Надо бы намъ съ тобой поговорить серьезно, Николай Степанычъ,—начинаетъ она.—Я насчетъ Лизы... Отчего ты не обратишь вниманія?

— То-есть?

— Ты дѣлаешь видъ, что ничего не замѣчаешь, но это не хорошо. Нельзя быть беспечнымъ... Гнеккеръ имѣеть насчетъ Лизы намѣренія... Что ты скажешь?

— Что онъ дуриой человѣкъ, я не могу сказать, такъ какъ не знаю его, но что онъ мнѣ не нравится, обѣ этомъ я говорилъ тебѣ уже тысячу разъ.

— Но такъ нельзя... нельзя...

Она встаетъ и ходить въ волненій.

— Такъ нельзя относиться къ серьезному шагу...—говорить она.—Когда рѣчь идетъ о счастьѣ дочери, надо отбросить все личное. Я знаю, онъ тебѣ не нравится... Хорошо... Если мы откажемъ ему теперь, разстроимъ все, то чѣмъ ты поручинися, что Лиза всю жизнь не будетъ жаловаться на настъ? Жениховъ теперь не Богъ вѣсть сколько, и можетъ случиться, что не представится другой партія... Онъ, очень любить Лизу и, повидимому, нравится ей... Конечно, у него пѣть опредѣленного положенія, но что же дѣлать? Богъ дастъ, со временемъ опредѣлится куда-нибудь. Онъ изъ хорошаго семейства и богатый.

— Откуда тебѣ это извѣстно?

— Онъ говорилъ. У его отца въ Харьковѣ большой домъ и подъ Харьковомъ имѣніе. Однимъ словомъ, Николай Степанычъ, тебѣ непремѣнно нужно сѣѣздить въ Харьковъ.

— Зачѣмъ?

— Ты разузнаешь тамъ... У тебя тамъ есть знакомые профессора, они тебѣ помогутъ. Я бы сама поѣхала, но я женщина. Не могу...

— Не поѣду я въ Харьковъ,—говорю я угрюмо.

Жена пугается, и на лицѣ ея появляется выраженіе мучительной боли.

— Ради Бога, Николай Степанычъ!—умоляетъ она меня, всхлипывая. — Ради Бога, сними съ меня эту тяжесть! Я страдаю!

Мнѣ становится больно глядѣть на нее.

— Хорошо, Варя,—говорю я ласково.—Если хочешь, то изволь, я съѣзжу въ Харьковъ и сдѣлаю все, что тебе угодно.

Она прижимасть къ глазамъ платокъ и уходитъ къ себѣ въ комнату плакать. Я остаюсь одинъ.

Немного погодя, приносять огонь. Отъ кресоль и лампового колпака ложатся на стѣны и поль знакомыя, давно надѣвшія тѣни, и когда я гляжу на нихъ, мнѣ кажется, что уже ночь и что уже начинается моя проклятая бессонница. Я ложусь въ постель, потомъ встаю и хожу по комнатѣ, потомъ опять ложусь... Обыкновенно послѣ обѣда, передъ вечеромъ, мое первое возбужденіе достигаетъ своего высшаго градуса. Я начинаю безъ причины плакать и прячу голову подъ подушку. Въ это время я боюсь, чтобы кто-нибудь не вошелъ, боюсь внезапно умереть, стыжусь своихъ слезъ и въ общемъ получается въ душѣ нѣчто нестерпимое. Я чувствую, что долѣе я не могу видѣть ни своей лампы, ни книгъ, ни тѣней на полу, не могу слышать голосовъ, которые раздаются въ гостиной. Какая-то невидимая и непонятная сила грубо толкаетъ меня вонъ изъ моей квартиры. Я вскакиваю, торопливо одѣваюсь и осторожно, чтобъ не замѣтили домашніе, выхожу на улицу. Гдѣ идти?

Отвѣтъ на этотъ вопросъ у меня давно уже сидитъ въ мозгу: къ Катѣ.

III.

По обыкновенію, она лежить на турецкомъ диванѣ или на кушеткѣ и читаетъ что-нибудь. Увидѣвъ меня, она лѣниво поднимаетъ голову, садится и протягиваетъ мнѣ руку.

— А ты все лежишь,—говорю я, помолчавъ немногого и отдохнувъ.—Это нездорово. Ты бы занялась чѣмъ-нибудь!

— А?

— Ты бы, говорю, занялась чѣмъ-нибудь.

— Чѣмъ? Женщина можетъ быть только простой работницей или актрисой.

— Ну, что жъ? Если нельзя въ работницы, иди въ актрисы.

Молчить.

— Замужъ бы выходила,—говорю я, полуушутя.

— Не за кого. Да и незачѣмъ.

— Такъ жить нельзя.

— Безъ мужа? Велика важность! Мужчинъ сколько угодно, была бы охота.

— Это, Катя, некрасиво.

— Что некрасиво?

— Да вотъ то, что ты сейчасъ сказала.

Замѣтивъ, что я огорченъ, и желая сгладить дурное впечатлѣніе, Катя говорить:

— Пойдемте. Идите сюда. Вотъ.

Она ведеть меня въ маленькую, очень уютную комнатку и говорить, указывая на письменный столъ:

— Вотъ... Я приготовила для васть. Тутъ вы будете заниматься. Пріѣзжайте каждый день и привозите съ собой работу. А тамъ дома вамъ только мѣшаютъ. Будете здѣсь работать? Хотите?

Чтобы не огорчить ее отказомъ, я отвѣчаю ей, что заниматься у нея буду и что комната мнѣ очень нравится. Затѣмъ мы оба садимся въ уютной комнаткѣ и начинаемъ разговаривать.

Тепло, уютная обстановка и присутствіе симпатичнаго человѣка возбуждаютъ во мнѣ теперь не чувство удовольствія, какъ прежде, а сильный позывъ къ жалобамъ и брюзганію. Мнѣ кажется почему-то, что если я порошу и пожалуюсь, то мнѣ станетъ легче.

— Плохо дѣло, моя милая!—начинаю я со вздохомъ.— Очень плохо...

— Что такое?

— Видишь ли, въ чёмъ дѣло, мой другъ. Самое лучшее и самое святое право королей—это право помилованія. И я всегда чувствовалъ себя королемъ, такъ какъ безгранично пользовался этимъ правомъ. Я никогда не судилъ, былъ снисходителенъ, охотно прощалъ всѣхъ направо и налево. Гдѣ другіе протестовали и возмущались, тамъ я только совсѣмъ и убѣждалъ. Всю свою жизнь я старался только о томъ, чтобы мое общество было выносимо для семьи студентовъ, товарищей, для прислузы. И такое мое отношеніе къ людямъ, я знаю, воспринимало всѣхъ, кому приходилось быть около меня. Но теперь ужъ я не король. Во мнѣ происходить нечто такое, что прилично только рабамъ: въ головѣ моей день и ночь бродятъ злые мысли, а въ душѣ свили себѣ гнѣздо чувства, какихъ я не зналъ

раньше. Я и ненавижу, и презираю, и негодую, и возмущаюсь, и боюсь. Я стала не въ м'яру строгъ, требовательнъ, раздражителенъ, нелюбезенъ, подозрителенъ. Даже то, что прежде давало мнѣ поводъ только сказать лишній каламбуръ и добродушно посмеяться, родить во мнѣ теперь тяжелое чувство. Измѣнилась во мнѣ и моя логика: прежде я презиралъ только деньги, теперь же питаю злое чувство не къ деньгамъ, а къ богачамъ, точно они виноваты; прежде ненавидѣть насилие и произволъ, а теперь ненавижу людей, употребляющихъ насилие, точно виноваты они одни, а не всѣ мы, которые не умѣемъ воспитывать другъ друга. Что это значитъ? Если новыя мысли и новыя чувства произошли отъ перемѣны убѣждений, то откуда могла взяться эта перемѣна? Развѣ міръ сталъ хуже, а г лучше, или раньше я былъ слѣпъ и равнодушенъ? Если же эта перемѣна произошла отъ общаго упадка физическихъ и умственныхъ силъ—я вѣдь боленъ и каждый день теряю въ вѣсѣ,—то положеніе мое жалко: значитъ, мои новыя мысли ненормальны, нездоровы, я долженъ стыдиться ихъ и считать ничтожными...

— Болѣзнь тутъ ни при чёмъ,—перебиваетъ меня Катя.— Просто у вѣсъ открылись глаза; вотъ и все. Вы увидѣли то, чего раньше почему-то не хотѣли замѣтить. По-моему, прежде всего вамъ нужно окончательно порвать съ семьей и уйти.

— Ты говоришь нелѣпости.

— Вы ужъ не любите ихъ, что жъ тутъ кривить душой? И развѣ это семья? Ничтожество! Умри онѣ сегодня, и завтра же никто не замѣтить ихъ отсутствія.

Катя презираетъ жену и дочь такъ же сильно, какъ тѣ ее ненавидятъ. Едва ли можно въ наше время говорить о правѣ людей презирать другъ друга. Но если стать на точку зрѣнія Кати и признать такое право существующимъ, то все-таки увидишь, что она имѣеть такое же право презирать жену и Лизу, какъ тѣ ее ненавидѣть.

— Ничтожество!—повторяетъ она.—Вы обѣдали сегодня? Какъ же это онѣ не позабыли позвать васъ въ столовую? Какъ это онѣ до сихъ поръ помнятъ еще о вашемъ существованіи?

— Катя,—говорю я строго:—прошу тебя замолчать.

— А вы думаете, мнѣ весело говорить о нихъ? Я была

бы рада совсѣмъ ихъ не знать. Слушайтесь же меня, мой дорогой: бросьте все и уѣзжайте. Поѣзжайте за границу. Чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше.

— Что за вздоръ! А университетъ?

— И университетъ тоже. Что онъ вамъ? Все равно никакого толку. Читаете вы уже 30 лѣтъ, а гдѣ ваши ученики? Миого ли у васъ знаменитыхъ ученыхъ? Сочтите-ка? А чтобы размножать этихъ докторовъ, которые эксплоатируютъ невѣжество и наживаются сотни тысячъ, для этого не нужно быть талантливымъ и хорошимъ человѣкомъ. Вы лишний.

— Боже мой, какъ ты рѣзка! — ужасаюсь я.—Какъ ты рѣзка! Замолчи, иначе я уйду! Я не умѣю отвѣтить на твои рѣзкости!

Входитъ горничная и зоветъ пасъ пить чай. Около самовара нашъ разговоръ, слава Богу, мѣняется. Послѣ того, какъ я уже пожаловался, мнѣ хочется дать волю другой своей старческой слабости—воспоминаніямъ. Я рассказываю Катѣ о своемъ прошломъ и, къ великому удивленію, сообщаю ей такія подробности, о какихъ я даже не подозрѣвалъ, что онѣ еще цѣлы въ моей памяти. А она слушаетъ меня съ умиленіемъ, съ гордостью, притаивъ дыханіе. Особенно я люблю рассказывать ей о томъ, какъ я когда-то учился въ семинаріи и какъ мечталъ поступить въ университетъ.

— Бывало, гуляю я по нашему семинарскому саду...—рассказываю я.—Донесеть вѣтеръ изъ какого-нибудь далекаго кабака или канье гармоники и пѣсню, или промчится мимо семинарскаго забора тройка съ колоколами, и этого уже совершенно достаточно, чтобы чувство счастья вдругъ наполнило не только грудь, но даже животъ, ноги, руки... Слушаешь гармонику, или затихающіе колокола, а самъ воображаешь себя врачомъ и рисуешь картины—одна другой лучше. И вотъ, какъ видишь, мечты мои сбылись. Я получилъ больше, чѣмъ смѣль мечтать. Тридцать лѣтъ я былъ любимымъ профессоромъ, имѣлъ превосходныхъ товарищѣй, пользовался почетною извѣстностью. Я любилъ, женился по страстной любви, имѣлъ дѣтей. Однимъ словомъ, если оглянуться назадъ, то вся моя жизнь представляется мнѣ красивой, талантливо сдѣланной композиціей. Теперь мнѣ остается только не испортить финала. Для этого нужно умѣ-

реть по-человѣчески. Если смерть въ самомъ дѣлѣ опасность, то нужно встрѣтить ее такъ, какъ подобаетъ это учителю, ученому и гражданину христіанского государства: бодро и со спокойной душой. Но я порчу финаль. Я утопаю, бѣгу къ тебѣ, прошу помощи, а ты мнѣ: утопайте, это такъ и нужно.

Но вотъ въ передней раздается звонокъ. Я и Катя узнаемъ его и говоримъ:

— Это, должно-быть, Михаилъ Федоровичъ.

И въ самомъ дѣлѣ, черезъ минуту входитъ мой товарищъ-филологъ, Михаилъ Федоровичъ, высокій, хорошо сложенный, лѣтъ 50, съ густыми, сѣдыми волосами, съ черными бровями и бритый. Это добрый человѣкъ и прекрасный товарищъ. Происходитъ онъ отъ старинной дворянской фамилии, довольно счастливой и талантливой, играющей замѣтную роль въ исторіи нашей литературы и просвѣщенія. Самъ онъ умень, талантливъ, очень образованъ, но не безъ странностей. До нѣкоторой степени всѣ мы странны и всѣ мы чудаки, но его странности представляютъ нѣчто исключительное и небезопасное для его знакомыхъ. Между по-слѣдними я знаю не мало такихъ, которые за его странностями совершенно не видятъ его многочисленныхъ достоинствъ.

Войдя къ намъ, онъ медленно снимаетъ перчатки и говоритъ бархатнымъ басомъ:

— Здравствуйте. Чай пьете? Это очень кстати. Адски холодно.

Затѣмъ онъ садится за столъ, беретъ себѣ стаканъ и тотчасъ же начинаетъ говорить. Самое характерное въ его манерѣ говорить, это постоянно шутливый тонъ, какая-то помѣсь философіи съ балагурствомъ, какъ у шекспировскихъ гробокопателей. Онъ всегда говоритъ о серьезному, но никогда не говоритъ серьезно. Сужденія его всегда рѣзки, бранчивы, но благодаря мягкому, ровному, шутливому тону, какъ-то такъ выходитъ, что рѣзкость и брань не рѣжутъ уха и къ нимъ скоро привыкаешь. Каждый вечеръ онъ приносить съ собою штуку пять-шесть анекдотовъ изъ университетской жизни и съ нихъ обыкновенно начинаетъ, когда садится за столъ.

— Охъ, Господи! — вздыхаетъ онъ, насыпливо шевеля своими черными бровями. — Бываютъ же на свѣтѣ такие комики!

— А что? — спрашивает Катя.

— Иду я сегодня съ лекціи и встрѣчаю на лѣстницѣ этого старого идіота, нашего NN... Идетъ и, по обыкновенію, выставилъ впередъ свой лошадиный подбородокъ и ищетъ, кому бы пожаловаться на свой мигрень, на жену и на студентовъ, которые не хотятъ послѣдать его лекцій. Ну, думаю, увидѣть меня — теперь погибъ, прошло дѣло...

И такъ далѣе въ такомъ родѣ. Или же онъ начинаетъ такъ:

— Былъ вчера на публичной лекціи нашего ZZ. Удивляюсь, какъ это наша *alma mater*, не къ ночи будь помянута, рѣшаются показывать публикѣ такихъ балбесовъ и патентованныхъ тупицъ, какъ этотъ ZZ. Вѣдь это европейскій дуракъ! Помилуйте, другого такого по всей Европѣ днемъ съ огнемъ не сыщешь! Читаетъ, можете себѣ представить, точно леденецъ сосеть! сю-сю-сю... Струсишь, плохо разбираешь свою рукопись, мыслишки движутся еле-еле, со скоростью архимандрита, бѣдущаго на велосипедѣ, а главное, никакъ не разберешь, что онъ想要 сказать. Скучища страшная, мухи мрутъ. Эту скучицу можно сравнить только развѣ съ тою, какая бываетъ у насть въ актовомъ залѣ на годичномъ актѣ, когда читается традиціонная рѣчь, чтобы ее чортъ взялъ.

И тотчасъ же рѣзкій переходъ:

— Года три тому назадъ, вотъ Николай Степановичъ помнить, пришлось мнѣ читать эту рѣчь. Жарко, душно, мундиръ давить подъ мышками — просто смерть! Читаю полчаса, часъ, полтора часа, два часа... «Ну, думаю, слава Богу, осталось еще только десять страницъ». А въ концѣ у меня были такія четыре страницы, что можно было совсѣмъ не читать, и я разсчитывалъ ихъ выпустить. Значитъ, осталось, думаю, только шесть. Но, представьте, взглянула мелькомъ впередъ и вижу: въ первомъ ряду сидятъ рядышкомъ какой-то генераль съ лентой и архіерей. Бѣднаго окоченѣли отъ скучи, таращать глаза, чтобы не уснуть, и все-таки тѣмъ не менѣе стараются изображать на своихъ лицахъ вниманіе и дѣлаютъ видъ, что мое чтеніе имъ понятно и нравится. Ну, думаю, коли нравится, такъ нате же вамъ! На зло! Взялъ и прочелъ всѣ четыре страницы.

Когда онъ говоритъ, то улыбаются у него, какъ вообще

у насмѣшилыхъ людей, одни только глаза и брови. Въ глазахъ у него въ это время иѣтъ ни ненависти, ни злости, но много остроты и той особой лисьей хитрости, какую можно бывать подмѣтить только у очень наблюдательныхъ людей. Если продолжать говорить объ его глазахъ, то я замѣтилъ еще одну ихъ особенность. Когда онъ принимаетъ отъ Кати стаканъ, или выслушиваетъ ея замѣчаніе, или провожаетъ ее взглѣдомъ, когда она зачѣмъ-нибудь ненадолго выходитъ изъ комнаты, то въ его взглѣдѣ я замѣчу что-то кроткое, молящееся, чистое...

Горничная убираетъ самоваръ и ставить на столъ большою кусокъ сыру, фрукты и бутылку крымскаго шампанскаго, довольно плохого вина, которое Катя полюбила, когда жила въ Крыму. Михаилъ Федоровичъ береть съ этажерки двѣ колоды картъ и раскладываетъ пасьянсъ. По его увѣренію, некоторые пасьянсы требуютъ большой сообразительности и вниманія, но тѣмъ не менѣе все-таки, раскладывая ихъ, онъ не перестасть развлекать себя разговоромъ. Катя внимательно слѣдить за его картами и больше мимикой, чѣмъ словами помогаетъ ему. Вина за весь вечеръ она выливаетъ не большие двухъ рюмокъ, я выливаю четверть стакана; остальная часть бутылки приходится на долю Михаила Федоровича, который можетъ пить много и никогда не пьянѣтъ.

За пасьянсомъ мы рѣшаємъ разные вопросы, преимущественно высшаго порядка, причемъ больше всего достается тому, что мы больше всего любимъ, т. е. наукѣ.

— Наука, слава Богу, отжила свой вѣкъ, — говорить Михаилъ Федоровичъ съ разстановкой.— Ея пѣсня уже спѣта. Да-съ. Человѣчество начинаетъ уже чувствовать потребность замѣнить ее чѣмъ-нибудь другимъ. Выросла она на почвѣ предразсудковъ, вскормлена предразсудками и составляеть теперь такую же квинт-эссенцію изъ предразсудковъ, какъ ся отжившия бабушки: алхимія, метафизика и философія. И въ самомъ дѣлѣ, что она дала людямъ? Вѣдь между учеными европейцами и китайцами, не имѣющими у себя никакихъ наукъ, разница самая ничтожная, чисто вѣщняя. Китайцы не знали науки, но что они отъ этого потеряли?

— И мухи не знаютъ науки,—говорю я:—но что же изъ этого?

— Вы напрасно сердитесь, Николай Степанычъ. Я вѣдь это говорю здѣсь, между нами... Я осторожиѣ, чѣмъ вы думаете, и не стану говорить это публично, спаси Богъ! Въ массѣ живетъ предразсудокъ, что науки и искусства выше земледѣлія, торговли, выше ремесль. Наша секта кормится этимъ предразсудкомъ, и не мнѣ съ вами разрушать его. Спаси Богъ!

За пасынкомъ достается на орѣхи и молодежи.

— Измельчала нынче наша публика, — вздыхаетъ Михаилъ Федоровичъ. — Не говорю уже объ идеалахъ и прочее, но хоть бы работать и мыслить умѣли толкомъ! Вотъ ужъ именно: «Печально я гляжу на наше поколѣнье».

— Да, ужасно измельчали, — соглашается Катя. — Скажите, въ послѣднія пять-десять лѣтъ было ли у васъ хоть одинъ выдающійся?

— Не знаю, какъ у другихъ профессоровъ, но у себя что-то не помню.

— Я видѣла на своемъ вѣку много студентовъ и ваншихъ молодыхъ ученыхъ, много актеровъ... Что жъ? Ни разу не сподобилась встрѣтиться не только съ героями, или съ талантами, но даже просто съ интересными человѣками. Все сѣро, бездарно, надуто претензіями...

Всѣ эти разговоры объ измельчаніи производятъ на меня всякий разъ такое впечатлѣніе, какъ будто я нечаянно подслушалъ нехорошій разговоръ о своей дочери. Миѳ обидно, что обвиненія огульны и строятся на такихъ давно избитыхъ общихъ мѣстахъ, такихъ жупелахъ, какъ измельчаніе, отсутствіе идеаловъ, или ссылка на прекрасное прошлое. Всякое обвиненіе, даже если оно высказывается въ дамскомъ обществѣ, должно быть формулировано съ возможнотю опредѣленностью, иначе оно не обвиненіе, а пустое злословіе, недостойное порядочныхъ людей.

Я старикъ, служу уже 30 лѣтъ, но не замѣчаю ни измельчанія, ни отсутствія идеаловъ и не нахожу, чтобы теперь было хуже, чѣмъ прежде. Мой швейцарь, Николай, опытъ которого въ данномъ случаѣ имѣеть свою цѣну, говоритъ, что нынѣшніе студенты не лучшіе и не хуже прежнихъ.

Если бы меня спросили, что мнѣ не нравится въ теперешнихъ моихъ ученикахъ, то я отвѣтилъ бы на это не сразу и не много, чо съ достаточной опредѣленностью. Недостатки ихъ я знаю, и мнѣ поэтому иѣть надобности при-

бѣгать къ туману общихъ мѣсть. Миѣ не нравится, что они курятъ табакъ, употребляютъ спиртные напитки и поздно женятся; что они беспечны и часто равнодушны до такой степени, что терпятъ въ своей средѣ голодающихъ и не платятъ долговъ въ общество вспомоществованія студентамъ. Они не знаютъ новыхъ языковъ и неправильно выражаются по-русски; не дальше, какъ вчера, мой товарищъ-гигиенистъ жаловался миѣ, что ему приходится читать вдвое больше, такъ какъ они плохо знаютъ физику и совершенно незнакомы съ метеорологіей. Они охотно поддаются влиянию писателей новѣйшаго времени, даже не лучшихъ, но совершенно равнодушны къ такимъ классикамъ, какъ, напримѣръ, Шекспиръ, Маркъ Аврелий, Еникетть, или Паскаль, и въ этомъ неумѣньѣ отличать большое отъ малаго наиболѣе всего оказывается ихъ житейская непрактичность. Всѣ затруднительные вопросы, имѣющіе болѣе или менѣе общественный характеръ (например, переселенческій), они решаютъ подписанными листами, но не путемъ научнаго изслѣдованія и опыта, хотя послѣдній путь находится въ полномъ ихъ распоряженіи и наиболѣе соответствуетъ ихъ назначенію. Они охотно становятся ординаторами, ассистентами, лаборантами, экстернами и готовы занимать эти мѣста до сорока лѣтъ, хотя самостоятельность, чувство свободы и личная иниціатива въ наукѣ не меныши нужны, чѣмъ, напримѣръ, въ искусствѣ или торговлѣ. У меня есть ученики и слушатели, но нѣть помощниковъ и наслѣдниковъ, и потому я люблю ихъ и умиляюсь, но не горжусь ими. И т. д., и т. д....

Подобные недостатки, какъ бы много ихъ ни было, могутъ породить пессимистическое или бранчивое настроение только въ человѣкѣ малодушномъ и робкомъ. Всѣ они имѣютъ случайный, преходящій характеръ и находятся въ полной зависимости отъ жизненныхъ условій; достаточно какихъ-нибудь десяти лѣтъ, чтобы они исчезли, или уступили свое мѣсто другимъ, новымъ недостаткамъ, безъ которыхъ не обойтись и которые въ свою очередь будутъ пугать малодушныхъ. Студенческие грѣхи досаждаютъ миѣ часто, но эта досада ничто въ сравненіи съ тою радостью, какую я испытываю уже 30 лѣтъ, когда бесѣдуя съ учениками, читаю имъ, приглядываюсь къ ихъ отношеніямъ и сравниваю ихъ съ людьми не ихъ круга.

Михаилъ Федоровичъ злословить, Катя слушаетъ и оба не замѣчаютъ, въ какую глубокую прошастіе мало-по-малу втягиваетъ ихъ такое, повидимому, невинное развлеченіе, какъ осужденіе близкихъ. Они не чувствуютъ, какъ простой разговоръ постепенно переходитъ въ глумленіе и въ издѣвательство и какъ оба они начинаютъ пускать въ ходъ даже клеветническіе пріемы.

— Уморительные попадаются субъекты,—говорить Михаилъ Федоровичъ. — Вчера прихожу я къ нашему Егору Петровичу и застаю тамъ студіоза, изъ вашихъ же медиковъ, III курса, кажется. Лицо этакое... въ добродуловскомъ стилѣ, на лбу печать глубокомыслія. Разговорились. «Такія-то дѣла, говорю, молодой человѣкъ. Читаль я, говорю, что какой-то нѣмецъ—забылъ его фамилію—добылъ изъ человѣческаго мозга новый алкалоидъ идиотинъ». Что жъ вы думаете? Повѣрилъ и даже на лицѣ свое мѣнѣе изобразилъ: знай, моль, нашихъ! А то намедни прихожу я въ театръ. Сажусь. Какъ разъ впереди меня, въ слѣдующемъ ряду, сидятъ какихъ-то два: одинъ «изъ нашихъ» и, повидимому, юристъ, другой лохматый — медикъ. Медикъ пьяный, какъ сапожникъ. На сцену — ноль вниманія. Знай себѣ дремлетъ да носомъ клюетъ. Но какъ только какой-нибудь актеръ начнетъ громко читать моиологъ или просто возвысить голосъ, мой медикъ вздрогиваетъ, толкаетъ своего сосѣда въ бокъ и спрашиваетъ: «Что онъ говоритъ? Бла-ародно?»—Благородно,—отвѣчаетъ «изъ нашихъ».—«Браво! ореть медикъ. Бла-ародно. Браво!» Онъ, видите ли, дубина пьяная, пришелъ въ театръ не за искусствомъ, а за благородствомъ. Ему благородство нужно.

А Катя слушаетъ и смеется. Хохотъ у нея какой-то странный: вдыханія быстро и ритмически правильно чередуются съ выдыханіями — похоже на то, какъ будто она играетъ на гармоникѣ—и на лицѣ при этомъ смеются однѣ только ноздри. Я же падаю духомъ и не знаю, что говорить. Выйдя изъ себя, я вспыхиваю, вскаиваю съ мѣста и кричу:

— Замолчите, наконецъ! Что вы сидите тутъ, какъ двѣ жабы, и отправляете воздухъ своими дыханіями? Довольно!

И, не дождавшись, когда они кончатъ злословить, я собираюсь уходить домой. Да ужъ и пора: одиннадцатый часъ.

— А я еще посижу немножко,—говорить Михаилъ Федоровичъ.—Позволяете, Екатерина Владиміровна?

— Позволяю,—отвѣтываеть Катя

— Вене. Въ такомъ случаѣ прикажите подать еще бутылочку.

Оба провожаютъ меня со свѣчами въ переднюю, и пока я надѣваю шубу, Михаилъ Федоровичъ говорить:

— Въ послѣднее время вы ужасно похудѣли и состарились, Николай Степановичъ. Что съ вами? Больны?

— Да, боленъ немножко.

— И не лѣчится...—угрюмо вставляетъ Катя

— Отчего же не лѣчитесь? Какъ можно такъ? Береженаго, милый человѣкъ, Богъ бережетъ. Кланяйтесь вашимъ и извинитесь, что не бываю. На-дняхъ, передъ отѣзdomъ за границу, приду проститься. Непремѣнно! На будущей недѣлѣ уѣзжаю.

Выхожу я отъ Кати раздраженный, напуганный разговорами о моей болѣзни и недовольный собою. Я себя спрашиваю: въ самомъ дѣлѣ, не полѣчиться ли у кого-нибудь изъ товарищ? И тотчасъ же я воображаю, какъ товарищъ, выслушавъ меня, отойдетъ молча къ окну, подумаетъ, потомъ обернется ко мнѣ и, стараясь, чтобы я не прочелъ на его лицѣ правды, скажетъ равнодушнымъ тономъ:—«Пока не вижу ничего особенного, но все-таки, коллега, я советовалъ бы вамъ прекратить занятія»... И это лишить меня послѣдней надежды.

У кого нѣтъ надеждъ? Теперь, когда я самъ ставлю себѣ діагнозъ и самъ лѣчу себя, временами я надѣюсь, что меня обманываютъ мое невѣжество, что я ошибаюсь и насчетъ бѣлка и сахара, которые нахожу у себя, и насчетъ сердца, и насчетъ тѣхъ отековъ, которые уже два раза видѣлъ у себя по утрамъ; когда я съ усердіемъ ипохондрика перечитываю учебники терапіи и ежедневно мѣняю лѣкарства, мнѣ все кажется, что я набреду на что-нибудь утѣшительное. Мелко все это.

Покрыто ли небо тучами, или сияютъ на немъ луна и звѣзды, я всякий разъ, возвращаясь, гляжу на него и думаю о томъ, что скоро меня возьметъ смерть. Казалось бы, въ это время мысли мои должны быть глубоки, какъ небо, ярки, поразительны... Но нѣтъ! Я думаю о себѣ самомъ, о женѣ, Лизѣ, Гуккерѣ, о студентахъ, вообще о людяхъ;

думаю нехорошо, мелко, хитрю передъ самимъ собою, и въ это время мое міросозерцаніе можетъ быть выражено словами, которая знаменитый Аракчеевъ сказалъ въ одномъ изъ своихъ интимныхъ писемъ: «Все хорошее въ свѣтѣ не можетъ быть безъ дурного, и всегда болѣе худого, чѣмъ хорошаго». То-есть все гадко, не для чего жить, а тѣ 62 года, которые уже прожиты, слѣдуетъ считать прощающими. Я ловлю себя на этихъ мысляхъ и стараюсь уѣдѣть себя, что онѣ случайны, временны и сидять во мнѣ не глубоко, но тотчасъ же я думаю:

«Если такъ, то зачѣмъ же каждый вечеръ тебя тянетъ къ тѣмъ двумъ жабамъ?»

И я даю себѣ клятву больше никогда не ходить къ Кагѣ, хотя и знаю, что завтра же опять пойду къ ней.

Дергая у своей двери за звонокъ и потомъ идя вверхъ по лѣстницѣ, я чувствую, что у меня уже нѣть семьи и нѣть желанія вернуть ее. Ясно, что новыя, аракчеевскія мысли сидятъ во мнѣ не случайно и не временно, а владѣютъ всѣмъ моимъ существомъ. Съ больною совѣстью, унылый, лѣнивый, едва двигая членами, точно во мнѣ прибавилась тысяча пудовъ вѣсу, я ложусь въ постель и скоро засыпаю

А потомъ—безсонница...

IV.

Наступаетъ лѣто, и жизнь менѣется.

Въ одно прекрасное утро входитъ ко мнѣ Лиза и говорить шутливымъ тономъ:

— Пойдемте, ваше превосходительство. Готово.

Мое превосходительство ведутъ на улицу, сажаютъ на извозчика и везутъ. Я ~~ѣду~~ и отъ нечего дѣлать читаю вывески справа налево. Изъ слова «трактиръ» выходитъ «риткарть». Это годилось бы для баронской фамилии: баронесса Риткарть. Даѣе ~~ѣду~~ по полю мимо кладбища, которое не производить на меня ровно никакого впечатлѣнія, хотя я скоро буду лежать на немъ; потомъ ~~ѣду~~ лѣсомъ и опять полемъ. Ничего интереснаго. Послѣ двухчасовой ~~ѣзды~~, мое превосходительство ведутъ въ нижній этажъ дачи и помѣщаютъ его въ небольшой, очень веселенькой комнатѣ съ голубыми обоями.

Ночью попрежнему безсонница, но утромъ я уже не

бодрствую и не слушаю жены, а лежу въ постели. Я не сплю, а переживаю сонливое состояніе, полузабытье, когда знаешь, что не спишь, но видишь сны. Въ полдень я встаю и сажусь по привычкѣ за свой столъ, но ужъ не работаю, а развлекаю себя французскими книжками въ желтыхъ обложкахъ, которыя присыпаетъ мнѣ Катя. Конечно, было бы патріотичнѣе читать русскихъ авторовъ, но, признаться, я не питаю къ нимъ особенного расположенія. Исключая двухъ-трехъ стариковъ, вся нынѣшняя литература представляется мнѣ не литературой, а въ своемъ родѣ кустарнымъ промысломъ, существующимъ только для того, чтобы его поощряли, но неохотно пользовались его издѣліями. Самое лучшее изъ кустарныхъ издѣлій нельзя назвать замѣчательнымъ и нельзя искренно похвалить его безъ «но»; то же самое слѣдуетъ сказать и о всѣхъ тѣхъ литературныхъ новинкахъ, которыя я прочелъ въ послѣднія 10—15 лѣтъ: ни одной замѣчательной, и не обойдешься безъ «но». Умно, благородно, но не талантливо; талантливо, благородно, но не умно, или наконецъ — талантливо, умно, но не благородно.

Я не скажу, чтобы французскія книжки были и талантливы, и умны, и благородны. И онѣ не удовлетворяютъ меня. Но онѣ не такъ скучны, какъ русскія, и въ нихъ не рѣдкость найти главный элементъ творчества — чувство личной свободы, чего нѣть у русскихъ авторовъ. Я не помню ни одной такой новинки, въ которой авторъ съ первой же страницы не постарался бы опутать себя всякими условностями и контрактами со своею совѣстью. Одинъ боится говорить о голомъ тѣлѣ, другой связалъ себя по рукамъ и по ногамъ психологическимъ анализомъ, третему нужно «теплое отношение къ человѣку», четвертый нарочно дѣлаетъ страницы размазываетъ описаніями природы, чтобы не быть заподозрѣннымъ въ тенденціозности... Одинъ хочетъ быть въ своихъ произведеніяхъ непремѣнно мѣщаниномъ, другой непремѣнно дворяниномъ и т. д. Умышленность, осторожность, себѣ на умѣ, но нѣть ни свободы, ни мужества писать, какъ хочется, а стало-быть, нѣть и творчества.

Все это относится къ такъ-называемой изящной словесности.

Что же касается русскихъ серьезныхъ статей, напри-

мѣръ, по соціологіи, по искусству и проч., то я не читаю ихъ просто изъ робости. Въ дѣтствѣ и въ юности я почему-то питалъ страхъ къ швейцарамъ и къ театральнымъ капельдинерамъ, и этотъ страхъ остался у меня до сихъ поръ. Я и теперь боюсь ихъ. Говорятъ, что кажется страшнымъ только то, что непонятно. И въ самомъ дѣлѣ, очень трудно попять, отчего швейцары и капельдинеры такъ важны, надменны и величаво невѣжливы. Читая серьезныя статьи, я чувствую точно такой же неопределенный страхъ. Необычайная важность, игривый генеральскій тонъ, фамильярное обращеніе съ иностранными авторами, умѣніе съ достоинствомъ переливать изъ пустого въ порожнее— все это для меня непонятно, страшно и все это не похоже на скромность и джентльменски-покойный тонъ, къ которымъ я привыкъ, читая нашихъ писателей-врачей и естественниковъ. Не только статьи, но мнѣ тяжело читать даже переводы, которые дѣлаютъ или редактируютъ русскіе серьезные люди. Чванный, благосклонный тонъ предисловій, изобиліе примѣчаній отъ переводчика, мѣшающихъ мнѣ сосредоточиться, знаки вопроса и sic въ скобкахъ, разбросанные щедрымъ переводчикомъ во всей статьѣ или книгѣ, представляются мнѣ покушеніемъ и на личность автора, и на мою читательскую самостоятельность.

Какъ-то разъ я былъ приглашенъ экспертомъ въ окружный судъ; въ антрактѣ одинъ изъ моихъ товарищей-экспертовъ обратилъ мое вниманіе на грубое отношеніе прокурора къ подсудимымъ, среди которыхъ были двѣ интеллигентныя женщины. Мнѣ кажется, я нисколько не преувеличилъ, отвѣтивъ товарищу, что это отношеніе не грубѣе тѣхъ, какія существуютъ у авторовъ серьезныхъ статей другъ къ другу. Въ самомъ дѣлѣ, эти отношенія такъ грубы, что о нихъ можно говорить только съ тяжелымъ чувствомъ. Другъ къ другу и къ тѣмъ писателямъ, которыхъ они критикуютъ, относятся они или излишне почтительно, не щадя своего достоинства, или же наоборотъ, третируютъ ихъ гораздо смѣлѣе, чѣмъ я въ этихъ запискахъ и мысляхъ своего будущаго зятя Гнеккера. Обвиненія въ невмѣняемости, въ нечистотѣ намѣреній и даже во всякаго рода уголовщинѣ составляютъ обычное украшеніе серьезныхъ статей. А это ужъ, какъ любятъ выражаться въ своихъ статейкахъ молодые врачи, *ultima ratio!* Такія отношенія неминуемо должны

отражаться на нравахъ молодого поколѣнія пишущихъ, и поэтому я никакъ не удивляюсь, что въ тѣхъ новникахъ, какія пріобрѣла въ послѣднія 10—15 лѣтъ наша изящная словесность, герои пьютъ много водки, а героини недостаточно дѣломудрены.

Я читаю французскія книжки и поглядываю на окно, которое открыто; мнѣ видны зубцы моего палисадника, два три тощихъ деревца, а тамъ дальше за палисадникомъ дорога, поле, потомъ широкая полоса хвойнаго лѣса. Часто я любуюсь, какъ какіе-то мальчикъ и дѣвочки, оба бѣлоловосые и оборванные, карабкаются на палисадникъ и смеются надъ моей лысиной. Въ ихъ блестящихъ глазенкахъ я читаю: «Гряди, плѣшивый!» Это едва ли не единственные люди, которымъ нѣтъ никакого дѣла ни до моей известности, ни до чина.

Посѣтители теперь бываютъ у меня не каждый день. Упомяну только о посѣщеніяхъ Николая и Петра Игнатьевича. Николай приходитъ обыкновенно ко мнѣ по праздникамъ, какъ будто за дѣломъ, но больше затѣмъ, чтобы повидаться. Приходитъ онъ сильно навеселъ, чего съ нимъ никогда не бываетъ зимою.

— Что скажешь? — спрашиваю я, выходя къ нему въ сѣни.

— Ваше превосходительство! — говоритъ онъ, прижимая руку къ сердцу и глядя на меня съ восторгомъ влюбленнаго. — Ваше превосходительство! Накажи меня Богъ! Убей громъ на этомъ мѣстѣ! Гаудеамусъ игитуръ ювенестусъ!

И онъ жадно дѣлаетъ меня въ плечи, въ рукава, въ пуговицы.

— Все у насъ тамъ благополучно? — спрашиваю я его.

— Ваше превосходительство! Какъ передъ Истиннымъ...

Онъ не перестасть божиться безъ всякой надобности, скоро наскучетъ мнѣ и я отсылаю его въ кухню, где ему подаютъ обѣдъ. Петръ Игнатьевичъ пріѣзжаетъ ко мнѣ тоже по праздникамъ специально за тѣмъ, чтобы провѣдать и подѣлиться со мною мыслями. Сидитъ онъ у меня обыкновенно около стола, скромный, чистенький, разсудительный, не рѣшаясь положить ногу на ногу или облокотиться о столъ; и все время онъ тихимъ, ровнымъ голоскомъ, гладко и книжно разсказываетъ мнѣ разныя, по его мнѣнію, очень

интересныя и пикантныя новости, вычитанныя имъ изъ журналовъ и книжекъ. Всѣ эти новости похожи одна на другую и сводятся къ такому типу: одинъ французъ сдѣлалъ открытие, другой—немецъ—уличилъ его, доказавъ, что это открытие было сдѣлано еще въ 1870 году какимъ-то американцемъ, а третій—тоже немецъ—перехитрилъ обоихъ, доказавъ имъ, что оба они опростоволосились, принявъ подъ микроскопомъ шарики воздуха за темный пигментъ. Петръ Игнатьевичъ, даже когда хочетъ разсмѣшить меня, разсказываетъ длинно, обстоятельно, точно защищаетъ диссертацио, съ подробнымъ перечисленіемъ литературныхъ источниковъ, которыми онъ пользовался, стараясь не ошибиться ни въ числахъ, ни въ номерахъ журналовъ, ни въ именахъ, причемъ говорить не просто Пти, а непремѣнно Жанъ Жакъ Пти. Случается, что онъ остается у насъ обѣдать, и тогда въ продолженіе всего обѣда онъ разсказываетъ все тѣ же пикантныя исторіи, наводящія уныніе на всѣхъ обѣдающихъ. Если Гюккстеръ и Лиза заводятъ при немъ рѣчь о фугахъ и контра-пунктахъ, о Брамсѣ и Бахѣ, то онъ скромно потупляетъ взоры и конфузится; ему стыдно, что въ присутствіи такихъ серьезныхъ людей, какъ я и онъ, говорять о такихъ пошлостяхъ.

При теперешнемъ моемъ настроеніи достаточно пяти минутъ, чтобы онъ надоѣлъ мнѣ такъ, какъ будто я вижу и слушаю его уже цѣлую вѣчность. Я иенавижу бѣднягу. Отъ его тихаго, ровнаго голоса и книжнаго языка я чахну, отъ разсказовъ туплю... Онъ питается ко мнѣ самыя хорошия чувства и говорить со мною только для того, чтобы доставить мнѣ удовольствіе, а я илачу ему тѣмъ, что въ упоръ гляжу на него, точно хочу его загипнотизировать, и думаю: «йди, уйди, уйди»... Но онъ не поддается мысленному внушенію и сидитъ, сидитъ, сидитъ...

Пока онъ сидитъ у меня, я никакъ не могу отѣлаться отъ мысли: «очень возможно, что, когда я умру, его назначать на мое мѣсто», и моя бѣдная аудиторія представляется мнѣ оазисомъ, въ которомъ высокъ ручей, и я съ Петромъ Игнатьевичемъ нелюбезенъ, молчаливъ, угрюмъ, какъ будто въ подобныхъ мысляхъ виновать онъ, а не я самъ. Когда онъ начинаетъ по обычай превозносить немецкихъ ученихъ я ужъ не подшучиваю добродушно, какъ прежде, а угрюмо бормочу:

— Ослы ваши нѣмцы...

Это похоже на то, какъ покойный профессоръ Никита Крыловъ, купаясь однажды съ Пироговымъ въ Ревель и разсердившись на воду, которая была очень холодна, выбанился: «Подлецы нѣмцы!» Веду я себя съ Петромъ Игнатьевичемъ дурно, и только когда онъ уходить и я вижу, какъ въ окнѣ за палисадникомъ мелькаетъ его сѣрая птица, мнѣ хочется окликнуть его и сказать: «Простите меня, голубчикъ!»

Обѣдъ у насъ проходитъ скучище, чѣмъ зимою. Тотъ же Гнеккеръ, котораго я теперь ненавижу и презираю, обѣдаетъ у меня почти каждый день. Прежде я терпѣль его присутствіе молча, теперь же я отпускаю по его адресу колкости, заставляющія краснѣть жену и Лизу. Увлекшись злымъ чувствомъ, я часто говорю просто глупости и не знаю, зачѣмъ говорю ихъ. Такъ случилось однажды, я долго глядѣль съ презрѣніемъ на Гнеккера и ни съ того, ни съ сего выпалилъ:

Орламъ слушается и ниже куръ спускаться,
Но курамъ никогда до облакъ не подняться...

И досадище всего, что курица Гнеккеръ оказывается гораздо умнѣе орла-профессора. Зная, что жена и дочь на его сторонѣ, онъ держится такой тактики: отвѣчаетъ на мои колкости снисходительнымъ молчаніемъ (спятить, молъ, старики—что съ тимъ разговаривать?), или же добродушино подшучиваетъ надо мной. Нужно удивляться, до какой степени можетъ измельчать человѣкъ! Я въ состояніи въ продолженіе всего обѣда мечтать о томъ, какъ Гнеккеръ окажется авантюристомъ, какъ Лиза и жена поймутъ свою ошибку и какъ я буду дразнить ихъ — и подобныя нелѣпныя мечты въ то время, когда одною ногой я стою уже въ могилѣ!

Бываютъ теперь и недоразумѣнія, о которыхъ я прежде имѣлъ понятіе только по наслышкѣ. Какъ мнѣ ни совѣстно, но опишу одно изъ нихъ, случившееся на-дняхъ послѣ обѣда.

Я сижу у себя въ комнатѣ и курю трубочку. Входитъ, по обыкновенію, жена, садится и начинаетъ говорить о томъ, что хорошо бы теперь, пока тепло и есть свободное время, сѣѣздить въ Харьковъ и разузнать тамъ, что за человѣкъ нашъ Гнеккеръ.

— Хорошо, съѣзжу... — соглашаюсь я.

Жена, довольная мною, встает и идет к двери, но тотчас же возвращается и говорить:

— Кстати еще одна просьба. Я знаю, ты разсердишься, но моя обязанность предупредить тебя... Извини, Николай Степанычъ, но все наши знакомые и сестры стали ужь поговаривать о томъ, что ты очень часто бываешь у Кати. Она умная, образованная, я не спорю, съ ней пріятно провести время, но въ твои годы и съ твоимъ общественнымъ положенiemъ какъ-то, знаешь, странно находить удовольствие въ ея обществѣ... Къ тому же, у нея такая репутація, что...

Вся кровь вдругъ отливает отъ моего мозга, изъ глазъ свиляются искры, я вскакиваю и, схвативъ себя за голову, тоюча ногами, кричу не своимъ голосомъ:

— Оставьте меня! Оставьте меня! Оставьте!

Вѣроятно лицо мое ужасно, голосъ страненъ, потому что жена вдругъ блѣdnѣеть и громко вскрикиваетъ какимъ-то тоже не своимъ, отчаяннымъ голосомъ. На нашъ крикъ вѣѣгаютъ Лиза, Гнеккертъ, потомъ Егоръ...

— Оставьте меня! — кричу я. — Вонты! Оставьте!

Ноги мои нѣмѣютъ, точно ихъ нѣтъ совсѣмъ, я чувствую, какъ падаю на чьи-то руки, потомъ недолго слышу плачь и погружаюсь въ обморокъ, который длится часа два-три.

Теперь о Катѣ. Она бываетъ у меня каждый день передъ вечеромъ и этого, конечно, не могутъ не замѣтить ни сестры, ни знакомые. Она приѣзжаетъ на минутку и увозить меня съ собой кататься. У нея своя лошадь и новенькой шарabanъ, купленный этимъ лѣтомъ. Вообще жить она на широкую ногу: наняла дорогую дачу-особнякъ съ большимъ садомъ и перевезла въ нее всю свою городскую обстановку, имѣть двухъ горничныхъ, кучера... Часто я спрашиваю ее:

— Катя, чѣмъ ты будешь жить, когда промотаешь отцовскія деньги?

— Тамъ увидимъ, — отвѣчаетъ она.

— Эти деньги, мой другъ, заслуживаютъ болѣе серьезного отношенія къ нимъ. Онѣ нажиты хорошимъ человѣкомъ, честнымъ трудомъ.

— Обѣ этомъ вы уже говорили мнѣ. Знаю.

(Сначала мы ѿдѣмъ по полю, потомъ по хвойному лѣсу,

который виденъ изъ моего окна. Природа нопрежнему кажется мнѣ прекрасною, хотя бѣсь и шепчетъ мнѣ, что всѣ эти сосны и ели, птицы и бѣлые облака на небѣ черезъ три или четыре мѣсяца, когда я умру, не замѣтять моего отсутствія. Катѣ нравится править лошадью и пріятно, что никогда хороша и что я сижу рядомъ съ нею. Она въ духѣ и не говорить рѣзкостей.

— Вы очень хороший человѣкъ, Николай Степанычъ,— говоритъ она. — Вы рѣдкий экземпляръ и нѣтъ такого актера, который сумѣлъ бы сыграть васъ. Меня или, напримѣръ, Михаила Федорыча сыграетъ даже плохой актеръ, а васъ никто. И я вамъ завидую, страшно завидую! Вѣдь что я изображаю изъ себя? Что?

Она минуту думаетъ и спрашиваетъ меня:

— Николай Степанычъ, вѣдь я отрицательное явленіе? Да?

— Да,— отвѣчаю я.

— Гм... Что же мнѣ дѣлать?

Что отвѣтить ей? Легко сказать «трудись», или «раздай свое имущество бѣднымъ», или «познай самого себя», и потому что это легко сказать, я не знаю, что отвѣтить.

Мои товарищи терапевты, когда учатъ лѣчить, совѣтуютъ «индивидуализировать каждый отдельный случай». Нужно послушаться этого совѣта, чтобы убѣдиться, что средства, рекомендуемыя въ учебникахъ за самыя лучшія и вполнѣ пригодныя для шаблона, оказываются совершенно негодными въ отдельныхъ случаяхъ. То же самое и въ нравственныхъ недугахъ.

Но отвѣтить что-нибудь нужно, и я говорю:

— У тебя, мой другъ, слишкомъ много свободного времени. Тебѣ необходимо заняться чѣмъ-нибудь. Въ самомъ дѣлѣ, отчего бы тебѣ опять не поступить въ актрисы, если есть призваніе?

— Не могу.

— Тонь и манера у тебя таковы, какъ будто ты жертва. Это мнѣ не нравится, другъ мой. Сама ты виновата. Вспомни, ты начала съ того, что разсердила на людей и на порядки, но ничего не сдѣлала, чтобы тѣ и другіе стали лучше. Ты не боролась со зломъ, а утомилась, и ты жертва не борьбы, а своего безсилія. Ну, конечно, тогда ты была молода, неопытна, теперь же все можетъ пойти

иначе. Право, поступай! Будешь ты трудиться, служить святому искусству...

— Не лукавьте, Николай Степанычъ,—перебиваетъ меня Катя.—Давайте разъ навсегда условимся: будемъ говоритьъ объ актерахъ, объ актрисахъ, писателяхъ, но оставимъ въ покой искусство. Вы прекрасный, рѣдкій человѣкъ, но не настолько понимаете искусство, чтобы по совѣсти считать его святымъ. Къ искусству у васъ нѣть ни чутья, ни слуха. Всю жизнь вы были заняты и вамъ некогда было пріобрѣтать это чутье. Вообще... я не люблю этихъ разговоровъ объ искусствѣ! — продолжаетъ она нервно. — Не люблю! И такъ ужъ опошили его, благодарю покорно!

— Кто опошилъ?

— Тѣ опошили его пьянствомъ, газеты—фамильярнымъ отношеніемъ, умные люди—философіей.

— Философія тутъ ни при чемъ.

— Причемъ. Если кто философствуетъ, то это значить, что онъ не понимаетъ.

Чтобы дѣло не дошло до рѣзкостей, я спѣшу перемѣнить разговоръ и потомъ долго молчу. Только когда мы выѣзжаемъ изъ лѣса и направляемся къ Катиной дачѣ, я возвращаюсь къ прежнему разговору и спрашива

— Ты все-таки не отвѣтила мнѣ: отчего ты не хочешь идти въ актрисы?

— Николай Степанычъ, это наконецъ жестоко!—вскрикиваетъ она и вдругъ вся краснѣеть.—Вамъ хочется, чтобы я вслухъ сказала правду? Извольте, если это... это вамъ нравится! Таланта у меня нѣть! Таланта нѣть и... и много самолюбія! Вотъ!

Сдѣлавъ такое признаніе, она отворачиваетъ отъ меня лицо и, чтобы скрыть дрожь въ рукахъ, сильно дергаетъ за вожжи.

Подѣзжая къ ея дачѣ, мы уже издали видимъ Михаила Федоровича, который тулитъ около воротъ и нетерпѣливо поджидаетъ насъ.

— Опять этотъ Михаилъ Федорычъ!—говорить Катя съ досадой.—Уберите его отъ меня, пожалуйста! Надоѣть, выдохся... Ну его!

Михаилу Федоровичу давно уже нужноѣхать за границу, но онъ каждую недѣлю откладываетъ свой отѣздъ. Въ послѣднее время съ нимъ произошли кое-какія перемѣнны:

онъ какъ-то осунулся, сталъ хмѣльть отъ вина, чего съ нимъ раньше никогда не бывало, и его черныя брови начинаютъ сѣдѣть. Когда нашъ шарабанъ останавливается у воротъ, онъ не скрываетъ своей радости и своего нетерпѣнія. Онъ суетливо высаживаетъ Катю и меня, торопится задавать вопросы, смѣется, потираетъ руки и то кроткое, молящееся, чистое, что я прежде замѣчалъ только въ его взглядѣ, теперь разлито по всему его лицу. Онъ радуется и въ то же время ему стыдно своей радости, стыдно этой привычки бывать у Кати каждый вечеръ, и онъ находить нужнымъ мотивировать свой прѣѣздъ какою-нибудь очевидною нелѣпостью, въ родѣ: «Ехалъ мимо по дѣлу и дай, думаю, заѣду на минуту».

Всѣ трое мы идемъ въ комнаты; сначала пьемъ чай, потомъ на столъ появляются давно знакомыя мнѣ двѣ колоды картъ, большой кусокъ сыру, фрукты и бутылка крымскаго шампанскаго. Темы для разговоровъ у насъ не новы, все тѣ же, что были и зимою. Достается и университету, и студентамъ, и литературѣ, и театру; воздухъ отъ злословія становится гуще, душнѣе, и отравляютъ его своими дыханіями уже не двѣ жабы, какъ зимою, а пѣльныхъ три. Кромѣ бархатнаго, баритоннаго смѣха и хохота, похожаго на гармонику, горничная, которая служить намъ, слышитъ еще непріятный, дребезжащій смѣхъ, какимъ въ водевиляхъ смѣются генералы: хе-хе-хе...

V.

Бываютъ странныя ночи съ громомъ, молнией, дождемъ и вѣтромъ, которыя въ народѣ называются воробышными. Одна точно такая же воробышная ночь была и въ моей личной жизни...

Я просыпаюсь послѣ полуночи и вдругъ вскакиваю съ постели. Миѣ почему-то кажется, что я сейчасъ внезапно умру. Чему кажется? Въ тѣлѣ нѣть ни одного такого ощущенія, которое указывало бы на скорый конецъ, но душу мою гнететъ такой ужасъ, какъ будто я вдругъувидѣлъ громадное зловѣщее зарево.

Я быстро зажигаю огонь, пью воду прямо изъ графина, потомъ спѣшу къ открытому окну. Погода на дворѣ великолѣпная. Пахнетъ сѣномъ и чѣмъ-то еще очень хорошимъ. Видны мнѣ зубцы палисадника, сонная тощія деревца у

окна, дорога, темная полоса лѣса; на небѣ спокойная, очень яркая луна и ни одного облака. Тишина, не шевельнется ни одинъ листъ. Мнѣ кажется, что все смотрить на меня и прислушивается, какъ я буду умирать...

Жутко. Закрываю окно и бѣгу къ постели. Щупаю у себя пульсъ и, не найдя на рукѣ, ищу его въ вискахъ, потомъ въ подбородкѣ и опять на рукѣ и все это у меня холодно, склизко отъ пота. Дыханіе становится все чаще и чаще, тѣло дрожитъ, всѣ внутренности въ движеніи, на лицѣ и на лысинѣ такое ощущеніе, какъ будто на нихъ садится паутина.

Что дѣлать? Позвать семью? Нѣть, не нужно. Я не понимаю, что будуть дѣлать жена и Лиза, когда войдутъ ко мнѣ.

Я прячу голову подъ подушку, закрываю глаза и жду, жду... Спинѣ моей холодно, она точно втягивается во внутрь и такое у меня чувство, какъ будто смерть подойдетъ ко мнѣ непремѣнно сзади, потихоньку...

— Киви-киви! — раздается вдругъ пискъ въ ночной тишинѣ, и я не знаю, гдѣ это: въ моей груди, или на улицѣ?

— Киви-киви!

Боже мой, какъ страшно! Выпилъ бы еще воды, но ужъ страшно открыть глаза и боюсь поднять голову. Ужасъ у меня безотчетный, животный, и я никакъ не могу понять, отчего мнѣ страшно: оттого ли, что хочется жить, или оттого, что меня ждетъ новая, еще неизвѣданная боль?

Наверху за потолкомъ кто-то не то стонетъ, не то смеется... Прислушиваюсь. Немного погодя на лѣстницѣ раздаются шаги. Кто-то торопливо идетъ внизъ, потомъ опять наверхъ. Черезъ минуту шаги опять раздаются внизу; кто-то останавливается около моей двери и прислушивается.

— Кто тамъ? — кричу я.

Дверь отворяется, я смѣло открываю глаза и вижу жену. Лицо у нея блѣдно и глаза заплаканы.

— Ты не спиши, Николай Степанычъ? — спрашиваетъ она.

— Что тебѣ?

— Ради Бога сходи къ Лизѣ и посмотри на нее. Съ нею что-то дѣлается...

— Хорошо... съ удовольствиемъ... — бормочу я, очень довольный тѣмъ, что я не одинъ. — Хорошо... Сию минуту.

Я иду за своей женой, слушаю, что она говорить мнѣ, и ничего не понимаю отъ волненія. По ступенямъ лѣстницы прыгаютъ свѣтлые пятна отъ ея свѣчи, дрожать наши длинныя тѣни, ноги мои шатаются въ полахъ халата, я задыхаюсь, и мнѣ кажется, что за мной кто-то гонится и хочетъ схватить меня за спину. «Сейчасъ умру здѣсь на этой лѣстницѣ,—думаю я.—Сейчасъ...» Но вотъ миновали лѣстницу, темный коридоръ съ итальянскимъ окномъ и входимъ въ комнату Лизы. Она сидитъ на постели въ одной сорочкѣ, свѣсивъ босыя ноги, и стоинетъ.

— Ахъ, Боже мой... ахъ, Боже мой! — бормочеть она, жмурясь отъ нашей свѣчи.—Не могу, не могу...

— Лиза, дитя мое,—говорю я.—Что съ тобой?

Увидѣвъ меня, она вскрикиваетъ и бросается мнѣ на шею.

— Папа мой добрый...—рыдастъ она:—папа мой хороший... Крошечка мой, миленький... Я не знаю, что со мною... Тяжело!

Она обнимаетъ меня, цѣлууетъ и лепечетъ ласкателныя слова, какія я слышалъ отъ нея, когда она была еще ребенкомъ.

— Успокойся, дитя мое, Богъ съ тобою,—говорю я.—Не нужно плакать. Мнѣ самому тяжело.

Я стараюсь укрыть ее, жена даетъ ей пить и оба мы безпорядочно толчемся около постели; своимъ плечомъ я толкаю ее въ плечо, и въ это время мнѣ вспоминается, какъ мы когда-то вмѣстѣ купали нашихъ дѣтей.

— Да помоги же ей, помоги!—умоляетъ жена.—Сдѣлай что-нибудь!

Что же я могу сдѣлать? Ничего не могу. На душѣ у дѣвочки какая-то тяжесть, но я ничего не понимаю, не знаю и могу только бормотать:

— Ничего, ничего... Это пройдетъ... Спи, спи...

Какъ нарочно, въ нашемъ дворѣ раздается вдругъ собачій вой, сначала тихій и нерѣшительный, потомъ громкій, въ два голоса. Я никогда не придавалъ значенія такимъ примѣтамъ, какъ вой собакъ или крикъ совъ, но теперь сердце мое мучительно сжимается и я спѣшу объяснить себѣ этотъвой.

«Пустяки... — думаю я.— Вліяніе одного организма на другой. Мое сильное нервное напряженіе передалось женѣ,

Лизъ, собакъ, воть и все... Этой передачей объясняются предчувствія, предвидѣнія»...

Когда я, немного погодя, возвращаюсь къ себѣ въ комнату, чтобы написать для Лизы рецептъ, я ужъ не думаю о томъ, что скоро умру, но просто на душѣ тяжко, нудно, такъ что даже жаль, что я не умеръ внезапно. Долго я стою среди комнаты неподвижно и придумываю, что бы такое прописать для Лизы, но стоны за потолкомъ умолкаютъ и я рѣшаю ничего не прописывать, и все-таки стою...

Тишина мертвая, такая тишина, что, какъ выражалъ какой-то писатель, даже въ ушахъ звенитъ. Время идетъ медленно, полосы лунного свѣта на подоконникѣ не менять своего положенія, точно застыли... Разсвѣть еще не скоро.

Но вотъ въ палисадникѣ скрипнитъ калитка, кто-то крадется и, отломивъ отъ одного изъ тощихъ деревецъ вѣтку, осторожно стучитъ ею по окну.

— Николай Степанычъ! — слышу я шопотъ. — Николай Степанычъ!

Я отворяю окно и мнѣ кажется, что я вижу сонъ: подъ окномъ, прижавшись къ стѣнѣ, стоитъ женщина въ черномъ платьѣ, ярко освѣщенная луной, и глядить на меня большими глазами. Лицо ея блѣдно, строго и фантастично отъ луны, какъ мраморное, подбородокъ дрожитъ.

— Это я... — говоритъ она. — Я... Катя!

При лунномъ свѣтѣ всѣ женскіе глаза кажутся большими и черными, люди выше и блѣдиѣ, и потому, вѣроятно, я не узналь ея въ первую минуту.

— Что тебѣ?

— Простите, — говоритъ она. — Мнѣ вдругъ почему-то стало невыносимо тяжело... Я не выдержала и поѣхала сюда... У васъ въ окнѣ свѣтъ и... и я рѣшила постучать... Извините... Ахъ, если бъ вы знали, какъ мнѣ было тяжело! Что вы сейчасъ дѣлаете?

— Ничего... Безсонница.

— У меня какое-то предчувствіе было. Впрочемъ, пустяки.

Брови ея поднимаются, глаза блестятъ отъ слезъ и все лицо озаряется, какъ свѣтомъ, знакомымъ, давно невиданнымъ выраженіемъ довѣрчивости.

— Николай Степанычъ! — говоритъ она умоляюще, про-

тягивая ко мнѣ обѣ руки. — Дорогой мой, прошу васть... умоляю... Если вы не презираете моей дружбы и уваженія къ вамъ, то согласитесь на мою просьбу!

— Что такое?

— Возьмите отъ меня мои деньги!

— Ну, вотъ еще что выдумала! На что мнѣ твои деньги?

— Вы поѣдете куда-нибудь лѣчиться... Вамъ нужно лѣчиться. Возьмете? Да? Голубчикъ, да?

Она жадно всматривается въ мое лицо и повторяетъ:

— Да? Возьмете?

— Нѣтъ, мой другъ, не возьму...—говорю я.—Спасибо.

Она поворачивается ко мнѣ спиной и поникаетъ головой. Вѣроятно, я отказалъ ей такимъ тономъ, который не допускалъ дальниѣшихъ разговоровъ о деньгахъ.

— Поѣзжай домой спать,—говорю я.—Завтра увидимся.

— Значить, вы не считаете меня своимъ другомъ?—спрашиваетъ она уныло.

— Я этого не говорю. Но деньги твои теперь для меня бесполезны.

— Извините...—говорить она, понизивъ голосъ на цѣлую октаву.—Я понимаю васъ... Одолжаться у такого человѣка, какъ я... у отставной актрисы... Впрочемъ, прощайте...

И она уходитъ такъ быстро, что я не успѣваю даже сказать ей прощай.

VII.

Я въ Харьковѣ.

Такъ какъ бороться съ теперешнимъ моимъ настроеніемъ было бы бесполезно, да и не въ моихъ силахъ, то я рѣшился, что послѣдніе дни моей жизни будутъ безупречны хотя съ формальной стороны; если я не правъ по отношенію къ своей семье, что я отлично сознаю, то буду стараться дѣлать такъ, какъ она хочетъ. Въ Харьковѣѣхать, такъ въ Харьковѣ. Къ тому же, въ послѣднее время я такъ оправнодушѣлько всему, что мнѣ положительно все равно, куда ниѣхать, въ Харьковѣ, въ Парижѣ ли, или въ Бердичевѣ.

Пріѣхалъ я сюда часовъ въ 12 дня и остановился въ гостиницѣ, недалеко отъ собора. Въ вагонѣ меня укачало, продуло сквозняками и теперь я сижу на кровати, держусь

за голову и жду тіс'a. Надо бы сегодня же побѣхать къ знакомымъ профессорамъ, да нѣть охоты и силы.

Входить коридорный лакей - старикъ и спрашиваетъ, есть ли у меня постельное бѣлье. Я задерживаю его минутъ на пять и задаю ему нѣсколько вопросовъ насчетъ Гнеккера, ради которого я пріѣхалъ сюда. Лакей оказывается уроженцемъ Харькова, знаетъ этотъ городъ, какъ свои пять пальцевъ, но не помнитъ ни одного такого дома, который носилъ бы фамилію Гнеккера. Разспрашиваю насчетъ имѣній — то же самое.

Въ коридорѣ часы бѣть часть, потомъ два, потомъ три... Послѣдніе мѣсяцы моей жизни, пока я жду смерти, кажутся мнѣ гораздо длиннѣе всей моей жизни. И никогда раньше я не умѣлъ такъ мириться съ медленностью времени, какъ теперь. Прежде бывало, когда ждешь на вокзалѣ поѣзда или сидишь на экзаменѣ, четверть часа кажутся вѣчностью, теперь же я могу всю ночь сидѣть неподвижно на кровати и совершенно равнодушно думать о томъ, что завтра будетъ такая же длинная, безцвѣтная ночь, и послѣ завтра...

Въ коридорѣ бѣть пять часовъ, шесть, семь... Становится темно.

Въ щекѣ тупая боль — это начинается тіс. Чтобы занять себя мыслями, я становлюсь на прежнюю свою точку зрѣнія, когда не былъ равнодушенъ, и спрашиваю: зачѣмъ я, знаменитый человѣкъ, тайный совѣтникъ, сижу въ этомъ маленькомъ номерѣ, на этой кровати съ чужими, сѣрыми одѣялами? Зачѣмъ я гляжу на этотъ дешевый жестянной рукомойникъ и слушаю, какъ въ коридорѣ дребезжатъ дрянные часы? Развѣ все это достойно моей славы и моего высокаго положенія среди людей? И на эти вопросы я отвѣщаю себѣ усмѣшкой. Смѣшна мнѣ моя наивность, съ какою я когда-то въ молодости преувеличивала значение извѣстности и того исключительного положенія, какимъ будто бы пользуются знаменитости. Я извѣстенъ, мое имя произносится съ благоговѣніемъ, мой портретъ былъ и въ «Нивѣ» и во «Всемирной Иллюстраціи», свою біографію я читалъ даже въ одномъ нѣмецкомъ журналь — и что же изъ этого? Сижу я одинъ-единешенекъ въ чужомъ городѣ, на чужой кровати, тру ладонью свою болѣную щеку... Семейныя дрязги, немилосердіе кредиторовъ, грубость желѣзодорожной прислуги, неудобства паспортной системы, до-

рогая и нездоровая нища въ буфетахъ, всеобщее невѣжество и грубость въ отношеніяхъ—все это и многое другое, что было бы слишкомъ долго перечислять, касается меня не менѣе, чѣмъ любого мѣщанина, извѣстнаго только своему переулку. Въ чѣмъ же выражается исключительность моего положенія? Допустимъ, что я знаменитъ тысячу разъ, что я герой, которымъ гордится моя родина; во всѣхъ газетахъ пишутъ бюллетени о моей болѣзни, по почтѣ идутъ уже ко мнѣ сочувственные адреса отъ товарищей, учениковъ и публики, но все это не помышлаетъ мнѣ умереть на чужой кровати, въ тоскѣ, въ совершенномъ одиночествѣ... Въ этомъ, конечно, никто не виноватъ, но, грѣшный человѣкъ, не люблю я своего популярнаго имени. Мнѣ кажется, какъ будто оно меня обмануло.

Часовъ въ десять я засыпаю и, несмотря на тѣс, сплю крѣпко и спаль бы долго, если бы меня не разбудили. Въ началѣ второго часа вдругъ раздается стукъ въ дверь.

— Кто тамъ?

— Телеграмма!

— Могли бы и завтра,—сердусь я, получая отъ коридорного телеграмму.—Теперь ужъ я не усну въ другой разъ.

— Виновать-сь. У васъ огонь горить, я думалъ, что вы не спите.

Я распечатываю телеграмму и прежде всего гляжу на подпись: отъ жены. Что ей нужно?

«Вчера Гнеккеръ тайно обвищался съ Лизой. Возвратись»

Я читаю эту телеграмму и пугаюсь ненадолго. Пугаетъ меня не поступокъ Лизы и Гнеккера, а мое равнодушіе, съ какимъ я встрѣчаю извѣстіе объ ихъ свадьбѣ. Говорить, что философы и истинные мудрецы равнодушны. Неправда, равнодушіе—это параличъ души, преждевременная смерть.

Опять ложусь я въ постель и начинаю придумывать, какими бы занять себя мыслями. О чѣмъ думать? Кажется, все ужъ передумано и ничего неѣтъ такого, что было бы теперь способно возбудить мою мысль.

Когда разсвѣтаетъ, я сижу въ постели, обивая руками колѣни, и отъ нечего дѣлать стараюсь познать самого себя. «Познай самого себя» — прекрасный и полезный совѣтъ;

жаль только, что древніе не догадались указать способъ, какъ пользоваться этимъ совѣтомъ.

Когда мнѣ прежде приходила охота понять кого-нибудь, или себя, то я принималъ во вниманіе не поступки, въ которыхъ все условно, а желанія. Скажи мнѣ, чего ты хочешь, и я скажу, кто ты.

П теперь я экзаменую себя: чего я хочу?

Я хочу, чтобы наши жены, дѣти, друзья, ученики любили въ насть не имя, не фирму и не ярлыкъ, а обыкновенныхъ людей. Еще что? Я хотѣлъ бы имѣть помощниковъ и наслѣдниковъ. Еще что? Хотѣлъ бы проснуться лѣтъ черезъ сто и хоть однимъ глазомъ взглянуть, что будетъ съ наукой. Хотѣлъ бы еще пожить лѣтъ десять... Дальше что?

А дальше ничего. Я думаю, долго думаю и ничего не могу еще придумать. И сколько бы я ни думалъ и куда бы ни разбрасывались мои мысли, для меня ясно, что въ моихъ желаніяхъ нѣтъ чего-то главнаго, чего-то очень важнаго. Въ моемъ пристрастіи къ наукѣ, въ моемъ желаніи жить, въ этомъ сидѣніи на чужой кровати и въ стремлѣніи познать самого себя, во всѣхъ мысляхъ, чувствахъ и понятіяхъ, какія я составляю обо всемъ, нѣтъ чего-то общаго, что связывало бы все это въ одно цѣлое. Каждое чувство и каждая мысль живутъ во мнѣ особнякомъ, и во всѣхъ моихъ сужденіяхъ о наукѣ, театрѣ, литературѣ, ученикахъ и во всѣхъ картинкахъ, которая рисуетъ мое воображеніе, даже самый искусный аналитикъ не найдетъ того, что называется общей идеей, или богомъ живого человѣка.

А коли нѣтъ этого, то, значитъ, нѣтъ и ничего.

При такой бѣдности достаточно было серьезнаго недуга, страха смерти, вліянія обстоятельствъ и людей, чтобы все то, что я прежде считалъ своимъ міровоззрѣніемъ и въ чёмъ видѣлъ смыслъ и радость своей жизни, переворнулось вверхъ дномъ и разлетѣлось въ клочья. Ничего же поэтому нѣтъ удивительнаго, что послѣдніе мѣсяцы своей жизни я омрачилъ мыслями и чувствами, достойными раба и варвара, что теперь я равнодушенъ и не замѣчаю разсвѣта. Когда въ человѣкѣ нѣтъ того, что выше и сильнѣе всѣхъ внѣшнихъ вліяній, то, право, достаточно для него хорошаго насморка, чтобы потерять равновѣсіе и начать видѣть

въ каждой птицѣ сову, въ каждомъ звукѣ слышать собачій вой. И весь его пессимизмъ или оптимизмъ съ его великими и малыми мыслями въ это время имѣютъ значеніе только симптома и больше ничего.

Я побѣжденъ. Если такъ, то нечего же продолжать еще думать, нечего разговаривать. Буду сидѣть и молча ждать, что будетъ.

Утромъ коридорный приносить мнѣ чай и цумеръ мѣстной газеты. Машинально я прочитываю объявленія на первой страницѣ, передовую, выдержки изъ газетъ и журналовъ, хронику... Между прочимъ въ хроникѣ я нахожу такое извѣстіе: «Вчера съ курьерскимъ поѣздомъ прибыть въ Харьковъ нашъ извѣстный ученый, заслуженный профессоръ Николай Степановичъ такой-то и остановился въ такой-то гостиницѣ».

Очевидно, громкія имена создаются для того, чтобы жить особнякомъ, помимо тѣхъ, кто ихъ носитъ. Теперь мое имя безмятежно гуляетъ по Харькову; мѣсяца черезъ три оно, изображенное золотыми буквами на могильномъ памятникѣ, будетъ блестѣть, какъ самое солнце — и это въ то время, когда я буду ужъ покрыть мохомъ...

Легкій стукъ въ дверь. Кому-то я нуженъ.

— Кто тамъ? Войдите!

Дверь отворяется и я, удивленный, дѣлаю шагъ назадъ и сиѣшу запахнуть полы своего халата. Передо мной стоитъ Катя.

— Здравствуйте,—говорить она, тяжело дыша отъ ходьбы по лѣстницѣ.—Не ожидали? Я тоже... тоже сюда прѣхала.

Она садится и продолжаетъ, заикаясь и не глядя на меня:

— Что же вы не здороваетесь? Я тоже прѣхала... сегодня... Узнала, что вы въ этой гостиницѣ, и пришла къ вамъ.

— Очень радъ видѣть тебя, — говорю я, пожимая плечами:—но я удивленъ... Ты точно съ неба свалилась. Зачѣмъ ты здѣсь?

— Я? Такъ... просто взяла и прѣхала.

Молчаніе. Вдругъ она порывисто встаетъ и идетъ ко мнѣ.

— Николай Степанычъ! — говоритъ она, блѣдиya и сжимая на груди руки.—Николай Степанычъ! Я не могу дольше такъ жить! Не могу! Ради истиннаго Бога скажите скорѣе, сюю минуту: что мнѣ дѣлать? Говорите, что мнѣ дѣлать?

— Что же я могу сказать? — недоумываю я.— Ничего я не могу.

— Говорите же, умоляю васъ! — продолжаетъ она, задыхаясь и дрожа всѣмъ тѣломъ. — Клянусь вамъ, что я не могу дольше такъ жить! Силь моихъ нѣть!

Она падаетъ на стулъ и начинаетъ рыдать. Она закинула назадъ голову, ломаетъ руки, тошочеть ногами; шляпка ся свалилась съ головы и болтается на резинкѣ, прическа растрепалась.

— Помогите мнѣ! Помогите! — умоляетъ она. — Не могу я дольше!

Она достаетъ изъ своей дорожной сумочки платокъ и вмѣстѣ съ нимъ вытаскиваетъ нѣсколько писемъ, которыя съ ея колѣнь падаютъ на полъ. Я подбираю ихъ съ полу и на одномъ изъ нихъ узнаю почеркъ Михаила Федоровича и печально прочитываю кусочекъ какого-то слова «страсти...».

— Ничего я не могу сказать тебѣ, Катя, — говорю я.

— Помогите! — рыдаетъ она, хватая меня за руку и цѣлюя ее. — Вѣдь вы мой отецъ, мой единственный другъ! Вѣдь вы умны, образованы, долго жили! Вы были учителемъ! Говорите же: что мнѣ дѣлать?

— По совѣсти, Катя: не знаю...

Я растерялся, сконфуженъ, тронутъ рыданіями и едва стою на ногахъ.

— Давай, Катя, завтракать, — говорю я, натянуто улыбаясь. — Будеть плакать!

И тотчасъ же я прибавляю унавишимъ голосомъ:

— Меня скоро не станеть, Катя...

— Хоть одно слово, хоть одно слово! — плачетъ она, протягивая ко мнѣ руки. — Что мнѣ дѣлать?

— Чудачка, право... — бормочу я. — Не понимаю! Такая умница и вдругъ — на тебѣ! расплакалась...

Наступаетъ молчаніе. Катя поправляетъ прическу, надѣваетъ шляпу, потомъ комкаетъ письма и суетъ ихъ въ сумочку — и все это молча и не сиѣша. Лицо, грудь и перчатки у нея мокры отъ слезъ, но выраженіе лица уже сухо, сурово... Я гляжу на нее и мнѣ стыдно, что я счастливѣе ея. Отсутствіе того, что товарищи-философы называютъ общей идеей, я замѣтилъ въ себѣ только незадолго передъ смертью; на закатѣ своихъ дней, а вѣдь душа этой

бѣдняжки не знала и не будетъ знать пріюта всю жизньъ, всю жизньъ!

— Давай, Катя, завтракать,—говорю я.

— Нѣтъ, благодарю,—отвѣчаетъ она холодно.

Еще одна минута проходитъ въ молчаніи.

— Не нравится мнѣ Харьковъ,—говорю я.—Сѣро ужъ очень. Какой-то сѣрый городъ.

— Да, пожалуй... Некрасивый... Я ненадолго сюда... Мимоѣзdomъ. Сегодня же уѣду.

— Куда?

— Въ Крымъ... то-есть на Кавказъ.

— Такъ. Надолго?

— Не знаю.

Катя встаетъ и, холоднѣ улыбнувшись, не глядя на меня, протягиваетъ мнѣ руку.

Мнѣ хочется спросить:—«Значить, на похоронахъ у меня не будешь?» Но она не глядитъ на меня, рука у нея холодная, словно чужая. Я молча провожаю ее до дверей... Вотъ она вышла отъ меня, идетъ по длинному коридору, не оглядываясь. Она знаетъ, что я гляжу ей вслѣдъ, и, вѣроятно, на поворотѣ огляднется.

Нѣтъ, не оглянулась. Черное платье въ послѣдній разъ мелькнуло, затихли шаги... Прощай, мое сокровище!

ПРИПАДОКЪ.

I.

Студентъ-медикъ Майеръ и ученикъ московскаго училища живописи, ваянія и зодчества Рыбниковъ пришли какъ-то вечеромъ къ своему пріятелю студенту-юристу Васильеву и предложили ему сходить съ ними въ С—въ персулокъ. Васильевъ сначала долго не соглашался, но потомъ одѣлся и пошелъ съ ними.

Падшихъ женщинъ онъ зналъ только по наслышкѣ и изъ книгъ, и въ тѣхъ домахъ, гдѣ онъ живутъ, не былъ ни разу въ жизни. Онъ зналъ, что есть такія безнравственные женщины, которыя подъ давленіемъ роковыхъ обстоятельствъ—среды, дурного воспитанія, нужды и т. п. вынуждены бывають продавать за деньги свою честь. Онъ не знаютъ чистой любви, не имѣютъ дѣтей, не правоспособны; матери и сестры оплакиваютъ ихъ, какъ мертвыхъ, наука третируетъ ихъ, какъ зло, мужчины говорять имъ ты. Но, несмотря на все это, онъ не теряютъ образа и подобія Божія. Всѣ онъ сознаютъ свой грѣхъ и надѣются на спасеніе. Средствами, которыя ведутъ къ спасенію, онъ могутъ пользоваться въ самыхъ широкихъ размѣрахъ. Правда, общество не прощаетъ людямъ прошлаго, но у Бога святая Марія Египетская считается не ниже другихъ святыхъ. Когда Васильеву приходилось по костюму или по манерамъ узнавать на улицѣ падшую женщину, или видѣть ея изображеніе въ юмористическомъ журнальѣ, то всякий разъ онъ вспоминалъ одну исторію, гдѣ-то и когда-то имъ вычитан-

иую: какой-то молодой человѣкъ, чистый и самоотверженный, полюбилъ падшую женщину и предложилъ ей стать его женой, она же, считая себя недостойною такого счастія, отравилась.

Васильевъ жилъ въ одномъ изъ переулковъ, выходящихъ на Тверской бульваръ. Когда онъ вышелъ съ пріятелями изъ дома, было около 11 часовъ. Недавно шелъ первый снѣгъ и все въ природѣ находилось подъ властью этого молодого снѣга. Въ воздухѣ пахло снѣгомъ, подъ ногами мягко хрустѣлъ снѣгъ, земля, крыши, деревья, скамьи на бульварахъ — все было мягко, бѣло, молодо, и отъ этого дома выглядывали иначе, чѣмъ вчера, фонари горѣли ярче, воздухъ былъ прозрачнѣй, экипажи стучали глуше, и въ душу вмѣстѣ со свѣжимъ, легкимъ морознымъ воздухомъ просилось чувство, похожее на бѣлый, молодой, пушистый снѣгъ.

— Невѣльно къ этимъ грустнымъ берегамъ, — занѣть медикъ пріятнѣмъ теноромъ: — меня влечетъ невѣдомая сила...

— Вотъ мельница... — подтянула ему художникъ. — Она ужъ развалилась...

— Вотъ мельница... Она ужъ развалилась... — повторилъ медикъ, поднимая брови и грустно покачивая головою.

Онъ помолчалъ, потеръ лобъ, припомнія слова, и занѣть громко и такъ хорошо, что на него оглянулись прохожіе:

— Здѣсь нѣкогда меня встрѣчала свободнаго свободная любовь...

Всѣ трое зашли въ ресторанъ и, не снимая пальто, выпили у буфета по двѣ рюмки водки. Передъ тѣмъ, какъ выпить по второй, Васильевъ замѣтилъ у себя въ водкѣ кусочекъ пробки, поднесъ рюмку къ глазамъ, долго глядѣлъ въ нее и близоруко хмурился. Медикъ не понялъ его выраженія и сказалъ:

— Ну, что глядишь? Пожалуйста, безъ философіи! Водка дана, чтобы пить ее, осетрина — чтобы есть, женщины — чтобы бывать у нихъ, снѣгъ — чтобы ходить по немъ. Хоть одинъ вечеръ поживи по-человѣчески!

— Да я ничего... — сказалъ Васильевъ, смеясь. — Развѣ я отказываюсь?

Отъ водки у него потеплѣло въ груди. Онъ съ умиленіемъ глядѣлъ на своихъ пріятелей, любовался ими и за-

видоваль. Какъ у этихъ здоровыхъ, сильныхъ, веселыхъ людей все уравновѣшено, какъ въ ихъ умахъ и душахъ все закончено и гладко! Они и поютъ, и страстно любятъ театръ, и рисуютъ, и много говорятъ, и пьютъ, и голова у нихъ не болитъ на другой день послѣ этого; они и поэтичны, и распутны, и нѣжны, и дерзки; они умѣютъ и работать, и возмущаться, и хохотать безъ причины, и говорить глупости; они горячи, честны, самоотвержены, и, какъ люди, ничѣмъ не хуже его, Васильева, который сторожитъ каждый свой шагъ и каждое свое слово, мнителенъ, остороженъ, и малѣйшій пустякъ готовъ возводить на степень вопроса. И ему захотѣлось хоть одинъ вечеръ пожить такъ, какъ живутъ пріятели, развернуться, освободить себя отъ собственного контроля. Понадобится водку пить? Онъ будетъ пить, хотя бы завтра у него лопнула голова отъ боли. Его ведутъ къ женщинамъ? Онъ идетъ. Онъ будетъ хотѣть, дурачиться, весело отвѣтывать на затрогиванія прохожихъ...

Вышелъ онъ изъ ресторана со смѣхомъ. Ему нравились его пріятели—одинъ въ помятой широкополой шляпѣ съ претензией на художественный беспорядокъ, другой въ котиковѣ шапочкѣ, человѣкъ не бѣдный, но съ претензией на принадлежность къ ученой богемѣ; нравился ему снѣгъ, блѣдные, фонариные огни, рѣзкіе, черные слѣды, какіе оставляли по первому снѣгу подошвы прохожихъ; нравился ему воздухъ и особенно этотъ прозрачный, нѣжный, паинвый, точно дѣвственныій тонъ, какой въ природѣ можно наблюдать только два раза въ году: когда все покрыто снѣгомъ и весною въ ясные дни, или въ лунные вечера, когда на рѣкѣ ломаеть ледь.

— Невольно къ этимъ грустнымъ берегамъ,—запѣлъ онъ вполноголоса:—меня влечеть невѣдомая сила...

И всю дорогу почему-то у него и у его пріятелей не сходилъ съ языка этотъ мотивъ, и всѣ трое напѣвали его машинально, не въ тактъ другъ другу

Воображеніе Васильева рисовало, какъ минутъ черезъ десять онъ и его пріятели постучатся въ дверь, какъ они по темнымъ коридорчикамъ и по темнымъ комнатамъ будуть красться къ женщинамъ, какъ онъ, воспользовавшись потемками, чиркнетъ спичкой и вдругъ освѣтить и увидеть страдальческое лицо и виноватую улыбку. Невѣдомая блон-

динка, или брюнетка навѣрное будетъ съ распущенными волосами и въ бѣлойочной кофточкѣ; она испугается свѣта, страшно сконфузится и скажетъ: «Ради Бога, что вы дѣлаете! Потушите!» Все это страшно, но любопытно и ново.

II.

Пріятели съ Трубной площади повернули на Грачевку и скоро вошли въ переулокъ, о которомъ Васильевъ зналъ только по наслышкѣ. Увидѣвъ два ряда домовъ съ ярко-освѣщенными окнами и съ настежь открытыми дверями, услышавъ веселые звуки роялей и скрипокъ—звуки, которые выплетали изъ всѣхъ дверей и мѣшались въ странную путаницу, похожую на то, какъ будто гдѣ-то въ потемкахъ, надъ крышами, настраивался невидимый оркестръ, Васильевъ удивился и сказалъ:

— Какъ много домовъ!

— Это чтѣ!—сказалъ медикъ.—Въ Лондонѣ въ десять разъ больше. Тамъ около ста тысячъ женщинъ.

Извозчики сидѣли на козлахъ такъ же покойно и равнодушно, какъ и во всѣхъ переулкахъ; по тротуарамъ шли такие же прохожіе, какъ и на другихъ улицахъ. Никто не торопился, никто не пряталъ въ воротникъ своего лица, никто не покачивалъ укоризненно головой... И въ этомъ равнодушіи, въ звуковой путаницѣ роялей и скрипокъ, въ яркихъ окнахъ, въ настежь открытыхъ дверяхъ чувствовалось что-то очень откровенное, наглос, удалое и размашистое. Должно-быть, во время оно на рабовладѣльческихъ рынкахъ было такъ же весело и шумно, и лица, и походка людей выражали такое же равнодушіе.

— Начнемъ съ самаго начала,—сказалъ художникъ.

Пріятели вошли въ узкій коридорчикъ, освѣщенный лампою съ рефлекторомъ. Когда они отворили дверь, то въ передней съ желтаго дивана лѣниво поднялся человѣкъ въ черномъ сюртукѣ, съ небритымъ лакейскимъ лицомъ и съ заспанными глазами. Тутъ нахло какъ въ прачечной и кромѣ того еще уксусомъ. Изъ передней вела дверь въ ярко освѣщенную комнату. Медикъ и художникъ остановились въ этой двери и, вытянувъ шеи, оба разомъ заглянули въ комнату.

— Бона-сѣра, сеньеры, риголетто-гугеноты-травіата!—началъ художникъ, театрально раскланиваясь.

— Гаванна-таракано-пистолето! — сказалъ медикъ, прижимая къ груди свою шапочку и низко кланяясь.

Васильевъ стоялъ позади нихъ. Ему тоже хотѣлось театрально раскланяться и сказать что-нибудь глупое, но онъ только улыбался, чувствовалъ неловкость, похожую на стыдъ, и съ нетерпѣніемъ ждалъ, что будетъ дальше. Въ дверяхъ показалась маленькая блондинка лѣтъ 17—18, стрижениая, въ короткомъ голубомъ платьѣ и съ бѣлымъ аксельбантомъ на груди.

— Что жъ вы въ дверяхъ стоите? — сказала она. — Снимите вани пальты и входите въ залу.

Медикъ и художникъ, продолжая говорить по-итальянски, вошли въ залу. Васильевъ нерѣшительно пошелъ за ними.

— Господа, снимайте ваши пальты! — сказалъ строгого лакей. — Такъ нельзя.

Кромѣ блондинки, въ залѣ была еще одна женщина, очень полная и высокая, съ нерусскимъ лицомъ и съ обнаженными руками. Она сидѣла около рояля и раскладывала у себя на колѣняхъ пасьянсъ. На гостей она не обратила никакого вниманія.

— Гдѣ же остальные барышни? — спросилъ медикъ.

— Онѣ чай пьютъ, — сказала блондинка. — Степанъ, — крикнула она: — пойди скажи барышнямъ, что студенты пришли!

Немного погодя, въ залу вошла третья барышня. Эта была въ ярко-красномъ платьѣ съ синими полосами. Лицо ея было густо и неумѣло накрашено, лобъ прятался за волосами, глаза глядѣли не мигая и испуганно. Войдя, она тотчасъ же запѣла сильнымъ, грубымъ контральто какую-то пѣсню. За нею показалась четвертая барышня, за нею пятая...

Во всемъ этомъ Васильевъ не видѣлъ ничего ни новаго, ни любопытнаго. Ему казалось, что эту залу, рояль, зеркало въ дешевой золотой рамѣ, аксельбантъ, платье съ синими полосами и тупыя, равнодушныя лица онъ видѣлъ уже гдѣ-то и не одинъ разъ. Потемокъ же, тишины, тайны, виноватой улыбки, всего того, что ожидалъ онъ здѣсь встрѣтить и что пугало его, онъ не видѣлъ даже тѣни.

Все было обыкновенно, прозаично и неинтересно. Одно только слегка раздражало его любопытство — это страшная,

словно нарочно придуманная безвкусица, какая видна была въ карнизахъ, въ нелѣпыхъ картинахъ, въ платьяхъ, въ аксельбантѣ. Въ этой безвкусице было что-то характерное, особенное.

— Какъ все бѣдно и глупо! — думалъ Васильевъ. — Чѣмъ во всей этой чепухѣ, которую я теперь вижу, можетъ искусить нормального человѣка, побудить его совершить страшный грѣхъ — купить за рубль живого человѣка? Я понимаю любой грѣхъ ради блеска, красоты, граціи, страсти, вкуса, но тутъ-то что? Ради чего тутъ грѣшатъ? Впрочемъ... не надо думать!

— Борода, угостите портеромъ! — обратилась къ нему блондинка.

Васильевъ вдругъ сконфузился.

— Съ удовольствиемъ... — сказалъ онъ, вѣжливо кланяясь. — Только извините, сударыня, я... я съ вами пить не буду. Я не пью.

Минутъ черезъ пять пріятелишли уже въ другой домъ.

— Ну, зачѣмъ ты потребовалъ портеру? — сердился медикъ. — Милліонщикъ какой! Бросилъ шесть рублей такъ, здорово-живещь, на вѣтеръ!

— Если она хочетъ, то отчего же не сдѣлать ей этого удовольствія? — оправдывался Васильевъ.

— Ты доставилъ удовольствіе не ей, а хозяйкѣ. Требовать отъ гостей угощенія приказываютъ имъ хозяйки, которыми это выгодно.

— Вотъ мельница... — запѣла художникъ. — Она ужъ развалилась...

Придя въ другой домъ, пріятели постояли только въ передней, но въ залу не входили. Такъ же, какъ и въ первомъ домѣ, въ передней съ дивана поднялась фигура въ сюртукѣ и съ заспаннымъ лакейскимъ лицомъ. Глядя на этого лакея, на его лицо и ипоношенный сюртукъ, Васильевъ подумалъ: «Сколько долженъ пережить обыкновенный, простой русскій человѣкъ, прежде чѣмъ судьба забрасываетъ его сюда въ лакея? Гдѣ онъ былъ раньше и что дѣлалъ? Что ждетъ его? Женатъ ли онъ? Гдѣ его мать и знаетъ ли она, что онъ служить тутъ въ лакеяхъ?» И ужъ Васильевъ невольно въ каждомъ домѣ обращалъ свое вниманіе прежде всего на лакея. Въ одномъ изъ домовъ, кажется, въ четвертомъ по счету, былъ лакей маленький,

тщедушный, сухой, съ щечкой на жилеткѣ. Онъ читалъ «Листокъ» и не обратилъ никакого вниманія на вошедшихъ. Поглядѣвъ на его лицо, Васильевъ почему-то подумалъ, что человѣкъ съ такимъ лицомъ можетъ и украсть, и убить, и дать ложную клятву. А лицо въ самомъ дѣлѣ было интересное: большой лобъ, сѣрые глаза, приплюснутый носикъ, мелкія, стиснутыя губы, а выраженіе тупое и въ то же время наглое, какъ у молодой гончей собаки, когда она догоняетъ зайца. Васильевъ подумалъ, что хорошо бы потрогать этого лакея за волосы: жесткіе они или мягкие? Должно-быть, жесткіе, какъ у собаки.

III.

Художникъ оттого, что выпилъ два стакана портеру, какъ-то вдругъ опьянѣлъ и неестественно оживился.

— Пойдемте въ другой!—командовалъ онъ, размахивая руками.—Я васъ поведу въ самый лучшій!

Приведя пріятелей въ тотъ домъ, который, по его мнѣнію, былъ самыи лучшимъ, онъ изъявилъ настойчивое желаніе танцевать кадриль. Медикъ сталъ ворчать на то, что музыкантамъ придется платить рубль, но согласился быть vis-à-vis. Начали танцевать.

Въ самомъ лучшемъ было такъ же нехорошо, какъ и въ самомъ худшемъ. Тутъ были точно такія же зеркала и картины, такія же прически и платья. Осмотрывая обстановку и костюмы, Васильевъ уже понималъ, что это не безвкусіца, а нѣчто такое, что можно назвать вкусомъ и даже стилемъ С—ва переулка и чего нельзя найти нигдѣ въ другомъ мѣстѣ, нѣчто цѣльное въ своемъ безобразіи, не случайное, выработанное временемъ. Послѣ того, какъ онъ побывалъ въ восьми домахъ, его ужъ не удивляли ни цвета платьевъ, ни длинные шлейфы, ни яркіе банты, ни матросскіе костюмы, ни густая фиолетовая окраска щекъ; онъ понималъ, что все это здѣсь такъ и нужно, что если бы хоть одна изъ женщинъ одѣлась по-человѣчески, или если бы на стѣнѣ повѣсили порядочную гравюру, то отъ этого пострадалъ бы общій тонъ всего переулка.

— Какъ неумѣло онъ продаютъ себя! — думалъ онъ.— Неужели онѣ не могутъ понять, что порокъ только тогда обаятеленъ, когда онъ красивъ и прячется, когда онъ носить оболочку добродѣтели? Скромная черная платья, блѣд-

ные лица, печальные улыбки и потемки сильнее действуют, чёмъ эта аляповатая мишуря. Глупы! Если онъ сами не понимаютъ этого, то гости бы ихъ поучили, что ли...

Барышня въ польскомъ костюмѣ съ блѣдой мѣховой опушкой подошла къ нему и сѣла рядомъ съ нимъ.

— Симпатичный брюнетъ, что жъ вы не танцуете?— спросила она.— Отчего вы такой скучный?

— Потому что скучно.

— А вы угостите лафитомъ. Тогда не будетъ скучно.

Васильевъ ничего не отвѣтилъ. Онъ помолчалъ и спросилъ:

— Вы въ которомъ часу ложитесь спать?

— Въ шестомъ.

— А встаете когда?

— Когда въ два, а когда и въ три.

А вставши, что дѣлаете?

— Кофѣй пьемъ, въ седьмомъ часу обѣдаемъ.

— А что вы обѣдаете?

— Обыкновенно... Супъ или щи, бишкѣтъ, десерты. Наша мадамъ хорошо содержать девушки. Да для чего вы все это спрашивается?

— Такъ, чтобъ поговорить...

Васильеву хотѣлось поговорить съ барышней о многомъ. Онъ чувствовалъ сильное желаніе узнать, откуда она родомъ, живы ли ея родители и знаютъ ли они, что она здѣсь, какъ она попала въ этотъ домъ, весела ли и довольна, или же печальна и угнетена мрачными мыслями, надѣется ли выйти когда-нибудь изъ своего настоящаго положенія... Но никакъ онъ не могъ придумать, съ чего начать и какую форму придать вопросу, чтобъ не показаться нескромнымъ. Онъ долго думалъ и спросилъ:

— Вамъ сколько лѣтъ?

— Восемьдесятъ,— сострила барышня, глядя со смѣхомъ на фокусы, какіе выдѣльвалъ руками и ногами плясавшій художникъ.

Вдругъ она чему-то захотела и сказала громко, такъ, что всѣ слышали, длинную циническую фразу. Васильевъ оторопѣлъ и, не зная, какое выраженіе придать своему лицу, напряженно улыбнулся. Улыбнулся только одинъ онъ, всѣ же остальные—его пріятели, музыканты и женщины даже и не взглянули на его сосѣдку, точно не слышали.

— Угостите лафитомъ!— сказала сосѣдка.

Васильевъ почувствовалъ отвращеніе къ ея бѣлои опушкѣ и къ голосу и отошелъ отъ нея. Ему ужъ казалось душно и жарко, и сердце начинало биться медленно, но сильно, какъ молотъ: разъ-два-три!

— Поидемъ отсюда! — сказалъ онъ, дернувъ художника за рукавъ.

— Погоди, дай кончить.

Пока художникъ и медикъ кончали кадриль, Васильевъ, чтобы не глядѣть на женщинъ, осматривалъ музыкантовъ. На рояли игралъ благообразный старикъ въ очкахъ, похожий лицомъ на маршала Базена; на скрипкѣ — молодой человѣкъ съ русой бородкой, одѣтый по послѣдней модѣ. У молодого человѣка было лицо не глупое, не испитое, а наоборотъ, умное, молодое, свѣжее. Одѣтъ онъ былъ прихотливо и со вкусомъ, игралъ съ чувствомъ. Задача: какъ онъ и этаоть приличный, благообразный старикъ попали сюда? отчего имъ не стыдно сидѣть здѣсь? о чёмъ они думаютъ, когда глядятъ на женщинъ?

Если бы на рояли и на скрипкѣ играли люди оборванные, голодные, мрачные, пьяные, съ иссинятыми или тупыми лицами, тогда присутствіе ихъ, быть-можеть, было бы понятно. Теперь же Васильевъ ничего не понималъ. Ему вспоминалась исторія падшей женщины, прочитанная имъ когда-то, и онъ находилъ тсперь, что этотъ человѣческій образъ съ виноватой улыбкой не имѣстъ ничего общаго съ тѣмъ, что онъ теперь видѣть. Ему казалось, что онъ видѣть не падшихъ женщинъ, а какой-то другой, совершенно особый міръ, ему чуждый и непонятный; если бы раньше онъ увидѣль этотъ міръ въ театрѣ на сценѣ, или прочелъ бы о немъ въ книгѣ, то не повѣрилъ бы...

Женщина съ бѣлои опушкой опять захочотала и громко произнесла отвратительную фразу. Гадливое чувство овладѣло имъ, онъ покраснѣль и вышелъ.

— Постой, и мы идемъ! — крикнулъ ему художникъ.

IV.

— Сейчасъ у меня съ моей дамой, пока мы плясали, былъ разговоръ, — разсказывалъ медикъ, когда всѣ трое вышли на улицу. — Рѣчь шла объ ея первомъ романѣ. Онъ, герой — какой-то бухгалтеръ въ Смоленскѣ, имѣющій жену

и пятерыхъ ребята. Ей было 17 лѣтъ и жила она у панаши и мамаша, торгующихъ мыломъ и свѣчами.

— Чѣмъ же онъ побѣдилъ ея сердце? — спросилъ Васильевъ.

— Тѣмъ, что купилъ ей ёлку на пятьдесятъ рублей. Чортъ знаетъ что!

«Однако же, вотъ онъ сумѣлъ выпытать у своей дамы ея романъ, — подумалъ Васильевъ про медика. — А я не умѣю»...—Господа, я ухожу домой!—сказалъ онъ.

Почему?

— Потому что я не умѣю держать себя здѣсь. Къ тому же мнѣ скучно и противно. Что тутъ веселаго? Хоть бы люди были, а то дики и животныя. Я ухожу, какъ угодно.

— Ну, Гриша, Григорій, голубчикъ... — сказалъ плачущимъ голосомъ художникъ, прижимаясь къ Васильеву.— Пойдемъ! Сходимъ еще въ одинъ и будь они прокляты... Пожалуйста! Григоріанцы!

Васильева уговорили и повели вверхъ по лѣстницѣ. Въ коврѣ и въ золоченыхъ перилахъ, въ швейцарѣ, отворившемъ дверь, и въ пано, украшившихъ переднюю, чувствовался все тотъ же стиль С—ва переулка, но усовершенствованный, импонирующей.

— Право, я пойду домой!—сказалъ Васильевъ, снимая пальто.

— Ну, ну, голубчикъ... — сказалъ художникъ и пѣцѣловалъ его въ шею.— Не капризничай... Гри-Гри, будь товарищемъ! Вмѣстѣ пришли, вмѣстѣ и уйдемъ. Какой ты скотъ, право.

— Я могу подождать вѣсъ на улицѣ. Ей-Богу, мнѣ здѣсь противно.

— Ну, ну, Гриша... Противно, а ты наблюдай! Понимаешь? Наблюдай!

— Надо смотрѣть объективно на вещи,—сказалъ серьезно медикъ.

Васильевъ вошелъ въ залу и сѣлъ. Кромѣ него и приятелей, въ залѣ было еще много гостей: два пѣхотныхъ офицера, какой-то сѣдой и лысый господинъ въ золотыхъ очкахъ, два безусыхъ студента изъ межевого института и очень пьяный человѣкъ съ актерскимъ лицомъ. Всѣ барышни были заняты этими гостями и не обратили на Ва-

сильева никакого вниманія. Только одна изъ нихъ, одѣтая Аидой, искаса взглянула на него, чему-то улыбнулась и проговорила, зѣвая:

— Брюнетъ пришелъ...

У Васильева стучало сердце и горѣло лицо. Ему было и стыдно передъ гостями за свое присутствіе здѣсь и гадко, и мучительно. Его мучила мысль, что онъ, порядочный и любящій человѣкъ (такимъ онъ до сихъ порь считалъ себя), ненавидить этихъ женщинъ и ничего не чувствуетъ къ нимъ, кромѣ отвращенія. Ему не было жаль ни этихъ женщинъ, ни музыкантовъ, ни лакеевъ.

«Это оттого, что я не стараюсь понять ихъ,—думалъ онъ. — Всѣ они похожи на животныхъ больше, чѣмъ на людей, но вѣдь они все-таки люди, у нихъ есть души. Надо ихъ понять и тогда ужъ судить»...

— Гриша, ты же не уходи, настѣ подожди! — крикнулъ ему художникъ и исчезъ куда-то.

Скоро исчезъ и медикъ.

«Да, надо постараться понять, а такъ нельзя»... — продолжалъ думать Васильевъ.

И онъ сталъ напряженно вглядываться въ лицо каждой женщины и искать виноватой улыбки. Но — или онъ не умелъ читать на лицахъ, или же ни одна изъ этихъ женщинъ не чувствовала себя виноватою — на каждомъ лицѣ онъ читалъ только тупое выраженіе обыденной, пошлой скучи и довольства. Глупые глаза, глупыя улыбки, рѣзкіе, глупые голоса, наглые движенія — и ничего больше. Повидимому, у каждой въ прошломъ былъ романъ съ бухгалтеромъ и съ бѣльемъ на пятьдесятъ рублей, а въ настоящемъ нѣть другой прелести въ жизни кромѣ кофе, обѣда изъ трехъ блюдъ, вина, кадрили, спанья до двухъ часовъ...

Не найдя ни одной виноватой улыбки, Васильевъ стать искать: нѣтъ ли умнаго лица. И вниманіе его остановилось на одномъ блѣдномъ, немножко сонномъ, утомленномъ лицѣ... Это была немолодая брюнетка, одѣтая въ костюмъ, усыпанный блестками; она сидѣла въ креслѣ, глядѣла въ полъ и о чёмъ-то думала. Васильевъ прошелся изъ угла въ уголъ и точно нечаянно сѣлъ рядомъ съ нею.

«Нужно начать съ чего — нибудь пошлаго, — думалъ онъ: — а потомъ постепенно перейти къ серьезному»... — А

какой у вась хорошенъкій костюмчикъ! — сказаль онъ и коснулся пальцемъ золотой бахромы на косынкѣ.

— Какой есть...—сказала вяло брюнетка.

— Вы изъ какой губерніи?

— Я? Дальня... Изъ Черниговской.

— Хорошая губернія. Тамъ хорошо.

— Тамъ хорошо, ~~гдѣ~~ нась нѣтъ.

«Жаль, что я не умѣю природу описывать, — подумаль Васильевъ. — Можно было бы тронуть ее описаніями черниговской природы. Небось, вѣдь любить, коли родилась тамъ».

— Вамъ здѣсь скучно?—спросилъ онъ.

— Извѣстно, скучно.

— Отчего же вы не уходите отсюда, если вамъ скучно?

— Куда жъ я уйду? Милостыню просить, что ли?

— Милостыню просить легче, чѣмъ жить здѣсь.

— А вы откуда знаете? Ненито вы просили?

— Просилъ, когда нечѣмъ было платить за ученье. Хотя бы даже не просилъ, это такъ понятно. Ницкій, какъ бы ни было, свободный человѣкъ, а вы раба.

Брюнетка потянулась и проводила сонными глазами лакея, который несъ на подносѣ стаканы и сельтерскую воду.

— Угостите портеромъ, — сказала она и опять зѣвила.

«Портеромъ... — подумаль Васильевъ. — А что если бы сейчасъ вошелъ сюда твой братъ или твоя мать? Что бы ты сказала? А что сказали бы они? Быль бы тогда портеръ, воображаю»...

Вдругъ послышалася илачъ. Изъ сосѣдней комнаты, куда лакей понесъ сельтерскую, быстро вышелъ какой-то блондинъ съ краснымъ лицомъ и сердитыми глазами. За нимъ шла высокая, полная хозяйка и кричала визгливымъ голосомъ:

— Никто вамъ не позволялъ бить дѣвушекъ по щекамъ! У насть бывають гости получше васть, да не дерутся! Шарлатаны!

Поднялся шумъ. Васильевъ испугался и побѣдиѣль. Въ сосѣдней комнатѣ плакали навзрыдъ, искренно, какъ плачутъ оскорбленные. И онъ понялъ, что въ самомъ дѣлѣ, тутъ живутъ люди, настоящіе люди, которые, какъ вездѣ, оскорбляются, страдаютъ, плачутъ, просятъ помощи... Тя-

желая ненависть и гадливое чувство уступили свое мѣсто острому чувству жалости и злобы на обидчика. Онъ бросился въ ту комнату, где плакали; сквозь ряды бутылокъ, стоявшихъ на мраморной доскѣ стола, онъ разглядѣлъ страдальческое, мокрое отъ слезъ лицо, протянутое къ этому лицу руки, сдѣлалъ шагъ къ столу, но тотчасъ же въ ужасѣ отскочилъ назадъ. Плачущая была пьяна.

Пробираясь сквозь шумную толпу, собравшуюся вокругъ блондина, онъ пальмъ духомъ, струсили, какъ мальчикъ, и ему казалось, что въ этомъ чужомъ, непонятномъ для него мірѣ хотятъ гнаться за нимъ, бить его, осыпать грязными словами... Онъ сорвалъ съ вѣшалки свое пальто и бросился опрометью внизъ по лѣстницѣ.

V.

Прижавшись къ забору, онъ стоялъ около дома и ждалъ, когда выйдутъ его товарищи. Звуки роялей и скрипокъ, веселые, удалые, наглые и грустные, путались въ воздухѣ въ какой-то хаосъ, и эта путаница попрежнему походила на то, какъ будто въ потемкахъ надъ крышами настраивался невидимый оркестръ. Если взглянуть вверхъ на эти потемки, то весь черный фонъ былъ усыпанъ бѣлыми движущимися точками: это щель снѣгъ. Хлопья его, попавъ въ свѣтъ, лѣниво кружились въ воздухѣ, какъ пухъ, и еще лѣнивѣе падали на землю. Снѣжинки кружились толпой около Васильева и висли на его бородѣ, рѣсницахъ, бровяхъ... Извозчики, лошади и прохожіе были бѣлы.

«И какъ можетъ снѣгъ падать въ этотъ переулокъ!— думалъ Васильевъ.— Будь прокляты эти дома!

Оттого, что онъ сбѣжалъ внизъ по лѣстницѣ, ноги подгиблись отъ усталости; онъ задыхался, точно взбирался на гору, сердце стучало такъ, что было слышно. Его томило желаніе скорѣе выбраться изъ переулка и идти домой, но еще сильнѣе хотѣлось дождаться товарищей и сорвать на нихъ свое тяжелое чувство.

Онъ многаго не понялъ въ домахъ, души погибающихъ женщинъ остались для него попрежнему тайной, но для него ясно было, что дѣло гораздо хуже, чѣмъ можно было думать. Если та виноватая женщина, которая отравилась, называлась падшюю, то для всѣхъ этихъ, которыхъ плясали теперь подъ звуковую путаницу и говорили длинныя отвра-

тительныя фразы, трудно было подобрать подходящее название. Это были не погибающие, а уже погибшие.

«Порокъ есть, — думалъ онъ: — но нѣть ни сознанія вины, ни надежды на спасеніе. Ихъ продаются, покупаются, топятъ въ винѣ и въ мерзостяхъ, а онѣ, какъ овцы, тупы, равнодушны и не понимаютъ. Боже мой, Боже мой!»

Для него также ясно было, что все то, что называется человѣческимъ достоинствомъ, личностью, образомъ и подобиемъ Божімъ, осквернено тутъ до основанія, «въ-дрязгъ», какъ говорятъ пьяницы, и что виноваты въ этомъ не одинъ только переулокъ да тупыя женщины.

Толпа студентовъ, бѣлыхъ отъ снѣга, весело разговаривая и со смѣхомъ, прошла мимо него. Одинъ изъ нихъ, высокий и тонкий, остановился, заглянулъ Васильеву въ лицо и сказалъ пьянымъ голосомъ:

— Нашъ! Налимонился, братъ? Ага-га, братъ! Ничего, гуляй! Валяй! Не унывай, дядя!

Онъ взялъ Васильева за плечи и прижался къ его щекѣ мокрыми холодными усами, потомъ поскользнулся, покачнулся и, взмахнувъ обѣими руками, крикнулъ:

— Держись! Не падай!

И засмѣявшись, побѣжалъ догонять своихъ товарищѣй.

Сквозь шумъ послышался голосъ художника:

— Вы не смѣете бить женщинъ! Я вамъ не позволю, чортъ васъ подери! Негодяи вы этакіе!

Въ дверяхъ дома показался медикъ. Онъ поглядѣлъ по сторонамъ и, увидѣвъ Васильева, сказалъ встревоженно:

— Ты здѣсь? Послушай, ей-Богу, съ Егоромъ положительно невозможно никакуда ходить! Что это за человѣкъ, не понимаю! Скандалъ затѣялъ! Слышишь? Егоръ! — крикнулъ онъ въ дверь: — Егоръ!

— Я вамъ не позволю бить женщинъ! — раздался наверху пронзительный голосъ художника.

Что-то тяжелое и громоздкое покатилось внизъ по лѣстницѣ. Это художникъ лѣтѣлъ кубаремъ внизъ. Его, очевидно, вытолкали.

Онъ поднялся съ земли, отряхнулъ шляпу и со злымъ, негодующимъ лицомъ погрозилъ вверхъ кулакомъ и крикнулъ:

— Подлецы! Живодеры! Кровопийцы! Я не позволю вамъ бить! Бить слабую, пьяную женщину! Ахъ, вы...

— Егоръ... Ну, Егоръ... — началъ умолять медикъ. — Даю

тебѣ честное слово, ужъ больше никогда не ийду съ тобою въ другой разъ. Честное слово!

Художникъ мало-по-малу успокоился, и пріятели пошли домой.

— Невольно къ этимъ грустнымъ берегамъ,—запѣлъ медикъ:—меня влечеть невѣдомая сила...

— Вотъ мельница...—подтянуль, немного погодя художникъ.—Она ужъ развалилась... Экій снѣгъ валить, Мать Пресвятая! Гришка, отчего ты ушелъ? Трусь ты, баба и больше ничего.

Васильевъ ишель позади пріятелей, глядѣль имъ въ спины и думалъ:

«Что-нибудь изъ двухъ: или намъ только кажется, что проституція — зло, и мы преувеличиваемъ, или же, если проституція въ самомъ дѣлѣ такое зло, какъ принято думать, то эти мои милые пріятели такие же рабовладѣльцы, насильники и убийцы, какъ тѣ жители Сиріи и Каира, которыхъ рисуютъ въ «Нивѣ». Они теперь поютъ, хохочутъ, здраво разсуждаютъ, но развѣ не они сейчасъ эксплоатировали голодъ, невѣжество и тупость? Они — я былъ свидѣтелемъ. При чемъ же тутъ ихъ гуманность, медицина, живопись? Науки, искусства и возвышенныя чувства этихъ душегубовъ напоминаютъ мнѣ сало въ одномъ анекдотѣ. Два разбойника зарѣзали въ лѣсу нищаго; стали дѣлить между собою его одежду и нашли въ сумкѣ кусокъ свиного сала. «Очень кстати,—сказалъ одинъ изъ нихъ:—давай закусимъ». — «Что ты, какъ можно? — ужаснулся другой. — Развѣ ты забылъ, что сегодня среда?» И не стали ъсть. Они, зарѣзавши человѣка, вышли изъ лѣсу съувѣренностью, что они постники. Такъ и эти, купивши женщинъ, идутъ и думаютъ теперъ, что они художники и ученые...»

— Послушайте, вы! — сказалъ онъ сердито и рѣзко. — Зачѣмъ вы сюда ходите? Неужели, неужели вы не понимаете, какъ это ужасно? Ваша медицина говоритъ, что каждая изъ этихъ женщинъ умираетъ преждевременно отъ чахотки, или чего-нибудь другого; искусства говорять, что морально она умираетъ еще раньше. Каждая изъ нихъ умираетъ оттого, что на своеемъ вѣку принимаетъ среднимъ числомъ, допустимъ, пятьсотъ человѣкъ. Каждую убиваетъ пятьсотъ человѣкъ. Въ числѣ этихъ пятисотъ — вы! Теперъ, если вы оба за всю

жизнь побываете здѣсь и въ другихъ подобныхъ мѣстахъ по двѣsti пятьдесятъ разъ, то значить на обоихъ вѣсѣ придется одна убитая женщина! Развѣ это не понятно? Развѣ не ужасно? Убить вдвоемъ, втроемъ, виатеромъ одну глупую, голодную женщину! Ахъ, да развѣ это не ужасно, Боже мой?

— Такъ и зналъ, что этимъ кончится,—сказалъ художникъ, морщаъ.—Не слѣдовало бы связываться съ этимъ дуракомъ и болваномъ! Ты думаешьъ, что теперь у тебя въ головѣ великия мысли, идеи? Нѣть, чортъ знаетъ что, а не идеи! Ты сейчасъ смотришь на меня съ ненавистью и съ отвращеніемъ, а по-моему лучше бы ты построилъ еще двадцать такихъ домовъ, чѣмъ глядѣть такъ. Въ этомъ твоемъ взглѣдѣ большие порока, чѣмъ во всемъ переулкѣ! Пойдемъ, Володя, чортъ съ нимъ! Дуракъ, болванъ и большие ничего...

— Мы, люди, убиваемъ взаимно другъ друга,—сказалъ медикъ.—Это, конечно, безнравственно,—но философіей тутъ не поможешь. Прощай!

На Трубной площади пріятели простились и разошлись. Оставшись одинъ, Васильевъ быстро зашагалъ по бульвару. Ему было страшно потемокъ, страшно снѣга, который хлопьями валилъ на землю и, казалось, хотѣлъ засыпать весь міръ; страшно было фонариныхъ огней, блѣдно мерцающихъ сквозь снѣговыя облака. Душою его овладѣлъ безотчетный, малодушный страхъ. Попадались изрѣдка на-встрѣчу прохожіе, но онъ пугливо сторонился отъ нихъ. Ему казалось, что отовсюду идутъ и отовсюду глядятъ на него женщины, только женщины...

«Начинается у меня,—думалъ онъ.—Принадохъ начинаться...»

VI.

Дома лежалъ онъ на кровати и говорилъ, содрогаясь всѣмъ тѣломъ:

— Живыя! Живыя! Боже мой, онѣ живыя!

Онъ всячески изощрялъ свою фантазію воображая себѣ самого то братомъ падией женщины, то отцомъ ея, то самою падией женщиною съ намазанными щеками, и все это приводило его въ ужасъ.

Ему почему-то казалось, что онъ долженъ рѣшить во-

прось немедленно, во что бы то ни стало, и что вопросъ этот не чужой, а его собственный. Онъ напрягъ силы, побороль въ себѣ отчаяніе и, сѣвши на кровать, обиять руками голову, сталъ рѣшать: какъ спасти всѣхъ, тѣхъ женщинъ, которыхъ онъ сегодня видѣлъ? Порядокъ рѣшенія всякихъ вопросовъ ему, какъ человѣку ученому, былъ хорошо известенъ. И онъ, какъ ни былъ возбужденъ, строго держался этого порядка. Онъ припомнилъ исторію вопроса, его литературу, а въ четвертомъ часу шагалъ изъ угла въ уголь и старался вспомнить все тѣ опыты, какіе въ настоящее время практикуются для спасенія женщинъ. У него было очень много хорошихъ пріятелей и друзей, жившихъ въ номерахъ Фальцфейнъ, Галлякина, Нечаева, Ечкина... Между ними не мало людей честныхъ и самоотверженыхъ. Нѣкоторые изъ нихъ пытались спасать женщинъ...

«Всѣ эти немногочисленныя попытки, — думалъ Васильевъ: — можно раздѣлить на три группы. Одни, выкупивъ изъ притона женщину, нанимали для нея номеръ, покупали ей швейную машину, и она дѣлалась швеей. И выкупившій, вольно или невольно, дѣлалъ ее своей содер-жанкой, потомъ, кончивъ курсъ, уѣзжалъ и сдавалъ ее на руки другому порядочному человѣку, какъ какую-нибудь вещь. И падшая оставалась падищею. Другіе, выкупивъ, тоже нанимали для нея отдельный номеръ, покупали неизбѣжную швейную машинку, пускали въ ходъ грамоту, проповѣди, чтеніе книжекъ. Женщина жила и шила, пока это для нея было интересно и ново, потомъ же, соскучившись, начинала тайкомъ отъ проповѣдниковъ принимать мужчинъ, или же уѣгала назадъ туда, где можно спать до трехъ часовъ, пить кофе и сытно обѣдать. Третья, самые горячіе и самоотверженные, дѣлали смѣлый, рѣши-тельный шагъ. Они женились. И когда наглое, избалованное, или тупое, забитое животное становилось женю, хозяйствкой и потомъ матерью, то это переворачивало вверхъ дномъ ея жизнь и міровоззрѣніе, такъ что потомъ въ женѣ и въ матери трудно было узиатъ бывшую падшую женщину. Да, женитьба лучшее, и пожалуй, единственное средство».

— Но невозможное! — сказалъ вслухъ Васильевъ и по-валился въ постель.— Я первый не могъ бы жениться! Для этого надо быть святымъ, не умѣть ненавидѣть и не знать

отвращенія. Но допустимъ, что я, медикъ и художникъ пересилили себя и женились, что всѣ онѣ выйдутъ замужъ. Но какой же выводъ? Выводъ какой? А тотъ выводъ, что пока здѣсь, въ Москвѣ, онѣ будутъ выходить замужъ, смоленскій бухгалтеръ развратитъ новую партію, и эта партія хлынетъ сюда на вакантныя мѣста съ саратовскими, нижегородскими, варшавскими... А куда дѣвать сто тысячъ лондонскихъ? Куда дѣвать гамбургскихъ?

Лампа, въ которой выгорѣлъ керосинъ, стала чадить. Васильевъ не замѣтилъ этого. Онъ опять зашагать, продолжая думать. Теперь ужъ онъ поставилъ вопросъ иначе: что нужно сдѣлать, чтобы падшія женщины перестали быть нужны? Для этого необходимо, чтобы мужчины, которые ихъ покупаютъ и убиваютъ, почувствовали всю безправственность своей рабовладѣльческой роли и ужаснулись. Надо спасать мужчинъ.

«Наукой и искусствами, очевидно, ничего не подѣлаешь...— думалъ Васильевъ.— Тутъ единственный выходъ— это апостольство».

И онъ сталъ мечтать о томъ, какъ завтра же вечеромъ онъ будетъ стоять на углу переулка и говорить каждому прохожему:

Куда и затѣмъ вы идете? Побойтесь вы Бога!

Онъ обратится къ равнодушнымъ извозчикамъ и имъ скажетъ:

— Зачѣмъ вы тутъ стоите? Отчего же вы не возмущаетесь, не негодуете? Вѣдь вы вѣруете въ Бога и знаете, что это грѣшино, что за это люди пойдутъ въ адъ, отчего же вы молчите? Иправда, онѣ вамъ чужія, но вѣдь и у нихъ есть отцы, братья, точно такие же, какъ вы...

Кто-то изъ пріятелей сказалъ однажды про Васильева, что онъ талантливый человѣкъ. Есть таланты писательскіе, сценическіе, художническіе, у него же особый талант— *человѣческій*. Онъ обладаетъ тонкимъ, великодушнымъ чутиемъ къ боли вообще. Какъ хороший актеръ отражаетъ въ себѣ чужія движения и голосъ, такъ Васильевъ умѣеть отражать въ своей душѣ чужую боль. Увидѣвъ слезы, онъ плачетъ; около больного онъ самъ становится больнымъ и стонетъ; если видѣть насилие, то ему кажется, что насилие совершается надъ нимъ, онъ труситъ какъ мальчикъ и,

струсивъ, бѣжитъ на помощь. Чужая боль раздражаетъ его, возбуждаетъ, приводить въ состояніе экстаза и т. п.

Правъ ли пріятель — не знаю, но то, что переживалъ Васильевъ, когда ему казалось, что вопросъ рѣшенъ, было очень похоже на вдохновеніе. Онъ плакалъ, смѣялся, говорилъ вслухъ тѣ слова, какія онъ скажетъ завтра, чувствовалъ горячую любовь къ тѣмъ людямъ, которые послушаются его и станутъ рядомъ съ нимъ на углу переулка, чтобы проповѣдывать; онъ садился писать письма, давалъ себѣ клятвы...

Все это было похоже на вдохновеніе ужъ и потому, что продолжалось недолго. Васильевъ скоро усталъ. Лондонскія, гамбургскія, варшавскія своею массою давили его, какъ горы давятъ землю; онъ робѣлъ передъ этой массой, терялся; вспоминаль онъ, что у него нѣть дара слова, что онъ трусливъ и малодушенъ, что равнодушные люди едва ли захотятъ слушать и понимать его, студента-юриста третьаго курса, человѣка робкаго и ничтожнаго, что истинное апостольство заключается не въ одной только проповѣди, но и въ дѣлахъ...

Когда было свѣтло и на улицѣ уже стучали экипажи, Васильевъ лежалъ неподвижно на диванѣ и смотрѣлъ въ одну точку. Онъ уже не думалъ ни о женщинахъ, ни о мужчинахъ, ни объ апостольствѣ. Все вниманіе его было обращено на душевную боль, которая мучила его. Это была боль тупая, безпредметная, неопределенная, похожая и на тоску, и на страхъ въ высочайшей степени, и на отчаяніе. Указать, гдѣ она, онъ могъ: въ груди, подъ сердцемъ; но сравнить ее нельзя было ни съ чѣмъ. Раньше у него бывала сильная зубная боль, бывали плеврить и невралгіи, но все это въ сравненіи съ душевной болью было ничтожно. При этой боли жизнь представлялась отвратительной. Диссертациѣ, отличное сочиненіе, уже написанное имъ, любимые люди, спасеніе погибающихъ женщинъ — все то, что вчера еще онъ любилъ, или къ чему былъ равнодушенъ, теперь при воспоминаніи раздражало его наравнѣ съ шумомъ экипажей, бѣготней коридорныхъ, дневнымъ свѣтомъ... Если бы теперь кто-нибудь на его глазахъ совершилъ подвигъ милосердія или возмутительное насилие, то на него то и другое произвело бы одинаково отвратительное впечатлѣніе. Изъ всѣхъ мыслей, лѣниво бродившихъ въ его

головѣ, только двѣ не раздражали его: одна—что онъ каждую минуту имѣть власть убить себя, другая—что боль не будетъ продолжаться дольше трехъ дней. Второе онъ зналъ по опыту.

Полежавъ, онъ всталъ и, ломая руки, прошелся не изъ угла въ уголъ, какъ обыкновенно, а по квадрату, вдоль стѣнъ. Мелькомъ онъ поглядѣлъ на себя въ зеркало. Лицо его было блѣдно и осунулось, виски впали, глаза были большие, темнѣе, неподвижнѣе, точно чужіе, и выражали невыносимое душевное страданіе.

Въ полдень въ дверь постучался художникъ.

— Григорій, ты дома?—спросилъ онъ.

Не получивъ отвѣта, онъ постоялъ минуту, подумалъ и отвѣтилъ себѣ по-хозяйски:

— Нема. Въ нивырситетъ пішовъ, треклятый хлопецъ.

И ушелъ. Васильевъ легъ на кровать и, спрятавъ голову подъ подушку, сталъ плакать отъ боли, и чѣмъ обильнѣй лились слезы, тѣмъ ужаснѣ становилась душевная боль. Когда потемнѣло, онъ вспомнилъ о той мучительной ночи, которая ожидала его, и страшное отчаяніе овладѣло имъ. Онъ быстро одѣлся, выбѣжалъ изъ номера и, оставивъ свою дверь настежь, безъ всякой надобности и цѣли вышелъ на улицу. Не спрашивая себя, куда идти, онъ быстро пошелъ по Садовой улицѣ.

Снѣгъ валилъ, какъ вчера; была оттепель. Засунувъ руки въ рукава, дрожа и пугаясь стуковъ, звонковъ конки и прохожихъ, Васильевъ прошелъ по Садовой до Сухаревой башни, потомъ до Красныхъ воротъ, отсюда свернулъ на Басманную. Онъ зашелъ въ кабакъ и выпилъ большой стаканъ водки, но отъ этого не стало легче. Дойдя до Разгуляя, онъ повернулъ вправо и зашагалъ по переулкамъ, въ какихъ не было раньше ни разу въ жизни. Онъ дошелъ до того старого моста, гдѣ шумитъ Яузу и откуда видны длинные ряды отней въ окнахъ Красныхъ казармъ. Чтобы отвлечь свою душевную боль какимъ-нибудь новымъ ощущеніемъ или другою болью, не зная, что дѣлать, плача и дрожа, Васильевъ разстегнулъ пальто и сюртукъ и подставилъ свою голую грудь сырому снѣгу и вѣтру. Но и это не уменьшило боли. Тогда онъ нагнулся черезъ перила моста и поглядѣлъ внизъ, на черную, бурливую Яузу, и ему захотѣлось броситься внизъ головой, не изъ отвраще-

нія къ жизни, не ради самоубийства, а чтобы хотя ушибиться и одною болью отвлечь другую. Но черная вода, по темки, пустынные берега, покрытые снѣгомъ, были страшны. Онъ содрогнулся и пошелъ дальше. Прошелся онъ вдоль Красныхъ казармъ, потомъ назадъ и спустился въ какую-то рощу, изъ рощи опять на мостъ...

«Нѣть, домой, домой! — думалъ онъ. — Дома, кажется, легче»...

И онъ пошелъ назадъ. Вернувшись домой, онъ сорвалъ съ себя мокре пальто и шапку, зашагалъ вдоль стѣнь и неутомимо шагалъ до самаго утра.

VII.

Когда на другой день утромъ пришли къ нему художникъ и медикъ, онъ въ разодранной рубахѣ и съ искусанными руками метался по комнатѣ и стональ отъ боли.

— Ради Бога! — зарыдалъ онъ, увидѣвъ пріятелей. — Ведите меня, куда хотите, дѣлайте что знаете, но, Бога ради, скорѣе спасайте меня! Я убью себя!

Художникъ побѣдили и растерялся. Медикъ тоже едва не заплакалъ, но, полагая, что медики во всѣхъ случаяхъ жизни обязаны быть хладнокровны и серьезны, сказать холодно:

— Это у тебя припадокъ. Но это ничего. Пойдемъ сейчасъ къ доктору.

— Куда хотите, только ради Бога, скорѣй!

— Ты не волнуйся. Нужно бороться съ собой.

Художникъ и медикъ дрожащими руками одѣли Васильева и вывели его на улицу.

— Михаилъ Сергеичъ давно уже хочетъ съ тобой познакомиться, — говорилъ дорогою медикъ. — Онъ очень милый человѣкъ и отлично знаетъ свое дѣло. Кончилъ онъ въ 82 году, а практика уже громадная. Со студентами держитъ себя по-товарищески.

— Скорѣе, скорѣе... — торопилъ Васильевъ.

Михаилъ Сергеичъ, полный, бѣлокурый докторъ, встрѣтилъ пріятелей учтиво, солидно, холодно и улыбнулся одной только щекой.

— Мы художникъ и Майеръ говорили уже о вашей болѣзни, — сказалъ онъ. — Очень радъ служить. Ну-съ? Садитесь, покорнѣйше прошу...

Онъ усадилъ Васильева въ большое кресло около стола и придинулъ къ нему ящикъ съ папиросами.

— Ну-съ?—началь онъ, поглаживая колѣни.—Приступимъ къ дѣлу... Сколько вамъ лѣть?

Онъ задавалъ вопросы, а **мѣдикъ** отвѣчалъ. Онъ спросилъ, не былъ ли отецъ Васильева боленъ какими-нибудь особенными болѣзнями, не пилъ ли запоемъ, не отличался ли жестокостью или какими-либо странностями. То же самое спросилъ о его **дѣдѣ**, матери, сестрахъ и братьяхъ. Узнавъ, что его мать имѣла отличный голосъ и играла иногда въ театрѣ, онъ вдругъ ожидалъ и спросилъ:

— Виновать-съ, а не припомните ли, не былъ ли театръ у вашей матушки страстью?

Прошло минутъ двадцать. Васильеву наскучило, что докторъ поглаживаетъ колѣни и говорить все объ одномъ и томъ же.

— Насколько я понимаю ваши вопросы, докторъ,—сказалъ онъ:—вы хотите знать, наследственна моя болѣзнь, или нѣтъ. Она не наследственна.

Далѣе докторъ спросилъ, не было ли у Васильева въ молодости какихъ-либо тайныхъ пороковъ, ушибовъ головы, увлеченій, странностей, исключительныхъ пристрастій. На половину вопросовъ, какіе обыкновенно задаются старательными докторами, можно не отвѣтить безъ всякаго ущерба для здоровья; но у Михаила Сергеевича, у медика и художника были такія лица, какъ будто, если бы Васильевъ не отвѣтилъ хотя бы на одинъ вопросъ, то все бы погибло. Получая отвѣты, докторъ для чего-то записывалъ ихъ на бумажкѣ. Узнавъ, что Васильевъ кончилъ уже на естественномъ факультетѣ и теперь на юридическомъ, докторъ задумался...

— Въ прошломъ году онъ написалъ отличное сочиненіе...—сказалъ **мѣдикъ**.

— Виновать, не перебивайте меня, вы мѣшааете мнѣ сосредоточиться,—сказалъ докторъ и улыбнулся одной щекой.—Да, конечно, и это играетъ роль въ анамнезѣ. Формированная умственная работа, переутомленіе... Да, да... А водку вы пьете?—обратился онъ къ Васильеву.

— Очень рѣдко.

Прошло еще двадцать минутъ. Медикъ сталъ вполголоса высказывать свое мнѣніе о ближайшихъ причинахъ при-

падка и рассказалъ, какъ третьяго дня онъ, художникъ и Васильевъ ходили въ С—въ переулокъ.

Равнодушный, сдержанній, холодный тонъ, какимъ его пріятели и докторъ говорили о женщинахъ и о несчастномъ переулкѣ, показался ему въ высшей степени страннымъ...

— Докторъ, скажите мнѣ только одно,—сдерживая себя, чтобы не быть грубымъ, сказалъ онъ: — проституція зло, или нѣтъ?

— Голубчикъ, кто жъ спорить?—сказалъ докторъ съ такимъ выраженіемъ, какъ будто давио уже рѣшилъ для себя всѣ эти вопросы.—Кто спорить?

— Вы психіатръ?—спросилъ грубо Васильевъ.

— Да-сь, психіатръ.

— Можетъ-быть, всѣ вы и правы!—сказалъ Васильевъ, поднимаясь и начиная ходить изъ угла въ уголъ. — Можетъ-быть! Но мнѣ все это кажется удивительнымъ! Что я былъ на двухъ факультетахъ — въ этомъ видѣть подвигъ; за то, что я написалъ сочиненіе, которое черезъ три года будетъ брошено и забудется, меня превозносятъ до небесъ, а за то, что о падшихъ женщинахъ я не могу говорить такъ же хладнокровно, какъ объ этихъ стульяхъ, меня лѣчать, называютъ сумасшедшими, сожалѣютъ!

Васильеву почему-то вдругъ стало невыносимо жаль и себя, и товарищей, и всѣхъ тѣхъ, которыхъ онъ видѣлъ третьяго дня, и этого доктора, онъ заплакалъ и упалъ въ кресло.

Пріятели вопросительно глядѣли на доктора. Тотъ съ такимъ выражениемъ, какъ будто отлично понималъ и слезы, и отчаяніе, какъ будто чувствовалъ себя специалистомъ по этой части, подошелъ къ Васильеву и молча далъ ему выпить какихъ-то капель, а потомъ, когда онъ успокоился, раздѣль его и стала изслѣдоватъ чувствительность его кожи, колѣнныя рефлексы и проч.

И Васильеву полегчало. Когда онъ выходилъ отъ доктора, ему уже было совсѣмъ, шумъ экипажей не казался раздражительнымъ и тяжесть подъ сердцемъ становилась все легче и легче, точно таяла. Въ рукахъ у него было два рецепта: на одномъ былъ бромистый калій, на другомъ морфій... Все это принималъ онъ и раньше!

На улицѣ онъ постоялъ немножко, подумалъ и, простиившись съ пріятелиами, лживо поплелся къ университету.

ШАМПАНСКОЕ.

(РАЗСКАЗЪ ПРОХОДИМЦА.)

Въ тотъ годъ, съ котораго начинается мой разсказъ, я служилъ начальникомъ полустанка на одной изъ нашихъ юго-западныхъ желѣзныхъ дорогъ. Весело мнѣ жилось на полустанкѣ или скучно, вы можете видѣть изъ того, что на 20 верстъ вокругъ не было ни одного человѣческаго жилья, ни одной женщины, ни одного порядочнаго кабака, а я въ тѣ поры былъ молодъ, крѣпокъ, горячъ, взбалмошнъ и глупъ. Единственнымъ развлечениемъ могли быть только окна пассажирскихъ поѣздовъ да поганая водка, въ которую жиды подмѣшивали дурманъ. Бывало, мелькнетъ въ окнѣ вагона женская головка, а ты стоишь, какъ статуя, не дышишь и глядишь до тѣхъ поръ, пока поѣздъ не обратится въ едва видимую точку; или же выпьешь, сколько влѣзть, противной водки, очертеніешь и не чувствуешь, какъ бѣгутъ длинные часы и дни. На меня, уроженца сѣвера, степь дѣйствовала, какъ видѣ заброшеннаго татарскаго кладбища. Лѣтомъ она со своимъ торжественнымъ покоемъ — этотъ монотонный трескъ кузнечиковъ, прозрачный лунный свѣтъ, отъ котораго никуда не спрячешься, — наводила на меня унылую грусть, а зимою безукоризненная бѣлизна степи, ся холодная даль, длинныя ночи и волчій вой давили меня тяжелымъ кошмаромъ.

На полустанкѣ жило нѣсколько человѣкъ: я съ женой, глухой и золотушной телеграфистъ да три сторожа. Мой помощникъ, молодой, чахоточный человѣкъ, ъздалъ лѣгчиться въ городъ, гдѣ жилъ по цѣлымъ мѣсяцамъ, пред-

оставляя мнѣ свои обязанности вмѣстѣ съ правомъ пользоваться его жалованьемъ. Дѣтей у меня не было, гостей, бывало, ко мнѣ никакимъ калачомъ не заманишь, а самъ я могъѣздить въ гости только къ сослуживцамъ по линіи, да и то не чаще одного раза въ мѣсяцъ. Вообще, прескучнѣйшая жизнь.

Помню, встрѣчать я съ женою Новый годъ. Мы сидѣли за столомъ, лѣниво жевали и слушали, какъ въ сосѣдней комнатѣ монотонно постукивалъ на свое мѣсто аппаратъ глухой телеграфистъ. Я уже выпилъ рюмокъ пять водки съ дурманомъ и, подперевъ свою тяжелую голову кулакомъ, думалъ о своей непобѣдимой, невыразимой скучѣ, а жена сидѣла рядомъ и не отрывала отъ моего лица глазъ. Глядѣла она на меня такъ, какъ можетъ глядѣть только женщина, у которой на этомъ свѣтѣ нѣть ничего, кромѣ красиваго мужа. Любила она меня безумно, рабски и не только мою красоту, или душу, но мои грѣхи, мою злобу и скучу, и даже мою жестокость, когда я въ пьяномъ изступленіи, не зная на комъ излить свою злобу, терзаль ее попреками.

Несмотря на скучу, которая ъла меня, мы готовились встрѣтить Новый годъ съ необычайной торжественностью и ждали полночи съ нѣкоторымъ нетерпѣніемъ. Дѣло въ томъ, что у насъ были припасены ~~две~~ бутылки шампанскаго, самаго настоящаго, съ ярлыкомъ вдовы Клико; это сокровище я выигралъ на пари еще осенью у начальника дистанціи, гуляя у него на крестинахъ. Бываетъ, что во время урока математики, когда даже воздухъ стынетъ отъ скучи, въ классъ со двора влетаетъ бабочка; мальчуганы встряхиваютъ головами и начинаютъ съ любопытствомъ следить за полетомъ, точно видѣть передъ собой не бабочку, а что-то новое, странное; такъ точно и обыкновенное шампанское, попавъ случайно въ нашъ скучный полустанокъ, забавляло насъ. Мы молчали и поглядывали то на часы, то на бутылки.

Когда стрѣлка показывала безъ пяти двѣнадцать, я стала медленно раскупоривать бутылку. Не знаю, ослабѣлъ ли я отъ водки, или же бутылка была слишкомъ влажна, но только помню, когда пробка съ трескомъ полетѣла къ потолку, моя бутылка выскоцила у меня изъ рукъ и упала на полъ. Пролилось вина не болѣе стакана, такъ какъ я

успѣль подхватить бутылку и заткнуть ей шиняще горло пальцемъ.

— Ну, съ Новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ! — сказа-
заль я, наливая два стакана.— Пей.

Жена взяла свой стаканъ и уставилась на меня испу-
ганными глазами. Лицо ея поблѣдѣло и выражало ужасъ.

— Ты урониаъ бутылку? — спросила она.

— Да, уронилъ. Ну, такъ что же изъ этого?

— Нехорошо, — сказала она, ставя свой стаканъ и еще
больше блѣдиаъ. — Нехорошая примѣта. Это значить, что
въ этомъ году съ нами случится что-нибудь недобroe.

— Какая ты баба! — вздохнула я. — Умная женщина, а
бредишь, какъ старая нянька. Пей.

— Дай Богъ, чтобы я бредила, но... неизрѣмѣнно слу-
чится что-нибудь! Вотъ увидишь!

Она даже не пригубила своего стакана, отошла въ сто-
рону и задумалась. Я сказаъ иѣсколько старыхъ фразъ
насчетъ предразсудковъ, выпилъ полбутылки, пошагалъ
изъ угла въ уголь и вышелъ.

На дворѣ во всей своей холодной, нелюдимой красѣ
стояла тихая морозная ночь. Луна и около нея два бѣлыхъ
пушистыхъ облачка неподвижно, какъ приклеенныя, висѣли
въ вышинѣ надъ самымъ полустанкомъ и какъ будто чего-
то ждали. Отъ нихъ шелъ легкій прозрачный свѣтъ и
нѣжно, точно боясь оскорбить стыдливость, касался бѣлой
земли, осѣвшиа все: сугробы, насыпи... Было тихо.

Я шелъ вдоль насыпи.

«Глупая женщина! — думалъ я, глядя на небо, усыпан-
ное яркими звѣздами. — Если даже допустить, что примѣты
иногда говорятъ правду, то что же недобroe можетъ слу-
читься съ нами? Тѣ несчастья, которыя уже испытаны и
которыя есть теперь налицо, такъ велики, что трудно
придумать что-нибудь еще хуже. Какое еще зло можно
причинить рыбѣ, которая уже поймана, изжарена и подана
на столъ подъ соусомъ?»

Тополь, высокий, покрытый инеемъ, показался въ синеватой мглѣ, какъ великанъ, одѣтый въ саванъ. Онъ по-
глядѣль на меня сурово и уныло, точно, подобно мнѣ, по-
нималъ свое одиночество. Я долго глядѣль на него.

«Молодость моя погибла ни за гроши, какъ ненужный
окурокъ, — продолжалъ я думать. — Родители мои умерли,

когда я былъ еще ребенкомъ, изъ гимназіи меня выгнали. Родился я въ дворянской семье, но не получилъ ни воспитанія, ни образованія, и знаній у меня не больше, чѣмъ у любого смазчика. Нѣтъ у меня ни приюта, ни близкихъ, ни друзей, ни любимаго дѣла. Ни на что я неспособенъ и въ расцвѣтѣ силъ сгодился только на то, чтобы мною заткнули мѣсто начальника полустанка. Кромѣ неудачъ и бѣдъ, ничего другого не зналъ я въ жизни. Что же еще недобroe можетъ случиться?»

Вдали показались красные огни. Мнѣ навстрѣчу шелъ поѣздъ. Уснувшая степь слушала его шумъ. Мои мысли были такъ горьки, что мнѣ казалось, что я мыслилъ вслухъ, что стонъ телеграфа и шумъ поѣзда передаютъ мои мысли.

«Что же еще недобroe можетъ случиться? Потеря жены? — спрашивалъ я себя. — И это не страшно. Отъ своей совѣсти нельзя прятаться: не люблю я жены! Женился я на ней, когда еще былъ мальчишкой. Теперь я молодъ, крѣпокъ, а она осунулась, состарилась, поглупѣла, отъ головы до ния набита предразсудками. Что хорошаго въ ея приторной любви, виалой груди, въ вяломъ взглядѣ? Я терплю ее, но не люблю. Что же можетъ случиться? Молодость моя прощадаетъ, какъ говорится, ни за понююку табаку. Женщины мелькаютъ передо мной только въ окнахъ вагоновъ, какъ падающія звѣзды. Любви не было и неѣтъ. Гибнетъ мое мужество, моя смѣлость, сердечность... Все гибнетъ, какъ соръ, и мои богатства здѣсь, въ степи, не стоять грона мѣднаго.»

Поѣздъ съ шумомъ пролетѣлъ мимо меня и равнодушно просвѣтилъ мнѣ своими красными окнами. Я видѣлъ, какъ онъ остановился у зеленыхъ огней полустанка, постоялъ минуту и покатилъ далѣе. Пройдя версты двѣ, я вернулся назадъ. Печальные мысли не оставили меня. Какъ ни горько было мнѣ, но, помнится, я какъ будто старался, чтобы мои мысли были печальнѣе и мрачнѣе. Знаете, у недалекихъ и самолюбивыхъ людей бываютъ моменты, когда сознаніе, что они несчастны, доставляетъ имъ нѣкоторое удовольствіе, и они даже кокетничаютъ передъ самими собой своими страданіями. Много въ моихъ мысляхъ было правды, но много и нелѣнаго, хвастливаго и что-то мальчишески вызывающее было въ моемъ вопросѣ: «Что же можетъ случиться недобroe?»

— Да, что же случится? — спрашивалъ я себя, возвращаясь.— Кажется, все пережито. И болѣль я, и деньги терялъ, и выговоры каждый день отъ начальства получаю, и голодаю, и волкъ бѣшеный забѣгалъ во дворъ полустанка. Что еще? Меня оскорбляли, унижали... и я оскорбляль на своемъ вѣку. Вотъ развѣ только преступникомъ никогда не былъ, но на преступленіе я, кажется, неспособенъ, суда же не боюсь.

Два облачка уже отошли отъ луны и стояли поодаль съ такимъ видомъ, какъ будто шептались о чёмъ-то такомъ, чего не должна знать луна. Легкій вѣтерокъ пробѣжалъ по степи, неся глухой шумъ ушедшаго поѣзда.

У порога дома встрѣтила меня жена. Глаза ея весело смѣялись и все лицо дышало удовольствиемъ.

— А у насъ новость! — зашептала она.— Ступай скорѣе въ свою комнату и надѣнь новый сюртукъ: у насъ гостья!

— Какая гостья?

— Сейчасъ съ поѣздомъ прїхала тетя Наталья Петровна.

— Какая Наталья Петровна?

— Жена моего дяди Семена Федорыча. Ты ея не знаешь. Она очень добрая и хорошая...

Вѣроятно, я нахмурился, потому что жена сдѣлала серьезное лицо и зашептала быстро:

— Конечно, странно, что она прїхала, но ты, Николай, не сердись и взгляни снисходительно. Она вѣдь несчастная. Дядя Семенъ Федорычъ въ самомъ дѣлѣ деспотъ и злой, съ нимъ трудно ужиться. Она говорить, что только три дня у насъ проживетъ, пока не получить письма отъ своего брата.

Жена долго еще шептала миѣ какую-то чепуху про десюта-дядюшку, про слабость человѣческую вообще и молодыхъ женъ въ частности, про обязанность нашу давать пріютъ всѣмъ, даже большимъ грѣшникамъ, и проч. Не понимая ровно ничего, я надѣль новый сюртукъ и пошелъ знакомиться съ «тетей».

За столомъ сидѣла маленькая женщина съ большими, черными глазами. Мой столъ, сѣрыя стѣны, топорыій диванъ... кажется, все до малѣйшей пылинки помолодѣло и повеселѣло въ присутствіи этого существа, нового, молодого, издававшаго какой-то мудреный запахъ, красиваго и

порочного. А что гостья была порочна, я понялъ по улыбкѣ, по запаху, по особой манерѣ глядѣть и играть рѣсницами, по тону, съ какимъ она говорила съ моей женой — порядочной женщиной... Не нужно ей было рассказывать мнѣ, что она бѣжала отъ мужа, что мужъ ея старъ и десногъ, что она добра и весела. Я все понялъ съ перваго взгляда, да едва ли въ Европѣ есть еще мужчины, которые не умѣютъ отличить съ перваго взгляда женщину извѣстнаго темперамента.

— А я не знала, что у менѣ есть такой крупный племянничекъ! — сказала тетя, протягивая мнѣ руку и улыбаясь.

— А я не знать, что у меня есть такая хорошенъкая тетя! — сказала я.

Снова начался ужинъ. Пробка съ трескомъ вылетѣла изъ второй бутылки, и моя тетя залпомъ выпила пол-стакана, а когда моя жена вышла куда-то на минутку, тетя уже не церемонилась и выпила цѣлый стаканъ. Оньянѣлась и отъ вина, и отъ присутствія женщины. Вы помните романсы?

Очи черныя, очи страстныя,
Очи жгучія и прекрасныя,
Какъ люблю я васъ,
Какъ боюсь я васъ!

Не помню, что было потомъ. Кому угодно знать, какъ начинается любовь, тотъ пусть читаетъ романы и длинныя повѣсти, а я скажу только немного и словами все того же глупаго романса:

Знать увидѣть васъ
Я не въ добрый часъ...

Все полетѣло къ черту верхнимъ концомъ внизъ. Помнится мнѣ страшный, бѣшеный вихрь, который закружила меня, какъ перышко. Кружилъ онъ долго и стеръ съ лица земли и жену, и самую тетю, и мою силу. Изъ стѣнного полустанка, какъ видите, онъ забросилъ меня на эту темную улицу.

Теперь скажите: что еще недобroe можетъ со мной случиться?

ВЪ ССЫЛКѢ.

Старый Семенъ, прозванный Толковымъ, и молодой татаринъ, которого никто не зналъ по имени, сидѣли на берегу около костра; остальные три перевозчика находились въ избѣ. Семенъ, старикъ лѣтъ шестидесяти, худощавый и беззубый, но широкий въ плечахъ и на видъ еще здоровый, былъ пьянъ; онъ давно бы уже пошелъ спать, но въ карманѣ у него былъ полулитофъ, и онъ боялся, какъ бы въ избѣ молодцы не попросили у него водки. Татаринъ былъ боленъ, томился и, кутаясь въ свои лохмотья, рассказывалъ, какъ хорошо въ Симбирской губерніи и какая у него осталась дома красивая и умная жена. Ему было лѣтъ двадцать-пять, не больше, а теперь, при свѣтѣ костра, онъ блѣдный, съ печальнымъ болѣзненнымъ лицомъ, казался мальчикомъ.

— Оно, конечно, тутъ не рай, — говорилъ Толковый. — Самъ видишь: вода, голые берега, кругомъ глина и больше ничего... Святая давно уже прошла, а на рѣкѣ ледъ идетъ и утромъ нынче снѣгъ былъ.

— Худо! худо! — сказалъ татаринъ и оглянулся съ испугомъ.

Шагахъ въ десяти текла темная, холодная рѣка; она ворчала, хлюпала объ изрытый глинистый берегъ и быстро неслась куда-то въ далекое море. У самаго берега темнѣла большая баржа, которую перевозчики называютъ «карбасомъ». Далеко на томъ берегу, потухая и переливаясь, змѣйками ползали огни: это жгли прошлогоднюю траву. А за змѣйками опять потемки. Слышино, какъ небольшія льдины стучать о баржу. Сыро, холодно...

Татаринъ взглянуль на небо. Звѣздъ такъ же много, какъ дома у него, такая же чернота кругомъ, но чего-то недостаетъ. Дома, въ Симбирской губерніи, совсѣмъ не такія звѣзды и не такое небо.

— Худо! худо! — повторилъ онъ.

— Привыкнешь! — сказалъ Толковый и засмѣялся. — Теперь ты еще молодой, глупый, молоко на губахъ не обсохло, и кажется тебѣ по глупости, что несчастный тебѣ человѣка нѣть, а придетъ время, самъ скажешь: дай Богъ всякому такой жизни. Ты на меня погляди. Черезъ недѣлю времени пройдетъ вода и поставимъ тутъ паромъ, вы всѣ пойдете по Сибири гулять, а я останусь и зачну ходить отъ берега къ берегу. Ужъ двадцать два года такъ хожу. День и ночь. Щука и нельма подъ водой, а я надъ водой. И слава Богу. Ничего мнѣ не надо. Дай Богъ всякому такой жизни.

Татаринъ подложилъ въ костеръ хворосту, легъ поближе къ огню и сказалъ:

— У меня отецъ хворый человѣкъ. Когда онъ помретъ, мать и жена сюда прїѣдутъ. Обѣщали.

— А на что тебѣ мать и жена? — спросилъ Толковый. — Одна глупость, братъ. Это тебя бѣсь смущаетъ, язви его душу. Ты его не слушай, проклятаго. Не давай ему воли. Онъ тебѣ насчетъ бабы, а ты ему на зло: не желаю! Онъ тебѣ насчетъ воли, а ты упрись и — не желаю! Ничего не надо! Нѣту ни отца, ни матери, ни жены, ни воли, ни двора, ни кола! Ничего не надо, язви ихъ душу!

Толковый потянулъ изъ бутылки и продолжалъ:

— Я, братуша, не мужикъ простой, не изъ хамскаго званія, а дьячковскій сынъ и, когда на волѣ жилъ въ Курскѣ, въ сюртукѣ ходилъ, а теперь довелъ себя до такой точки, что могу голый на землѣ спать и траву жрать. И дай Богъ всякому такой жизни. Ничего мнѣ не надо и никого я не боюсь, и такъ себя понимаю, что богаче и вольнѣе меня человѣка нѣть. Какъ прислали меня сюда изъ Россіи, я съ первого же дня уперся: ничего не хочу! Бѣсь мнѣ и про жену, и про родню, и про волю, а я ему: ничего мнѣ не надо! Уперся на свое и вотъ, какъ видишь, хорошо живу, не жалуюсь. А ежели кто дастъ поблажку бѣсу и хоть разъ послушается, тотъ пропадъ, нѣть ему спасенія: завязнетъ въ болотѣ по самую маковку и не выѣзжать. Не то, что вань братъ, глупый мужикъ,

но и благородные и образованные пропадают. Лѣтъ пятнадцать назадъ прислали сюда изъ Россіи одного барина. Съ братьями что-то тамъ не подѣлилъ и въ завѣщаніи фальшивъ сдѣлалъ какую-то. Сказывали, изъ князей или бароновъ, а можетъ, и просто изъ чиновниковъ — кто его знаетъ! Ну, пріѣхалъ сюда баринъ и первымъ дѣломъ купилъ себѣ въ Мухоргинскомъ домъ и землю. «Хочу, говорить, своимъ трудомъ жить, въ потѣ лица, потому что, говорить, я теперь не господинъ, а поселенецъ». Что жь, говорю, помогай Богъ, дѣло хорошее. Человѣкъ онъ былъ тогда молодой, хлопотунъ, заботливый; самъ и косиль, бывало, и рыбу ловилъ, и верхомъ верстъ за шестьдесятъ ѻздилъ. Только вотъ бѣда: съ первого же года сталъ ѻзидить въ Гырино, въ почтовую контору. Стоить, бывало, у меня на паромѣ и вздыхаетъ: «Эхъ, Семенъ, что-то долго не ишлютъ мнѣ изъ дома денегъ!» Не надо, говорю, Василій Сергѣичъ, денегъ. Къ чему онѣ? Вы старое-то бросьте, забудьте, какъ будто его вовсе не было, будто снилось оно только, а начинайте жить сънова. Не слушайте, говорю, бѣса, — онъ до добра не доведеть, вѣ-нетъ заняться. Теперь вы денегъ желаете, говорю, а пройдетъ мало-мало времени и, гляди, чего другого захотите, а потомъ и еще, и еще. Ежели, говорю, желаете для себя счастья, то первѣо всего — ничего не желайте. Да... Ужъ ежели, говорю ему, насть съ вами судьба обидѣла горько, то нечего у ней милости просить и кланяться ей въ ножки, а надо пре-небрегать и смѣяться надъ ней. А то она сама насыщается. Такъ и говорю ему... Года черезъ два перевожу я его на эту сторону, а онъ потираетъ руки и смеется. «Ѣду, говорить, въ Гырино жену встрѣтить. Пожалѣла, говорить, меня, пріѣхала. Хорошая она у меня, добрая». А самъ отъ радости даже запыхался. Вотъ черезъ день ѻдетъ съ женой. Дама молодая, красавая, въ шляпкѣ; на рукахъ младенчикъ-дѣвочка. И всякаго багажу много. А Василій Сергѣичъ мой вертится около нея, не наглядится и никакъ не нахвалится. «Да, братъ Семенъ, и въ Сибири люди живутъ!» Ну, думаю, ладно, не обрадуешься. И съ той-поры, почитай, каждую недѣлю, сталь онъ въ Гырино на-вѣдываться: не пришли ли изъ Россіи деньги. Денегъ-то понадобилось пропасть. «Она, говорить, ради меня тутъ въ Сибири свою молодость и красоту губить и, говорить

со мной мою горькую долю дѣлить, и черезъ это, говорить, я долженъ предоставлять ей всякое удовольствіе...» Чѣтъ барынѣ веселѣй было, завѣль онъ знакомство съ чиновниками и съ шушерой всякой. А всю эту компанію, извѣстно, кормить и поить надо, да чтобъ и фортепьянь былъ и собачка лохматенькая на диванѣ, — чтобъ она издохла... Роскошь, одиимъ словомъ, баловство. Прожила съ нимъ барыня недолго. Гдѣ ей? Глина, вода, холодно, ни тебѣ овоща, ни фрукта, кругомъ необразованные дамыныя, никакого обхожденія, а она дама балованная, столичная... Извѣстно, соскучилась. Да и мужъ, какъ ни говори, уже не баринъ, а поселенецъ — не та честь. Года черезъ три, помню, ночью подъ самый Успеньевъ день кричать съ того берега. Понешиль я туда на паромъ, гляжу — барыня, вся окутавшись, а съ ней молодой господинъ, изъ чиновниковъ. Тройка... Перевезъ я ихъ сюда, сѣли — и поминай, какъ звали! Только ихъ и видѣли. А подъ утро Василій Сергѣевичъ скакетъ на парѣ. «Не проѣзжала ли тутъ, Семенъ, моя жена съ господиномъ въ очкахъ?» Проѣзжала, говорю, — ищи вѣтра въ полѣ! Понескакалъ онъ вдогонку, сутокъ пять гнался. Когда послѣ перевозилъ я его на ту сторону, онъ повалился на паромъ и давай головой биться о доски и выть. То-то вотъ, говорю, и есть. Смѣюсь и припоминаю ему: «И въ Сибири люди живутъ!» А онъ еще пуще бѣется... Потомъ это захотѣлось ему воли. Жена въ Россію подалась, и его, знающъ, туда потянуло, чтобъ ее повидать и отъ полюбовника вызволить. И сталь онъ, братецъ ты мой, чуть не каждый день скакать то на почту, то въ городъ къ начальству. Все прошенія посыпалъ и подавалъ, чтобъ его помиловали и назадъ домой вернули, и сказывалъ онъ, на однѣ телеграммы у него рублей двѣсти пошло. Землю продалъ, домъ жиdamъ заложилъ. Самъ посѣдѣлъ, сгорбился, съ лица желтый сталъ, словно чахоточный. Говорить съ тобою, а самъ: кхе-кхе-кхе... и слезы на глазахъ. Промаялся такъ съ прошеніями годовъ восемь, а теперь опять ожиль и веселый сталъ: новое баловство придумалъ. Дочка, видишь, выросла. Глядитъ на нее и не надышится. А она, правду говорить, ничего себѣ: красивенькая, чернобровая и нрава бойкаго. Каждое воскресеніе онъ въ Гырино ъздитъ съ ней въ церковь. Стоять оба на паромѣ рядышкомъ, она смѣется, а

онь съ нея глазъ не сводить. «Да, говорить, Семенъ, и въ Сибири люди живутъ. И въ Сибири бываетъ счастье. Погляди-ка, говорить, какая у меня дочка! Чай, другой такой и за тысячу верстъ не сыщешьъ». Дочка, говорю, хорошая, это вѣрю, ~~дѣйствительно~~... А самъ про себя думаю: «Ужо погоди... Дѣвка она молодая, кровь играетъ, жить хочется, а какая тутъ жизнь?» И стала, братъ, она тосковать... Чахла-чахла, извелась вся, заболѣла и теперь безъ заднихъ ногъ. Чахотка. Вотъ тебѣ и сибирское счастье, язви его душу, вотъ тебѣ и въ Сибири люди живутъ... Стать онь все по докторамъ ъздить и возить ихъ къ себѣ. Какъ заслышитъ, что верстъ за двѣсти или за триста есть докторъ или зиахарь, такъ и ъдетъ за нимъ. Страсть сколько денегъ на докторовъ ушло, а ужъ по-моему лучше прошить эти деньги... Все равно помреть. Помреть она всенепремѣнно, а онь тогда совсѣмъ ироніалъ. Повѣсится съ тоски или въ Россію уѣхжть — дѣло извѣстное. Уѣхжть, а его поймаютъ, потомъ судъ, каторга, идетей попробуетъ...

— Хорошо, хорошо, — пробормоталъ татаринъ, ножи-маясь отъ озиона.

— Что хорошо? — спросилъ Толковый.

— Жена, дочка... Пускай каторга и пускай тоска, за то онь видѣлъ и жену, и дочку... Ты говоришь, ничего не надо. Но ничего — худо! Жена прожила съ нимъ три года — это ему Богъ подарила. Ничего — худо, а три года — хорошо. Какъ не понимай?

Дрожа, съ напряженiemъ подбирая русскія слова, кото-рыхъ онь зналъ немного, и занкаясь, татаринъ заговорилъ о томъ, что не приведи Богъ захворать на чужой сторонѣ, умереть и быть зарытымъ въ холодной ржавой землѣ, что если бы жена приѣхала къ нему хотя на одинъ день и даже на одинъ часъ, то за такое счастье онь согласился бы принять какія угодно муки и благодарила бы Бога. Лучше одинъ день счастья, чѣмъ ничего.

Затѣмъ онь опять рассказалъ, какая у него осталась дома красавая и умная жена, потому, взявшись обѣими руками за голову, онь заплакалъ и сталъ увѣрять Се-мена, что онь ни въ чёмъ не виноватъ и терпить на-праслину. Его два брата и дядя увѣли у мужика ло-шадей и избили старика до полусмерти, а общество раз-судило не по совѣсти и составило приговоръ, по кото-

рому пошли въ Сибирь всѣ три брата, а дядя, богатый че-
ловѣкъ, остался дома.

— Привы-ыкнешь! — сказалъ Семенъ.

Татаринъ замолчалъ и уставилъ заплаканными гла-
зами на огонь; лицо у него выражало недоумѣніе и испугъ,
какъ будто онъ все еще не понималъ, зачѣмъ онъ здѣсь
въ темнотѣ и въ сырости, около чужихъ людей, а не въ
Симбирской губерніи. Толковый легъ около огня, чему-то
усмѣхнулся и затянулъ вполноголоса пѣсню.

— Что ей за радость съ отцомъ-то? — проговорилъ онъ,
немножко погодя. — Онъ ее любить, утѣшается, это точно; но,
брать, тоже пальца въ ротъ ему не клади: строгій старикъ,
крутый старикъ. А молодымъ дѣвкамъ не строгость нужна...
Имъ нужна ласка да ха-ха-ха, да хи-хо-хо, духи да по-
мада. Да... Эхъ, дѣла, дѣла! — вздохнулъ Семенъ и тяжело
поднялся. — Водка вся вышла, значитъ, спать пора. А?
Пойду, братъ...

Оставшись одинъ, татаринъ подложилъ хворосту, легъ и,
глядя на огонь, сталъ думать о родной деревнѣ и о своей
женѣ; пріѣхала бы жена хоть па мѣсяцъ, хоть на день, а
тамъ, если想要, пусть уѣзжаетъ назадъ! Лучше мѣсяцъ
или даже день, чѣмъ ничего. Но если жена сдержить обѣ-
щаніе и приѣдетъ, то чѣмъ се придется кормить? Гдѣ она
будетъ тутъ жить?

— Если нѣть чего-чего кушать, то какъ живи? — спро-
силъ вслухъ татаринъ.

За то, что онъ теперь день и ночь работалъ весломъ,
ему платили только десять копеекъ въ сутки; правда, про-
ѣзжіе давали на чай и на водку, но ребята дѣлили весь
доходъ между собой, а татарину ничего не давали и только
смѣялись надъ нимъ. А отъ нужды голодно, холодно и
страшно... Теперь бы, когда все тѣло болитъ и дрожитъ,
пойти въ избушку и лечь спать, но тамъ укрыться нечѣмъ,
и холоднѣе, чѣмъ на берегу; здѣсь тоже нечѣмъ укрыться,
но все же можно хоть костеръ развести...

Черезъ недѣлю, когда вода совсѣмъ спадетъ и поста-
вятъ тутъ паромъ, всѣ перевозчики, кромѣ Семена, станутъ
уже не нужны, и татаринъ начнетъ ходить изъ деревни
въ деревню и просить милостыни и работы. Женѣ только
семнадцать лѣтъ; она красивая, избалованная, застѣнчи-
вая, — неужели и она будетъ ходить по деревнямъ съ от-

крытымъ лицомъ и просить милостыню? Нѣть, обѣ этомъ даже подумать страшно...

Уже свѣтало; ясно обозначались баржа, кусты тальника на водѣ и зыбь, а назадъ оглнуться — тамъ глинистый обрывъ, внизу избушка, крытая бурою соломой, а выше лѣпятся деревенскія избы. На деревнѣ уже пѣли пѣтухи.

Рыжій глинистый обрывъ, баржа, рѣка, чужіе, недобрые люди, голодъ, холодъ, болѣзни — быть-можеть, всего этого нѣть на самомъ дѣлѣ. Вѣроятно, все это только снится,— думалъ татаринъ. Онъ чувствовалъ, что спитъ, и слышалъ свой храпъ... Конечно, онъ дома, въ Симбирской губерніи, и стоитъ ему только назвать жену по имени, какъ она откликнется; а въ сосѣдней комнатѣ мать... Однако, какіе бываютъ страшные сны! Къ чему они? Татаринъ улыбнулся и открылъ глаза. Какая это рѣка? Волга?

Шель сиѣгъ.

— Подава-ай! — кричалъ кто-то на той сторонѣ: — Карба-а-аст!

Татаринъ очнулся и пошелъ будить товарищѣй, чтобы плыть на ту сторону. Надѣвая на ходу рваные туники, бранясь хриплыми спросонокъ голосами и пожимаясь отъ холода, показались на берегу перевозчики. Послѣ сна рѣка, отъ которой вѣяло пронизывающимъ холодомъ, повидимому, казалась имъ отвратительной и жуткой. Не сиѣша попрыгали они въ карбасъ... Татаринъ и три перевозчика взялись за длинныя весла съ широкими лопастями, похожія въ потемкахъ на раки клешни, Семенъ навалился животомъ на длинный руль. А на той сторонѣ все еще продолжали кричать и два раза выстрѣлили изъ револьвера, думая, вѣроятно, что перевозчики спятъ или ушли на деревню, въ кабакъ.

— Ладно, успѣешь! — проговорилъ Толковый тономъ человѣка, убѣжденнаго, что на этомъ свѣтѣ нѣть надобности спѣшить — все равно, моль, толку не выйдетъ.

Тяжелая неуклюжая баржа отдѣлилась отъ берега и поплыла межъ кустовъ тальника, и только по тому, что тальникъ медленно уходилъ назадъ, замѣтно было, что она не стояла на одномъ мѣстѣ, а двигалась. Перевозчики мѣрио, въ разъ, взмахивали веслами; Толковый лежалъ животомъ на рулѣ и, описывая въ воздухѣ дугу, летать съ одного борта на другой. Было въ потемкахъ похоже

на то, какъ будто люди сидѣли на какомъ-то допотопномъ животномъ съ длинными лапами и уплывали на немъ въ холодную, унылую страну, ту самую, которая иногда снится во время кошмара.

Миновали тальникъ, выплыли на просторъ. На томъ берегу уже засыпали стукъ и мѣрное плесканье веселъ и кричали: «Скорѣй! скорѣй!» Прошло еще минутъ съ десять, и баржа тяжело ударила о пристань.

— И все оно сыпеть, и все оно сыпеть!—бормоталъ Семенъ, вытирая съ лица снѣгъ.—И откуда оно берется, Богъ его знаетъ!

На той сторонѣ ждалъ худощавый, невысокаго роста старикъ, въ полушибкѣ на лисьемъ мѣху и въ блой мерлушковой шапкѣ. Онъ стоялъ поодаль отъ лошадей и не двигался; у него было угрюмое, сосредоточенное выражение, какъ будто онъ старался что-то вспомнить и сердился на свою непослушную память. Когда Семенъ подошелъ къ нему и, улыбаясь, снялъ шапку, то онъ сказалъ:

— Сѣѣну въ Анастасьевку. Дочери опять хуже, а въ Анастасьевку, говорятъ, новаго доктора назначили.

Втащили тарантасъ на баржу и поплыли назадъ. Человѣкъ, которого Семенъ назвалъ Василіемъ Сергѣичемъ, все время, пока плыли, стоялъ неподвижно, крѣпко сжавъ свои толстыя губы и глядя въ одну точку; когда ящики попросилъ у него позволенія покурить въ его присутствіи, онъ ничего не отвѣтилъ, точно не слышалъ. А Семенъ лежа животомъ на рулѣ, насмѣшливо глядѣлъ на него и говорилъ:

— И въ Сибири люди живутъ. Живу-утъ!

На лицѣ у Толковаго было торжествующее выраженіе, какъ будто онъ что-то доказалъ и будто радовался, что вышло именно такъ, какъ онъ предполагалъ. Несчастный, беспомощный видъ человѣка въ полушибкѣ на лисьемъ мѣху, повидимому, доставлялъ ему большое удовольствіе.

— Грязно теперьѣхать, Василій Сергѣичъ,—сказалъ онъ, когда на берегу запрягали лошадей.—Погодили быѣздить еще недѣльки съ двѣ, пока суше станетъ. А то и вовсе бы неѣздили... Ежели бы толкъ какой отъѣзыбылъ, а то, сами изволите знать, люди вѣки вѣчныеѣздятъ, и днемъ и ночью, а все никакого толку. Право!

Василій Сергѣичъ молча далъ на водку, сѣль въ тарантасъ и поѣхалъ дальше.

— Вотъ, за докторомъ поскакалъ! — сказалъ Семенъ, пожимаясь отъ холода. — Да, ищи настоящаго доктора, догоняй вѣтра въ полѣ, хватай черта за хвостъ, язви твою душу! Экіе чудаки! Господи, прости меня грѣшнаго!

Татаринъ подошелъ къ Толковому и, глядя на него съ ненавистью и съ отвращениемъ, дрожа и примыкавъ къ своей ломаной рѣчи татарскія слова, заговорилъ:

— Онъ хорошо... хорошо, а ты — худо! Ты худо! Баринъ хорошая душа, отличный, а ты звѣрь, ты худо! Баринъ живой, а ты дохлый... Богъ создалъ человѣка, чтобы живой быть, чтобы и радость была, и тоска была, и горе было, а ты хочешь ничего, значить, ты не живой, а камень, глина! Камню надо ничего, и тебѣ ничего... Ты камень — и Богъ тебя не любить, а барина любить!

Всѣ засмѣялись; татаринъ брезгливо поморщился, махнулъ рукой и, кутаясь въ свои лохмотья, пошелъ къ костру. Перевозчики и Семенъ пошлились въ избушку.

— Холодно! — прохрипѣлъ одинъ перевозчикъ, растягиваясь на соломѣ, которую былъ покрытъ сырой глинистый полъ.

— Да, не тепло! — согласился другой. — Жизнь каторжная!..

Всѣ улеглись. Дверь отворилась отъ вѣтра, и въ избушку понесло сиѣгомъ. Встать и затворить дверь никому не хотелось: было холодно и лѣнъ.

— А мнѣ хорошо! — проговорилъ Семенъ, засыпая. — Дай Богъ всякому такой жизни.

— Ты, извѣстно, семикаторжный. Тебя и черти не берутъ.

Со двора послышались звуки, похожіе на собачій вой.

— Что это? Кто это тамъ?

— Это татаринъ плачетъ.

— Инь ты... Чудакы!

— Привы-ыкнестъ! — сказалъ Семенъ и тотчасъ же заснулъ.

Скоро заснули и остальные. А дверь такъ и осталась не затворенной.

ОТЕЦЪ.

— Признаюсь, я выпивши... Извини, зашелъ дорогой въ портерную и по случаю жары выпилъ двѣ бутылочки. Жарко, братъ!

Старикъ Мусатовъ вытащилъ изъ кармана какую-то тряпичку и вытеръ ею свое бритое, испитое лицо.

— Я къ тебѣ, Боренька, ангель мой, на минуточку, — продолжалъ онъ, не глядя на сына: — по весьма важному дѣлу. Извини, можетъ-быть, помѣшалъ. Нѣтъ ли у тебя, душа моя, до вторника десяти рублей? Понимаешь ли, вчера еще нужно было платить за квартиру, а денегъ, понимаешь ли... во! Хоть зарѣжь!

Молодой Мусатовъ молча вышелъ и сталъ за дверью шептаться со своею дачною хозяйкой и съ сослуживцами, которые вмѣстѣ съ нимъ сообща нанимали дачу. Черезъ три минуты онъ вернулся и молча подаль отцу десятирублевку. Тотъ, не поглядѣвъ, небрежно сунулъ ее въ карманъ и сказалъ:

— Мерси. Ну, какъ живешь? Давно ужъ не видались.

— Да, давно. Съ самой Святой.

— Разъ пять собирался къ тебѣ, да все некогда. То одно дѣло, то другое... просто смерты! Впрочемъ, вру... Все это я вру. Ты мнѣ не вѣрь, Боренька. Сказалъ — во вторникъ отдамъ десять рублей, тоже не вѣрь. Ни одному моему слову не вѣрь. Никакихъ у меня дѣловъ нѣтъ, а просто лѣнъ, пьянство и совѣтно въ такомъ одѣяніи на улицу показаться. Ты меня, Боренька, извини. Тутъ я раза три къ тебѣ дѣвчонку за деньгами присыпалъ и жалостныя письма писалъ.

За деньги спасибо, а письмамъ не вѣрь: враль. Совѣстно мнѣ обирать тебя, ангель мой; знаю, что самъ ты едва концы съ концами сводишь и акридами питаешься, но ничего я со своимъ нахальствомъ не подѣлаю. Такой нахаль, что хоть за деньги показывай!.. Ты извини меня, Боренька. Говорю тебѣ всю эту правду, потому не могу равнодушно твоего ангельского лица видѣть.

Прошла минута въ молчаніи. Старикъ глубоко вздохнулъ и сказалъ:

— Угостиль бы ты меня пивкомъ, что ли.

Сынъ молча вышелъ, и за дверями опять послышалася шопотъ. Когда, немного погодя, принесли пиво, старикъ при видѣ бутылочки оживился и рѣзко измѣнилъ свой тонъ.

— Былъ, братецъ ты мой, намедни я на скачкахъ, — рассказывалъ онъ, дѣлая испуганные глаза. — Насъ было трое, и взяли мы въ тотализаторѣ одинъ трехрублевый билетъ на Шустраго. И спасибо этому Шустрому. На рубль намъ выдали по тридцать два рубля. Не могу, братъ, безъ скачекъ. Удовольствіе благородное. Моя бабенія всегда задаетъ мнѣ тренку за скачки, а я хожу. Люблю, хоть ты что!

Борисъ, молодой человѣкъ, блокурый, съ мелахолическимъ, неподвижнымъ лицомъ, тихо ходилъ изъ угла въ уголъ и молча слушалъ. Когда старикъ прервалъ свой рассказъ, чтобы откашляться, онъ подошелъ къ нему и сказалъ:

— На-дняхъ, пашаша, я купилъ себѣ штиблеты, которыя оказались для меня слишкомъ узки. Не возьмешь ли ты ихъ у меня? Я уступлю тебѣ ихъ дешевле.

— Пожалуй,—согласился старикъ, дѣлая гримасу: —только за ту же цѣну, безъ уступокъ.

— Хорошо. Я тебѣ это взаймы даю.

Сынъ полѣзъ подъ кровать и досталъ оттуда новыя штиблеты. Отецъ снялъ свои неуклюжіе, бурые, очевидно, чужіе сапоги и сталъ примѣривать новую обувь.

— Какъ разъ! — сказалъ онъ. — Ладно, пускай у меня остаются. А во вторникъ, когда получу пенсію, пришулю тебѣ за нихъ. Впрочемъ, вру, — продолжалъ онъ, вдругъ опять впадая въ прежній слезливый тонъ.—И про тотализаторъ. вру, и про пенсію вру. И ты меня обманываешь, Боренька... Я вѣдь чувствую твою великодушную политику.

Насквозь я тебя понимаю! Штиблеты потому оказались узки, что душа у тебя широкая. Ахъ, Боря, Боря! Все я понимаю и все чувствую!

— Вы на новую квартиру перебрались? — прервалъ его сынъ, чтобы перемѣнить разговоръ.

— Да, братъ, на новую. Каждый мѣсяцъ перебираюсь. Моя бабенція со своимъ характеромъ не можетъ долго на одномъ мѣстѣ ужиться.

— Я у васъ былъ на старой квартирѣ, хотѣлъ васъ къ себѣ на дачу пригласить. Съ вашимъ здоровьемъ вамъ не мѣшало бы пожить на чистомъ воздухѣ.

— Нѣть! — махнулъ рукой старицъ. — Баба не пустить, да и самъ не хочу. Разъ сто вы пытались вытащить меня изъ ямы, и самъ я пытался, да ни черта не выпило. Бросьте! Въ ямѣ и околѣвать мнѣ. Сейчасъ вотъ сижу съ тобой, гляжу на твое ангельское лицо, а самого такъ и тянуть домой въ яму. Такая ужъ, знать, судьба. Навозного жука не затащишь на розу. Нѣть. Однако, братецъ, миѳ иора ужъ. Темно становится.

— Такъ постойте же, я васъ провожу. Миѳ самому сегодня нужно въ городъ.

Старицъ и молодой надѣли свои пальто и вышли. Когда, немного погодя, они Ѳхали на извозчикѣ, было уже темно, и въ окнахъ замелькали огни.

— Обобралъ я тебя, Боренька! — бормоталъ отецъ. — Бѣдныя, бѣдныя дѣти! Должно-быть, великое горе имѣть такого отца! Боренька, ангелъ мой, не могу врать, когда вижу твое лицо. Извини.. До чего доходитъ мое нахальство, Боже мой! Сейчасъ вотъ я тебя обобралъ, конфужу тебя своимъ пьянымъ видомъ, братьевъ твоихъ тоже обираю и конфужу, а поглядѣль бы ты на меня вчера! Не скрою, Боренька! Сошлись вчера къ моей бабенціи сосѣди и всякая шваль, напился и я съ ними и давай на чемъ свѣтъ стоять честить васъ, моихъ дѣточекъ. И ругалъ я васъ, и жаловался, что будто вы меня бросили. Хотѣлъ, видишь ли, пьяныхъ бабъ разжалобить и разыграть изъ себя несчастнаго отца. Такая ужъ у меня манера: когда хочу свои пороки скрыть, то всю бѣду на невинныхъ дѣтей взваливаю. Не могу я врать тебѣ, Боренька, и скрывать. Шелъ къ тебѣ гоголемъ, а какъ увидѣлъ твою кротость и милосердіе твое, языки

прилипъ къ гортани и всю мою совѣсть вверхъ тормашкой неревернуло.

— Полно, папаша, давайте говорить о чёмъ — нибудь другомъ.

— Матерь Божія, какія у меня дѣти! — продолжать старики, не слушая сына. — Какую Господь мнѣ роскошь послать! Такихъ бы дѣтей не мнѣ, испутевому, а настоящему бы человѣку съ душой и чувствами! Недостоинъ я!

Старикъ снялъ свой маленький картузикъ съ пуговкой и нѣсколько разъ перекрестился.

— Слава Тебѣ, Господи! — вздохнулъ онъ, оглядываясь по сторонамъ и какъ бы ища образа. — Замѣчательныя, рѣдкія дѣти! Три у меня сына, и все какъ одинъ. Трезвые, степенные, дѣловые, а какіе умы! Извозчикъ, какіе умы! У одного Григорія ума столько, что на десять человѣкъ хватить. Онъ и по-французски, онъ и по-нѣмецки, а говорить, такъ куда тебѣ твои адвокаты — заслушаешься... Дѣти мои, дѣти, не вѣрю я, что вы мои! Не вѣрю! Ты у меня, Боренька, мученикъ. Разоряю я тебя и буду разорять... Даешь ты мнѣ безъ конца, хотя и знаешь, что деньги твои идутъ не на дѣло. Намедни прислалъ я тебѣ жалостное письмо, болѣзнь описываль свою, а вѣдь вразль: деньги я у тебя на ромъ просилъ. А даешь ты мнѣ потому, что боишься меня отказатьмъ оскорбить. Все это я знаю и чувствую. Гриша тоже мученикъ. Въ четвергъ, братецъ ты мой, пошелъ я къ нему въ присутствіе пьяный, грязный, оборванный... водкой отъ меня, какъ изъ погреба. Прихожу прямо, этакая фигура, лѣзу къ нему съ подлыми разговорами, а тутъ кругомъ его товарищи, начальство, просители. Осрамилъ на всю жизнь. А онъ хоть бы тебѣ капельку сконфузился, только чуточку поблѣднѣлъ, но улыбнулся и подошелъ ко мнѣ какъ ни въ чёмъ не бывало, даже гвардицамъ отрекомендовалъ. Потомъ проводилъ меня до самаго дома и хоть бы однимъ словомъ попрекнулъ! Обираю я его пуще, чѣмъ тебя. Взять теперь брата твоего Сашу, вѣдь тоже мученикъ! Женился онъ, знаешь, на полковницкой дочкѣ изъ аристократического круга, приданое взялъ... Кажется, не до меня ему. Нѣть, братъ, какъ только женился, послѣ свадьбы со своею молодою супругой мнѣ первому визить сдѣлать... въ моей ямѣ... Ей-Богу!

Старикъ всхлипнулъ и тотчасъ же засмѣялся.

— А въ ту пору, какъ нарочно, у насъ терпкую рѣдьку съ квасомъ ёли и рыбу жарили, и такая вонь была въ квартире, что черту тошно. Я лежалъ выпивши, бабенція моя выскочила къ молодымъ съ красною рожей... безобразіе, однимъ словомъ. А Саша все превозмогъ.

— Да, нашъ Саша хороший человѣкъ,—сказалъ Борисъ.

— Великолѣпнѣйший! Всѣ вы у меня золото: и ты, и Гриша, и Саша, и Соня. Мучу я васъ, терзаю, срамлю, обираю, а за всю жизнь не слыхалъ отъ васъ ни одного слова упрека, не видалъ ни одного косого взгляда. Добро бы, отецъ порядочный былъ, а то — тьфу! Не видали вы отъ меня ничего, кроме зла. Я человѣкъ нехорошій, распутный... Теперь еще, слава Богу, присмирѣлъ и характера у меня нѣтъ, а вѣдь прежде, когда вы маленькими были, во мнѣ положительность сидѣла, характеръ. Что я ни дѣлалъ и ни говорилъ, все казалось мнѣ, какъ будто такъ и надо. Бывало, вернусь ночью домой изъ клуба пьяный, злой, и давай твою покойницу мать попрекать за расходы. Цѣлую ночь ёмъ ее пойдомъ и думаю, что это такъ и надо; бывало, утромъ вы встанете и въ гимназію уйдете, а я все еще надѣялся на свой характеръ показывать. Царство небесное, замучилъ я ее, мученицу! А когда, бывало, вернетесь вы изъ гимназіи, а я сплю, вы не смѣсте обѣдать, пока я не встану. За обѣдомъ опять музыка. Небось, помнишь. Не дай Богъ никому такого отца. Вамъ меня Богъ на подвигъ послалъ. Именно, на подвигъ! Тяните ужъ, дѣтки, до конца. Чти отца твоего и долголѣтенъ будеши. За вашъ подвигъ, можетъ, Господь пошлетъ вамъ жизнь долгую. Извозчикъ стой!

Старикъ спрыгнулъ съ пролетки и побѣжалъ въ портерную. Черезъ полчаса онъ вернулся, пьяно крякнулъ и сѣлъ рядомъ съ сыномъ.

— А гдѣ теперь Соня? — спросилъ онъ. — Все еще въ пансіонѣ?

— Нѣтъ, въ маѣ она кончила и теперь у Сашиной тещи живеть.

— Во! — удивился старикъ. — Молодецъ-дѣвка, стало быть, въ братьевъ пошла. Эхъ, нѣту, Боренька, матери, некому утѣшаться. Послушай, Боренька, она... она знаетъ, какъ я живу? А?

Борисъ ничего не отвѣтилъ. Прошло минутъ пять въ глу-

бокомъ молчаний. Старикъ всхлипнулъ, утерся своей тряпичкой и сказалъ:

— Люблю я ее, Боренька! Вѣдь единственная дочь, а въ старости лучшаго утѣшения неѣть, какъ дочка. Повидаться бы мнѣ съ ней. Можно, Боренька?

— Конечно, когда хотите.

— Ей-Богу? А она ничего?

— Полноте, она сама искала вѣсть, чтобы повидаться.

— Ей-Богу? Вотъ дѣти! Извозчикъ, а? Устрой, Боренька, годубчикъ! Она теперь барышня, деликатесь, консуме и все такое, на благородный манеръ, и я не желаю показываться ей въ такомъ подг҃ѣшемъ видѣ. Мы, Боренька, всю эту механику такъ устроимъ. Денька три я воздержусь отъ спиртуозовъ, чтобы поганое пьяное рыло мое пришло въ порядокъ, потомъ приду къ тебѣ, и ты дашь мнѣ на время какой-нибудь свой костюмчикъ; побреюсь я, постригусь, потомъ ты сѣѣздишь и привезешь ее къ себѣ. Ладно?

— Хорошо.

— Извозчикъ, стой!

Старикъ опять спрыгнулъ съ пролетки и побѣжалъ въ портерную. Пока Борисъ доѣхалъ съ нимъ до его квартиры, онъ еще раза два прыгалъ, и сынъ всякий разъ молча и терпѣливо ожидалъ его. Когда они, отпустивъ извозчика, пробирались длиннымъ грязнымъ дворомъ къ квартирѣ «бабенці», старикъ принялъ въ высшей степени сконфуженный и виноватый видъ, сталъ робко крякать и причмокивать губами.

— Боренька, — сказалъ онъ заискивающимъ тономъ: — если моя бабенція начнетъ говорить тебѣ что-нибудь такое, то ты не обращай вниманія и... и обойдись съ неї, знаешь, этакъ, попривѣтливѣй. Она у меня невѣжественна и дерзка, но все-таки хорошая баба. У нея въ груди бѣется доброе, горячее сердце!

Длинный дворъ кончился, и Борисъ вошелъ въ темныя сѣни. Заскрипѣла дверь на блокѣ, пахнуло кухней и самоварнымъ дымомъ, послышались рѣзкіе голоса. Проходя изъ сѣней черезъ кухню, Борисъ видѣлъ только темный дымъ, веревку съ разведеннымъ бѣльемъ и самоварную трубу, сквозь щели которой сыпались золотыя искры.

— А вотъ и моя келья, — сказалъ старикъ, нагибаясь и входя въ маленькую комнату съ низкимъ потолкомъ и съ

атмосферой, невыносимо душной отъ сосѣдства съ кухней.

Здѣсь за столомъ сидѣли какія-то три бабы и угощались. Увидѣвъ гостя, онъ переглянулись и пересталиѣть.

— Что жъ, досталъ? — спросила сурово одна изъ нихъ, повидимому, сама «бabenція».

— Досталъ, досталъ, — забормоталъ старикъ. — Ну, Борисъ, милости просимъ, садись! У насть, братъ, молодой человѣкъ, просто... Мы въ простотѣ живемъ.

Онъ какъ-то безъ толку засуетился. Ему было совѣстно сына и въ то же время, повидимому, ему хотѣлось держать себя около бабъ, какъ всегда, «гоголемъ» и несчастнымъ, брошеннымъ отцомъ.

— Да, братецъ ты мой, молодой человѣкъ, мы живемъ просто, безъ затѣй, — бормоталь онъ. — Мы люди простые, молодой человѣкъ... Мы не то, что вы, не любимъ пыль въ глаза пускать. Да-съ... Развѣ водки выпить?

Одна изъ бабъ (ей было совѣстно пить при чужомъ человѣкѣ) вздохнула и сказала:

— А я черезъ грибы еще выпью... Такіе грибы, что не захочешь, такъ выпьешь. Иванъ Герасимычъ, пригласите ихъ, можетъ, и они выпьютъ!

Послѣднее слово она произнесла такъ: выпьютъ.

— Выпей, молодой человѣкъ! — сказалъ старикъ, не глядя на сына. — У насть, братъ, винъ и ликеровъ нѣть, мы по-просту.

— Имъ у насть не нравится! — вздохнула «бabenція».

— Ничего, ничего, онъ выпьетъ!

Чтобы не обидѣть отца отказомъ, Борисъ взялъ рюмку и молча выпилъ. Когда принесли самоваръ, онъ молча, съ меланхолическимъ лицомъ, въ угоду старику, выпилъ двѣ чашки противнаго чаю. Молча онъ слушалъ, какъ «бabenція» намеками говорила о томъ, что на этомъ свѣтѣ есть жестокія и безбожныя дѣти, которыя бросаютъ своихъ родителей.

— Я знаю, что ты теперь думаешь! — говорилъ подвыпившій старикъ, входя въ свое обычное пьяное возбужденное состояніе. — Ты думаешь: я опустился, погрязъ, я жалокъ, а по-моему эта простая жизнь гораздо нормальнѣе твоей жизни, молодой человѣкъ. Ни въ комъ я не нуждаюсь и... и не намѣренъ унижаться... Терпѣть не могу, если какой-нибудь малчишка глядитъ на меня съ сожалѣніемъ.

Послѣ чаю онъ чистилъ селедку и посыпалъ ей лукомъ съ такимъ чувствомъ, что даже на глазахъ у него выступили слезы умиленія. Онъ опять заговорилъ о тотализаторѣ, о выигрышахъ, о какой-то шляпѣ изъ панамской соломы, за которую онъ вчера заплатилъ 16 рублей. Лгаль онъ съ такимъ же аппетитомъ, съ какимъ Ѣлъ селедку и пилъ. Сынъ молча высидѣлъ часъ и сталъ прощаться.

— Не смѣю удерживать! — сказалъ надменно старикъ. — Извините, молодой человѣкъ, что я живу не такъ, какъ вамъ хочется!

Онъ хорохорился, съ достоинствомъ фыркалъ и подмигивалъ бабамъ.

— Прощайтесь, молодой человѣкъ! — говорилъ онъ, провожая сына до стѣнъ. — Атанде!

Въ сѣняхъ же, гдѣ было темно, онъ вдругъ прижался лицомъ къ рукаву сына и всхлипнулъ.

— Поглядѣть бы мнѣ Сонюшку! — зашепталъ онъ. — Устрой, Боренька, ангель мой! Я побреюсь, надѣну твой костюмчикъ... строгое лицо сдѣлаю... Буду при ней молчать. Ей-ей, буду молчать!

Онъ робко оглянулся на дверь, за которой слышались голоса бабъ, задержалъ рыданіе и сказалъ громко:

— Прощайте, молодой человѣкъ! Атанде!

Ж Е Н А.

I.

Я получилъ такое письмо:

«Милостивый Государь, Павелъ Андреевичъ! Недалеко отъ васъ, а именно въ деревнѣ Пестровѣ, происходить прискорбные факты, о которыхъ считаю долгомъ сообщить. Всѣ крестьяне этой деревни продали избы и все свое имущество и переселились въ Томскую губернію, но не доѣхали и возвратились назадъ. Здѣсь, понятно, у нихъ ничего уже нѣтъ, все теперь чужое; поселились они по три и четыре семьи въ одной избѣ, такъ что населеніе каждой избы не менѣе 15 человѣкъ обоего пола, не считая малыхъ дѣтей, и въ концѣ концовъ ёсть нечего, голодъ, поголовная эпидемія голоднаго или сыпного тифа; всѣ буквально больны. Фельдшерица говоритъ: придишь въ избу и что видишь? Всѣ больны, всѣ бредятъ, кто хохочетъ, кто на стѣну лѣзеть; въ избахъ смрадъ, ни воды подать, ни принести ее никому, а пицей служить одинъ мерзлый картофель. Фельдшерица и Соболь (нашъ земскій врачъ) что могутъ сдѣлать, когда имъ прежде лѣкарства надо хлѣба, котораго они не имѣютъ? Управа земская отказывается тѣмъ, что они уже выписаны изъ этого земства и числятся въ Томской губерніи, да и денегъ нѣтъ. Сообщая объ этомъ вамъ и зная вашу гуманность, прошу, не откажите въ скорѣйшей помоши. Вашъ доброжелатель».

Очевидно, писала сама фельдшерица или этотъ докторъ, имѣющій звѣриную фамилію. Земскіе врачи и фельдшерицы въ продолженіе многихъ лѣтъ изо дня въ день убѣждаются, что они *ничего* не могутъ сдѣлать, и все-таки получаютъ жалованье съ людей, которые питаются однимъ мерзлымъ картофелемъ, и все-таки почему-то считаютъ себя въ правѣ судить, гуманенъ я, или нѣтъ.

Обезпокоенный анонимнымъ письмомъ и тѣмъ, что каждое

утро какие-то мужики приходили въ людскую кухню и становились тамъ на колѣни, и тѣмъ, что ночью изъ амбара вытащили двадцать кулей ржи, сломавъ предварительно стѣну, и общимъ тяжелымъ настроениемъ, которое поддерживалось разговорами, газетами и дурною погодой—обезпокоенный всѣмъ этимъ, я работалъ вяло и неуспѣшио. Я писалъ «Исторію желѣзныхъ дорогъ»; нужно было прочесть множество русскихъ и иностранныхъ книгъ, брошюръ, журнальныхъ статей, нужно было щелкать на счетахъ, перелистывать логарифмы, думать и писать, потомъ оиять читать, щелкать и думать; но едва я брался за книгу или начинай думать, какъ мысли мои путались, глаза жмурились, я со вздохомъ вставалъ изъ-за стола и начиналъ ходить по большимъ комнатамъ своего пустынаго деревенскаго дома. Когда надоѣдало ходить, я останавливался въ кабинетѣ у окна и, глядя черезъ свой широкій дворъ, чрезъ прудъ и голый молодой березнякъ, и чрезъ большое поле, покрытое недавно выпашаннымъ, тающимъ снѣгомъ, я видѣлъ на горизонтѣ, на холмѣ кучу бурыхъ избъ, отъ которыхъ по бѣлому полю спускалась внизъ неправильной полосой черная, грязная дорога. Это было Пестрово, то самое, о которомъ писалъ мнѣ анонимный авторъ. Если бы не вороны, которая, предвѣщаая дождь или снѣжную погоду, съ крикомъ носились надъ прудомъ и полемъ, и если бы не стукъ въ плотницкомъ сараѣ, то этотъ мірокъ, о которомъ теперь такъ много шумятъ, казался бы похожимъ на Мертвое озеро,—такъ все здѣсь тихо, неподвижно, безжизненно, скучно!

Работать и сосредоточиться мѣшало мнѣ беспокойство; я не зналъ, что это такое, и хотѣлъ думать, что это разочарованіе. Въ самомъ дѣлѣ, оставилъ я службу по министерству путей сообщенія и прѣѣхалъ сюда въ деревню, чтобы жить въ покой и заниматься литературой по общественнымъ вопросамъ. Это была моя давнишняя, завѣтная мечта. А теперь нужно было проститься и съ покоемъ, и съ литературой, оставить все и заняться одними только мужиками. И это было неизбѣжно, потому что кромѣ меня, какъ я былъ уѣждѣнъ, въ этомъ уѣздѣ положительно некому было помочь голодающимъ. Окружали меня люди необразованные, неразвитые, равнодушные, въ громадномъ большинствѣ нѣчестные, или же честные, но взбалмошные и не-

серъезные, какъ, напримѣръ, моя жена. Положиться на такихъ людей было нельзя, оставить мужиковъ на произволъ судьбы было тоже нельзя, значитъ, оставалось покориться необходимости и самому заняться приведеніемъ мужиковъ въ порядокъ.

Началь я съ того, что рѣшилъ пожертвовать въ пользу голодающихъ пять тысячъ рублей серебромъ. И это не уменьшило, а только усилило мое беспокойство. Когда я стоялъ у окна или ходилъ по комнатамъ, меня мучилъ вопросъ, котораго раньше не было: какъ распорядиться этими деньгами? Приказать купить хлѣба, пойти по избамъ и раздавать — это не подъ силу одному человѣку, не говоря уже о томъ, что второпяхъ рискуешь дать сытому или кулаку вдвое больше, чѣмъ голодному. Администрація не вѣрила. Всѣ эти земскіе начальники и податные инспектора были люди молодые, и къ нимъ относился я недовѣрчиво, какъ ко всей современной молодежи, материалистической и не имѣющей идеаловъ. Земская управа, волостины правленія и всѣ вообще уѣздныя канцеляріи тоже не винчали мнѣ ни малѣйшаго желанія обратиться къ ихъ помощіи. Я зналъ, что эти учрежденія, приспособившіяся къ земскому и казенному пирогу, каждый день держали свои рты наготовъ, чтобы присосаться къ какому-нибудь еще третьему пирогу.

Мнѣ приходило на мысль пригласить къ себѣ сосѣдей-помѣщиковъ и предложить имъ организовать у меня въ домѣ что-нибудь въ родѣ комитета или центра, куда бы стекались всѣ пожертвованія и откуда по всему уѣзду давались бы пособія и распоряженія; такая организація, допускавшая частныя совѣщанія и широкий свободный контроль, вполнѣ отвѣчала моимъ взглядамъ; но я воображалъ закуски, обѣды, ужины и тотъ шумъ, праздность, говорливость и дурной тонъ, какие неминуемо внесла бы въ мой домъ эта пестрая уѣздная компанія, и слѣшилъ отказаться отъ своей мысли.

Что касается моихъ домашнихъ, то ждать отъ нихъ помощи или поддержки я могъ меньше всего. Отъ моей первой, отцовской, когда-то большой и шумной семьи уцѣлѣла одна только гувернантка м-ре Marie, или, какъ ее звали теперь, Марья Герасимовна, личность совершенно ничтожная. Эта маленькая, аккуратная старушка лѣтъ семидесяти,

одѣтая въ свѣтло-сѣрое платье и чепецъ съ бѣлыми лентами, похожая на фарфоровую куклу, всегда сидѣла въ гостию и читала книгу. Когда я проходилъ мимо нея, она, зная причину моего раздумья, всякий разъ говорила:

— Что же вы хотите, Паша? Я и раньше говорила, что это такъ будетъ. Вы по нашей прислугѣ можете судить.

Моя вторая семья, то-есть жена Наталья Гавриловна, жила въ нижнемъ этажѣ, въ которомъ занимала всѣ комнаты. Обѣдала, спала и гостей своихъ принимала она у себя внизу, совсѣмъ не интересуясь тѣмъ, какъ обѣдаю, какъ силу и кого принимаю я. Отношения наши были просты и не натянуты, но холодны, безодержательны и скучны, какъ у людей, которые давно уже далеки другъ отъ друга, такъ что даже ихъ жизнь въ смежныхъ этажахъ не походила на близость. Любви страстной, беспокойной, то сладкой, то горькой, какъ попынъ, какую прежде возбуждала во мнѣ Наталья Гавриловна, уже не было; не было уже и прежнихъ всipyшекъ, громкихъ разговоровъ, попрековъ, жалобъ и тѣхъ взрывовъ ненависти, которые оканчивались обыкновенно со стороны жены поѣздкой за границу или къ роднымъ, а съ моей стороны—посылкой денегъ по-пемногу, но почапie, чтобы чаще жалить самолюбіе жены. (Моя гордая, самолюбивая жена и ея родня живутъ на мой счетъ, и жена при всемъ своемъ желаніи не можетъ отказаться отъ моихъ денегъ—это доставляло мнѣ удовольствіе и было единственнымъ утѣшеніемъ въ моемъ горѣ). Теперь, когда мы случайно встрѣчались внизу въ коридорѣ или на дворѣ, я кланялся, она привѣтливо улыбалась; говорили мы о погодѣ, о томъ, что, кажется, пора уже вставлять двойные рамы и что кто-то со звонками по плотинѣ проѣхалъ, и въ это время я читалъ на ея лицѣ: «Я вѣрна вамъ и не порошу вашего честнаго имени, которое вы такъ любите, вы умны и не беспоконте меня—мы квиты».

Я увѣрялъ себя, что любовь давно уже погасла во мнѣ и что работа слишкомъ глубоко захватила меня, чтобы я могъ серьезно думать о своихъ отношеніяхъ къ женѣ. Но, увы!—я только думалъ такъ. Когда жена громко разговаривала внизу, я внимательно прислушивался къ ея голосу, хотя нельзя было разобрать ни одного слова. Когда она играла внизу на рояли, я вставалъ и слушалъ. Когда ей подавали экипажъ или верховую лошадь, я подходилъ къ окну и ждалъ,

когда она выйдетъ изъ дома, потомъ смотрѣль, какъ она садилась въ коляску или на лошадь и какъ выѣзжала со двора. Я чувствовалъ, что у меня въ душѣ происходить что-то неладное, и боялся, что выраженіе моего взгляда и лица можетъ выдать меня. Я провожалъ жену глазами и потомъ ожидалъ ея возвращенія, чтобы опять увидѣть въ окно ея лицо, плечи, шубку, шляпку; мнѣ было скучно, грустно, безконечно жаль чего-то, и хотѣлось въ ея отсутствіе пройтись по ея комнатамъ, и хотѣлось, чтобы вопросъ, который я и жена не сумѣли рѣшить, потому что не сошлись характерами, поскорѣе бы рѣшился самъ собою, естественнымъ порядкомъ, т. е. поскорѣе бы эта красивая 27-лѣтняя женщина состарилась и поскорѣе бы моя голова стала сѣдой и лысой.

Однажды во время завтрака мой приказчикъ Владимира Прохорычъ доложилъ мнѣ, что пестровскіе мужики стали уже сдирать соломенные крыши, чтобы кормить скотъ, Марья Герасимовна смотрѣла на меня со страхомъ и недоумѣніемъ.

— Что же я могу сдѣлать? — сказалъ я ей.—Одинъ въ полѣ не воинъ, а я еще никогда не испытывалъ такого одиночества, какъ теперь. Я бы дорого далъ, чтобы найти во всемъ уѣздѣ хоть одного человѣка, на котораго я могъ бы положиться.

— А вы пригласите Ивана Иваныча, — сказала Марья Герасимовна.

— Въ самомъ дѣлѣ! — вспомнилъ я и обрадовался.—Это идея! *C'est raison*, — запѣль я, идя къ себѣ въ кабинетъ, чтобы написать письмо Ивану Ивановичу.—*C'est raison, c'est raison...*

II.

Изъ всей массы знакомыхъ, которые когда-то, лѣтъ 25—30 назадъ, пили въ этомъ домѣ, ѿли, прїѣзжали рожеными, влюблялись, женились, надоѣдали разговорами о своихъ великолѣпныхъ сворахъ и лошадяхъ, остался въ живыхъ одинъ только Иванъ Иванычъ Брагинъ. Когда-то онъ былъ очень дѣятеленъ, болтливъ, крикливъ и влюблчивъ, и славился своимъ крайнимъ направленіемъ и какимъ-то особеннымъ выражениемъ лица, которое очаровывало не только женщинъ, но и мужчинъ; теперь же онъ совсѣмъ постарѣлъ, заплылъ жиромъ и доживалъ свой вѣкъ безъ направленія и выраженія. Пріѣхалъ онъ на другой день по полученіи отъ меня письма, вечеромъ, когда въ столов-

вой только-что подали самоварь, и маленькая Марья Герасимовна рѣзала лимонъ.

— Очень радъ васъ видѣть, мой другъ,—сказалъ я весело, встрѣчая его.—А вы все полнѣте!

— Это я не полнью, а распухъ,—отвѣтилъ онъ.—Меня пчелы покусали.

Съ фамильярностью человѣка, который самъ смѣется надъ своею толщиною, оять взялъ меня обѣими руками за талию и положилъ мнѣ на грудь свою мягкую большую голову съ волосами, зачесанными на лобъ по-хохлацки, и залился тонкимъ, старческимъ смѣхомъ.

— А вы все молодѣте!—выговорилъ онъ сквозь смѣхъ.—Не знаю, какой это вы краской голову и бороду красите, мнѣ бы дали.—Опъ, соя и задыхаясь, обнялъ меня и поцѣловалъ въ щеку.—Мнѣ бы дали...—повторилъ онъ.—Да вамъ, родной мой, есть сорокъ?

— Ого, уже сорокъ-шесть!—засмѣялся я.

Отъ Ивана Иваныча пахло свѣчнымъ саломъ и кухоннымъ дымомъ, и это шло къ нему. Его большое, распухшее, неповоротливое тѣло было стянуто въ длинный сюртукъ, похожій на кучерской кафтанъ, съ крючками и съ петлями вместо пуговицъ и съ высокою талией, и было бы странно, если бы отъ него пахло, напримѣръ, одеколономъ. Въ двойномъ, давно не бритомъ, сизомъ, напоминавшемъ репейникъ, подбородкѣ, въ выпущенныхъ глазахъ, въ одышкѣ и во всей неуклюжай, неряшливої фигурѣ, голосѣ, смѣхѣ и въ рѣчахъ трудно было узнать того стройнаго, интереснаго красибая, къ которому когда-то уѣздные мужья ревновали своихъ женъ.

— Вы мнѣ очень нужны, мой другъ,—сказалъ я, когда мы уже сидѣли въ столовой и пили чай.—Хочется мнѣ организовать какую-нибудь помошь для голодающихъ, и я не знаю, какъ за это приняться. Такъ вотъ, быть-можеть, вы будете любезны, посовѣтуете что-нибудь.

— Да, да, да...—сказать Иванъ Иванычъ, вздыхая.—Такъ, такъ, такъ...

— Я бы васъ не беспокоилъ, но, право, кромѣ вѣсть, мильнейшій, тутъ положительно не къ кому обратиться. Вы знаете, какіе тутъ люди.

— Такъ, такъ, такъ... Да...

Я подумалъ: предстояло совѣщаніе серьезное и дѣловое,

въ которомъ могъ принимать участіе всякой, независимо отъ мѣста и личныхъ отношеній, а потому не пригласить ли Наталью Гавриловну?

— *Tres faciunt collegium!*—сказалъ я весело.—Что, если бы мы пригласили Наталью Гавриловну? Какъ вы думаете? Феня,—обратился я къ горничной:—попросите Наталью Гавриловну пожаловать къ намъ наверхъ, если можно, сю минуту. Скажите: очень важное дѣло.

Немногого погодя, пришла Наталья Гавриловна. Я поднялся ей навстрѣчу и сказалъ:

— Простите, *Natalie*, что мы беспокоимъ васъ. Мы толкуемъ здѣсь объ одномъ очень важномъ дѣлѣ, и намъ пришла счастливая мысль воспользоваться вашимъ добрымъ совѣтомъ, въ которомъ вы намъ не откажете. Садитесь, прошу васъ.

Иванъ Иванычъ поцѣловалъ у Натальи Гавриловны руку, а она его въ голову, потомъ, когда всѣ сѣли за столъ, онъ, слезливо и блаженно глядя на нее, потянулся къ ней и опять поцѣловалъ руку. Одѣта она была въ черное и старателльно причесана, и пахло отъ нея свѣжими духами: очевидно, собралась въ гости или ждала къ себѣ кого-нибудь. Входя въ столовую, она просто и дружески протянула мнѣ руку и улыбалась мнѣ такъ же привѣтливо, какъ и Ивану Иванычу—это понравилось мнѣ; но она, разговаривая, двигала пальцами, часто и рѣзко откидывалась на спинку стула и говорила быстро, и эта неровность въ рѣчахъ и движенияхъ раздражала меня и напоминала мнѣ ея родину—Одессу, гдѣ общество мужчинъ и женщинъ когда-то утомляло меня своимъ дурнымъ тономъ.

— Я хочу сдѣлать что-нибудь для голодающихъ,—началь я и, помолчавъ немногого, продолжалъ:—Деньги, разумѣется, великое дѣло, но ограничиться однимъ только денежнѣмъ пожертвованіемъ и на этомъ успокоиться, значило бы откликнуться отъ главнѣйшихъ заботъ. Помощь должна заключаться въ деньгахъ, но главнымъ образомъ въ правильной и серьезной организаціи. Давайте же подумаемъ, господа, и сдѣлаемъ что-нибудь.

Наталья Гавриловна вопросительно посмотрѣла на меня и пожала плечами, какъ бы желая сказать: «Что же я знаю?»

— Да, да, голодъ...—забормоталъ Иванъ Иванычъ.—Дѣйствительно... Да...

— Положеніе серьезное,—сказалъ я:—и помощь нужна

скорѣйшая. Полагаю, пунктомъ первымъ тѣхъ правиль, которыя намъ предстоить выработать, должна быть именно скорость. По-военному: глазомѣръ, быстрота и натискъ.

— Да, быстрота... — проговорилъ Иванъ Иванычъ сонно и вяло, какъ будто засыпая.—Только ничего не подѣлаешь. Земля не уродила, такъ что ужъ тутъ... никакимъ глазомѣромъ и натискомъ ея не проймешь... Стихія... Противъ Бога и судьбы не пойдешь...

— Да, но вѣдь человѣку дана голова, чтобы бороться со стихіями.

— А? Да... Это такъ, такъ... Да.

Иванъ Иванычъ чихнуль въ платокъ, ожилъ и, какъ будто только-что проснулся, оглядѣль меня и жену.

— У меня тоже ничего не уродило, — засмѣялся онъ тонкимъ голосомъ и хитро подмигнулъ, какъ будто это въ самомъ дѣлѣ было очень смѣшно.—Денегъ нѣтъ, хлѣба нѣтъ, а работниковъ полонъ дворъ, какъ у графа Шереметьева. Хочу по шеямъ разогнать, да жалко какъ будто.

Наталья Гавrilовна разсмѣялась и стала разспрашивать Ивана Иваныча обѣ его домашнихъ дѣлахъ. Ея присутствіе доставляло мнѣ удовольствіе, какого я уже давно не испытывалъ, и я боялся смотрѣть па нее, чтобы мой взглядъ какъ-нибудь не выдалъ моего скрытаго чувства. Наши отношенія были таковы, что это чувство могло бы показаться неожиданнымъ и смѣшнымъ. Жена говорила съ Иваномъ Иванычемъ и смѣялась, писколько не смущаясь тѣмъ, что она у меня и что я не смѣюсь.

— Итакъ, господа, что же мы сдѣляемъ? — спросилъ я, выждавъ паузу.—Полагаю, мы прежде всего, по возможности скорѣе, объявимъ подписку. Мы, *Natalie*, напишемъ нашимъ столичнымъ и одесскимъ знакомымъ и привлечемъ ихъ къ пожертвованіямъ. Когда же у насъ соберется малая толика, мы займемся покупкой хлѣба и корма для скота, а вы, Иванъ Иванычъ, будете добры, займитесь распределеніемъ пособій. Во всемъ полагаясь на присущіе вамъ тактъ и распорядительность, мы съ своей стороны позволимъ себѣ только выразить желаніе, чтобы вы, прежде чѣмъ выдавать пособіе, подробно знакомились на мѣстѣ со всѣми обстоятельствами дѣла, а также, что очень важно, имѣли бы наблюденіе, чтобы хлѣбъ былъ выдаваемъ только истинно нуждающимся, но отнюдь не пьяницамъ, не лѣнтямъ и не кулакамъ.

— Да, да, да...—забормоталъ Иванъ Иванычъ.—Такъ, такъ, такъ...

«Ну, съ этой слюнявою развалиной каши не сваришь»,— подумалъ я и почувствовалъ раздраженіе.

— Надоѣли мнѣ эти голодающіе, ну ихъ! И все обижаются и все обижаются,—продолжалъ Иванъ Иванычъ, обсасывая лимонную корку. — Голодные обижаются на сытыхъ. И тѣ, у кого есть хлѣбъ, обижаются на голодныхъ. Да... Съ голоду человѣкъ шалѣеть, дурѣеть, становится дикій. Голодъ не картошка. Голодный и грубости говорить, и воруетъ, и, можетъ, еще что похуже... Понимать надо.

Иванъ Иванычъ поперхнулся чаемъ, закашлялся и весь затрясся отъ скрипучаго удушливаго смѣха.

— Было дѣло подъ Полтавой! — выговорилъ онъ, отмахиваясь обѣими руками отъ смѣха и кашля, которые мѣшиали ему говорить. — Было дѣло подъ Полтавой! Когда года черезъ три послѣ воли быть тутъ въ двухъ уѣздахъ голодъ, прїѣзжаетъ ко мнѣ покойничекъ Федоръ Федорычъ и зоветъ къ себѣ. Поѣдемъ да поѣдемъ,—присталъ, какъ съ ножомъ къ горлу. Отчего жъ? Поѣдемъ, говорю. Ну, взяли и поѣхали. Дѣло было къ вечеру, сиѣжокъ шель. Подъѣзжаемъ уже ночью къ его усадьбѣ и вдругъ изъ лѣсу— баць! и въ другой разъ: баць! Ахъ ты, шутъ тебя... Выскочилъ я изъ саней, гляжу—въ потемкахъ на меня человѣкъ бѣжитъ и по колѣна въ сиѣгу грузнетъ; я его обхватилъ рукой за плечи, вотъ этакъ, и выбилъ изъ руки ружьишко, потомъ другой подвернулся, я его по затылку урѣзаль, такъ что онъ крякнулъ и въ сиѣгу носомъ чкнулся, — здоровый я тогда былъ, рука тяжелая; я съ двумя управился, гляжу, а Федя уже на третьемъ верхомъ сидитъ. Задержали мы трехъ молодчиковъ, ну, скрутили имъ назадъ руки, чтобъ какого зла намъ и себѣ не сдѣляли, и привели дураковъ въ кухню. И зло на нихъ береть, и глядѣть стыдно: мужики-то знакомые и народъ хороший, жалко. Совсѣмъ одурѣли съ перепугу. Одинъ плачетъ и прощенія просить, другой звѣремъ глядѣть и ругается, третій сталъ на колѣни и Богу молится. Я и говорю Федѣ: не обижайся, отпусти ты ихъ, подлецовъ! Онъ накормилъ ихъ, даль по пуду муки и отпустилъ: ступайте къ шуту! Такъ вотъ какъ... Царство небесное, вѣчный покой! Понималъ и не обижался, а были, которые обижались, и сколько

народу перенортили! Да... Изъ-за одного клочковского кабака одиннадцать человѣкъ въ арестантскія роты пошли. Да... И теперь, гляди, то же самое... Въ четвергъ у меня ночевалъ слѣдователь Анисынъ, такъ вотъ онъ разсказывалъ про какого-то помѣщика... Да... Ночью у помѣщика разобрали стѣну въ амбарѣ и вытащили двадцать кулей ржи. Когда утромъ помѣщикъ узналъ, что у него такой криминаль случился, то сейчасъ бухъ губернатору телеграмму, потомъ другую бухъ прокурору, третью исправнику, четвертую слѣдователю... Извѣстно, кляузниковъ боятся... Начальство всполонилось, и началась катафасія. Дѣвъ деревни обыскивали.

— Позвольте, Иванъ Иванычъ,—сказалъ я.—Двадцать кулей ржи украли у меня, и это я телеграфировалъ губернатору. Я и въ Петербургъ телеграфировалъ. Но это вовсе не изъ любви къ кляузничеству, какъ вы изволили выражаться, и не потому, что я обижался. На всякое дѣло я прежде всего смотрю съ принципіальной стороны. Крадетъ ли сытый или голодный—для закона безразлично.

— Да, да...—забормоталъ Иванъ Иванычъ, смутившись.— Конечно... Такъ, да...

Наталья Гавrilovna покраснѣла.

— Есть люди...—сказала она и остановилась; она сѣдала надъ собой усиление, чтобы казаться равнодушной, но не выдержала и посмотрѣла мнѣ въ глаза съ ненавистью, которая мнѣ была такъ знакома. — Есть люди,—сказала она:—для которыхъ голодъ и человѣческое горе существуютъ только для того, чтобы можно было срывать на нихъ свой дурной, ничтожный характеръ.

Я смущился и пожалъ плечами.

— Я хочу сѣ вѣтъ вообще,—продолжала она:— есть люди совершенно равнодушные, лишенные всякаго чувства состраданія, но которые не проходятъ мимо человѣческаго горя и вмѣшиваются изъ страха, что безъ нихъ могутъ обойтись. Для ихъ тщеславія нѣтъ ничего святого.

— Есть люди,—сказалъ я мягко:—которые обладаютъ ангельскимъ характеромъ, но выражаютъ свои великолѣпныя мысли въ такой формѣ, что бываетъ трудно отличить ангела отъ особы, торгующей въ Одессѣ на базарѣ.

Сознаюсь, это было сказано неудачно.

Жена поглядѣла на меня такъ, какъ будто ей стояло

большихъ усилий, чтобы молчать. Ея внезапная вспышка и затмѣнье неумѣстное краснорѣчіе по-поводу моего желанія помочь голодающимъ были по меньшей мѣрѣ неумѣстны; когда я приглашалъ ее наверхъ, я ожидалъ совсѣмъ иного отношенія къ себѣ и къ своимъ намѣреніямъ. Не могу сказать определенно, чего я ожидалъ, но ожиданіе пріятно волновало меня. Теперь же я видѣлъ, что продолжать говорить о голодающихъ было бы тяжело и, пожалуй, не умно.

— Да... — забормоталъ Иванъ Иванычъ некстати. — У купца Бурова тысяча четыреста есть, а, можетъ, и больше. Я ему и говорю: «Отвали-ка, тезка, голодающимъ тысячу сто или двѣсти. Все равно помирать будешь, на тотъ свѣтъ съ собой не возьмешь». Обидѣлся. А помирать-то вѣдь надо. Смерть не картошка.

Опять наступило молчаніе.

— Итакъ, значитъ, остается одно: мириться съ одиночествомъ, — вздохнулъ я. — Одинъ въ полѣ не воинъ. Ну, что жъ! Попробую и одинъ воевать. Авось, война съ голodomъ будетъ болѣе успѣшина, чѣмъ война съ равнодушiemъ.

— Меня внизу ждутъ, — сказала Наталья Гавриловна. — Она встала изъ-за стола и обратилась къ Ивану Иванычу: — Такъ вы придете ко мнѣ внизъ на минуточку? Я не прощаюсь съ вами.

И ушла.

Иванъ Иванычъ пилъ уже седьмой стаканъ, задыхаясь, чмокая и обсасывая то усы, то лимонную корку. Онъ сонно и вяло бормоталъ о чёмъ-то, а я не слушалъ и ждалъ, когда онъ уйдетъ. Наконецъ, съ такимъ выражениемъ, какъ будто онъ приѣхалъ ко мнѣ только за тѣмъ, чтобы напиться чаю, онъ поднялся и стала прощаться. Провожая его, я сказалъ:

— Итакъ, вы не дали мнѣ никакого совѣта.

— А? Я человѣкъ сырой, отупѣлъ, — отвѣтилъ онъ. — Какіе мои совѣты? И вы напрасно беспокоитесь... Не знаю, право, отчего вы беспокоитесь? Не беспокойтесь, голубчики! Ей-Богу ничего нѣтъ... — зашепталъ онъ ласково и искренно, успокаивая меня, какъ ребенка. — Ей-Богу ничего!..

— Какъ же ничего? Мужики сдираютъ съ избъ крыши и уже, говорятъ, гдѣ-то тифъ.

— Ну, такъ что же? Въ будущемъ году уродить, будутъ новые крыши, а если помремъ отъ тифа, то послѣ насть

другіе люди жить будуть. И все равно помирать надо, не теперь, такъ послѣ. Не беспокойтесь, красавець!

— Я не могу не беспокоиться,—сказалъ я раздраженно.

Мы стояли въ слабо освѣщенной передней. Иванъ Иванычъ вдругъ взялъ меня за локоть и, собираясь сказать что-то, повидимому, очень важное, съ полминуты молча смотрѣлъ на меня.

— Павель Андреичъ!—сказалъ онъ тихо, и на его жирномъ застывшемъ лицѣ и въ темныхъ глазахъ вдругъ вспыхнуло то особенное выраженіе, которымъ онъ когда-то славился, въ самомъ дѣлѣ очаровательное. — Павель Андреичъ, скажу я вамъ по-дружески: перемѣните ваши характеры! Тяжело съ вами! Голубчикъ, тяжело!

Онъ пристально посмотрѣлъ мнѣ въ лицо; прекрасное выраженіе потухло, взглядъ потускнѣлъ, и онъ забормоталъ вяло и соня.

— Да, да... Извините старика... Чепухенція... Да...

Тяжело спускаясь внизъ по лѣстницѣ, растопыривъ руки для равновѣсія и показывая мнѣ свою жирную громадную спину и красный затылокъ, онъ давалъ непріятное впечатлѣніе какого-то краба.

— Бѣхали бы вы куда - нибудь, ваше превосходительство,—бормоталъ онъ. — Въ Петербургъ или за границу... Зачѣмъ вамъ тутъ жить и золотое время терять? Человѣкъ вы молодой, здоровый, богатый... Да... Эхъ, будь я помоглъ, улепетнулъ бы, какъ заяцъ, и только бы въ ушахъ засвистѣло!

III.

Вспышка жены напомнила мнѣ нашу супружескую жизнь. Прежде, обыкновенно, послѣ всякой вспышки наскъ непрѣодолимо тянуло другъ къ другу, мы сходились и пускали въ ходъ весь динамитъ, какой съ теченіемъ времени скоплялся въ нашихъ душахъ. И теперь послѣ ухода Ивана Иваныча, меня сильно потянуло къ женѣ. Мнѣ хотѣлось сойти внизъ и сказать ей, что ея поведеніе за чаемъ оскорбило меня, что она жестока, мелочна, и со своимъ мѣщанскимъ умомъ никогда не возвышалась до пониманія того, что я говорю и что я дѣлаю. Я долго ходилъ по комнатамъ, придумывая, что скажу ей, и угадывая то, что она мнѣ отвѣтить.

То беспокойство, которое томило меня въ послѣднѣе времена,

въ этот вечеръ, когда ушелъ Иванъ Иванычъ, я чувствовалъ въ какой-то особенной раздражающей формѣ. Я не могъ ни сидѣть, ни стоять, а ходилъ и ходилъ, причемъ выбиралъ только освѣщенныя комнаты и держался ближе той, въ которой сидѣла Марья Герасимовна. Было чувство, очень похожее на то, какое я испытывалъ однажды на Нѣмецкомъ морѣ во время бури, когда всѣ боялись, что палоходъ, не имѣвши груза и балласта, опрокинется. И въ этотъ вечеръ я понялъ, что мое беспокойство было не разочарованіе, какъ я думалъ раньше, а что-то другое, но что именно, я не понималъ, и это меня еще больше раздражало.

«Пойду къ ней,—рѣшилъ я.—А предлогъ можно выдумать. Скажу, что мнѣ понадобился Иванъ Иванычъ, вотъ и все».

Я спустился внизъ и по коврамъ, не торопясь, прошелъ переднюю и залу. Иванъ Иванычъ сидѣлъ въ гостиной на диванѣ, опять пилъ чай и бормоталъ. Жена стояла противъ него, держась за спинку кресла. На лицѣ у нея было то тихое, сладкое и послушное выраженіе, съ какимъ слушаютъ юродивыхъ и блаженнѣнныхъ, когда въ ничтожныхъ словахъ и въ бормотаніи предполагаютъ особое, скрытое значеніе. Въ выраженіи и позѣ жены, показалось мнѣ, было что-то психопатическое или монашеское, и ея комнаты со старинною мебелью, со сияющими птицами въ клѣткахъ и съ запахомъ герани, невысокія, полутемныя, очень теплые, напоминали мнѣ покой игумены или какои-нибудь бого-мольной старухи-генеральши.

Я вошелъ въ гостиную. Жена не выразила ни удивленія, ни смущенія и посмотрѣла на меня сурово и спокойно, какъ будто знала, что я приду.

— Виновать, — сказалъ я мягко. — Очень радъ, Иванъ Иванычъ, что вы еще не уѣхали. Забылъ я у васъ на-верху спросить: не знаете ли, какъ имя и отчество пред-сѣдателя нашей земской управы?

— Андрей Станиславовичъ. Да...

Merci, — сказалъ я, досталъ изъ кармана книжку и записалъ.

Наступило молчаніе, въ продолженіе которого жена и Иванъ Иванычъ, вѣроятно, ждали, когда я уйду; жена не вѣрила, что мнѣ нуженъ предсѣдатель земской управы — это я видѣлъ по ея глазамъ.

— Такъ я пойду, красавица, — забормоталъ Иванъ Ива-

нычъ, когда я прошелся по гостиной разъ-другой и потомъ сѣль около камина.

— Нѣть, — быстро сказала Наталья Гавриловна, дотронувшись до его руки.— Еще четверть часа... Прощу васъ.

Очевидно, ей не хотѣлось оставаться со мной съ глазу на глазъ, безъ свидѣтелей.

«Что жъ, я и подожду четверть часа», — подумалъ я.

— А, идеть снѣгъ! — сказалъ я, вставая и глядя въ окно. — Превосходный снѣгъ! Иванъ Иванычъ, — продолжалъ я, прохаживаясь по гостиной: — я очень жалѣю, что я не охотникъ. Воображаю, какое удовольствіе по такому снѣгу гоняться за зайцами и волками!

Жена, стоя на одномъ мѣстѣ и не поворачивая головы, а только искоса поглядывая, слѣдила за моими движеніями; у нея было такое выраженіе, какъ будто я пряталъ въ карманѣ острый ножъ и револьверъ.

— Иванъ Иванычъ, возьмите меня какъ - нибудь на охоту, — продолжалъ я мягко.— Я буду вамъ очень, очень благодаренъ.

Въ это время въ гостиную вошелъ гость. Это былъ незнакомый мнѣ господинъ, лѣтъ сорока, высокий, плотный, изѣнивый, съ большою русою бородой и съ маленькими глазами. По помятому, мѣшковатому платью и по манерамъ я принялъ его за дѣячка или учителя, но жена отрекомендовала мнѣ его докторомъ Соболемъ.

— Очень, очень радъ познакомиться! — сказалъ докторъ громко, теноромъ, крѣпко пожимая мнѣ руку и наивно улыбаясь.— Очень радъ.

Онъ сѣлъ за столъ, взялъ стаканъ чаю и сказалъ громко:

— А нѣть ли у васъ случаемъ рому или коньячу? Будьте милостивы, Оля, — обратился онъ къ горничной: — поищите въ шкафчикѣ, а то я озябъ.

Я опять сѣлъ у камина, глядѣлъ, слушалъ и изрѣдка вставлялъ въ общій разговоръ какое-нибудь слово. Жена привѣтливо улыбалась гостямъ и зорко слѣдила за мною, какъ за звѣремъ; она тяготилась моимъ присутствіемъ, а это возбуждало во мнѣ ревность, досаду и упрямое желаніе причинить ей боль. Жена, думалъ я, эти уютныя комнаты, мѣстечко около камина — мои, давно мои, но почему-то какой - нибудь выжившій изъ ума Иванъ Иванычъ или Соболь имѣютъ на нихъ больше права, чѣмъ я. Теперь я

вижу жену не въ окно, а въблизи себя, въ обычной домашней обстановкѣ, въ той самой, которой недостаетъ мнѣ теперь въ мои пожилые годы, и несмотря на ея ненависть ко мнѣ, я скучаю по ней, какъ когда-то въ дѣтствѣ скучалъ по матери и нянѣ, и чувствую, что теперь подъ старость, я люблю ее чище и выше, чѣмъ любилъ прежде,—и поэтому мнѣ хочется подойти къ ней, покрѣпче наступить ей каблукомъ на носокъ, причинить боль и при этомъ улыбнуться.

— Мосье Енотъ, — обратился я къ доктору: — сколько у насъ въ уѣздѣ больницъ?

— Соболь... — поправила жена.

— Дѣвѣсь, — отвѣтила Соболь.

— А сколько покойниковъ приходится ежегодно на долю каждой больницы?

— Павель Андреичъ, мнѣ нужно поговорить съ вами,—сказала мнѣ жена.

Она извинилась предъ гостями и вышла въ сосѣднюю комнату. Я всталь и пошелъ за ней.

Вы сію же минуту уйдете къ себѣ наверхъ, — сказала она.

Вы дурно воспитаны,—сказать я.

Вы сію же минуту уйдете къ себѣ наверхъ, — рѣзко повторила она и съ ненавистью посмотрѣла мнѣ въ лицо.

Она стояла такъ близко, что если бы я немножко наклонился, то моя борода коснулась бы ея лица.

Но что такое? — сказала я. — Въ чемъ я такъ вдругъ провинился?

Подбородокъ ея задрожалъ. она торопясь вытерла глаза, мелькомъ взглянула на себя въ зеркало и прошептала:

Начинается опять старая исторія. Вы, конечно, не уйдете. Ну, какъ хотите. Я сама уйду, а вы оставайтесь.

Она съ рѣшительнымъ лицомъ, а я пожимая плечами и стараясь насыщенно улыбаться, вернулись въ гостиную. Здѣсь уже были новые гости: какая-то пожилая дама и молодой человѣкъ въ очкахъ. Не здороваясь съ новыми и не прощаюсь со старыми, я пошелъ къ себѣ.

Послѣ того, что произошло у меня за чаемъ и потому внизу, для меня стало ясно, что наше «семейное счастье», о которомъ мы стали уже забывать въ эти послѣдніе два года, въ силу какихъ-то ничтожныхъ, безмыслиенныхъ причинъ возобновлялось опять, и что ни я, ни жена не могли

уже остановиться, и что завтра или послѣ завтра вслѣдъ за взрывомъ ненависти, какъ я могъ судить по опыту прошлыхъ лѣтъ, должно будетъ произойти что-нибудь отвратительное, что перевернетъ весь порядокъ нашей жизни. Значитъ, въ эти два года, думалъ я, начиная ходить по своимъ комнатамъ, мы не стали умнѣе, холоднѣе и покойнѣе. Значитъ, опять пойдутъ слезы, крики, проклятія, чемоданы, заграница, потомъ постоянный болѣзнейший страхъ, что она тамъ, за границей, съ какимъ-нибудь франтомъ, итальянцемъ или русскимъ, надругается надо мной, опять отказать въ паспортѣ, письма, круглое одиночество, скуча по ней, а черезъ пять лѣтъ старость, сѣдые волосы... Я ходилъ и воображалъ то, чего не можетъ быть, какъ она, красивая, пополнѣвшая, обнимается съ мужчиной, котораго я не знаю... Уже увѣренный, что это непремѣнно произойдетъ, отчего,—спрашивалъ я себя въ отчаяніи,—отчего въ одну изъ прошлыхъ давнишнихъ ссоръ я не далъ ей развода, или отчего она въ ту пору не ушла отъ меня совсѣмъ, навсегда? Теперь бы не было этой тоски по ней, ненависти, тревоги, и я доживалъ бы свой вѣкъ покойно, работалъ, ни о чемъ не думая...,

Во дворъ вѣхала карета съ двумя фонарями, потомъ широкія сани тройкой. У жены, очевидно, былъ вечеръ.

До полуночи внизу было тихо, и я ничего не слышалъ, но въ полночь задвигали стульями, застучали посудой. Значить ужинъ. Потомъ опять задвигали стульями, и мнѣ изъ-подъ пола послышался шумъ; кричали, кажется, ура. Марья Герасимовна уже спала, и во всемъ верхнемъ этажѣ былъ только я одинъ; въ гостиной глядѣли на меня со стѣнъ портреты моихъ предковъ, людей ничтожныхъ и жестокихъ, а въ кабинетѣ непріятно подмигивало отраженіе моей лампы въ окнѣ. И съ завистливымъ, ревнивымъ чувствомъ къ тому, что происходило внизу, я прислушивался и думалъ: «Хозяинъ тутъ я; если захочу, то въ одну минуту могу разогнать всю эту почтенную компанию». Но я зналъ, что это вздоръ, никого разогнать нельзя и слово «хозяинъ» ничего не значитъ. Можно сколько угодно считать себя хозяиномъ, женатымъ, богатымъ, камерь-юнкеромъ, и въ то же время не знать, что это значитъ.

Послѣ ужина кто-то внизу запѣлъ теноромъ.

«Вѣдь ничего же не случилось особенного!—убѣждая я

себя.—Что же я такъ волнуюсь? Завтра не пойду къ ней внизъ, вотъ и все—и конецъ нашей ссорѣ».

Въ четверть второго я поспѣлъ спать.

— Внизу уже разъѣхались гости? — спросилъ я у Алексѣя, который раздѣвалъ меня.

— Точно такъ, разъѣхались.

— А зачѣмъ кричали ура?

— Алексѣй Дмитрічъ Махоновъ пожертвовали на голодающихъ тысячу пудовъ муки и тысячу рублей денегъ. И старая барыня, не знаю какъ ихъ звать, обѣщали устроить у себя въ имѣніи столовую на полтораста человѣкъ. Слава Богу-съ... Отъ Натальи Гавrilovны вышло такое рѣшеніе: всѣмъ господамъ собираяться каждую пятницу.

— Собираться здѣсь внизу?

— Точно такъ. Передъ ужиномъ бумагу читали: съ августа по сей день Наталья Гавrilovna собрали тысячу восемь деньгами, кромѣ хлѣба. Слава Богу-съ... Я такъ понимаю, ваше превосходительство, ежели барыня похлопочутъ за спасеніе души, то много соберутъ. Народъ тутъ есть богатый.

Отпустивъ Алексѣя, я потушилъ огонь и укрылся съ головой.

«Въ самомъ дѣлѣ, что я такъ беспокоюсь?—думалъ я.—Какая сила тянетъ меня къ голодающимъ, какъ бабочку на огонь? Вѣдь я же ихъ не знаю, не понимаю, никогда не видѣлъ и не люблю. Откуда же это беспокойство?»

Я вдругъ перекрестился подъ одѣяломъ.

«Но какова?—говорилъ я себѣ, думая о женѣ.—Тайно отъ меня въ этомъ домѣ цѣлый комитетъ. Почему тайно? Почему заговоръ? Что я имъ сдѣлалъ?»

Иванъ Иванычъ правъ:—мнѣ нужно уѣхать!

На другой день я проснулся съ твердымъ рѣшеніемъ—поскорѣе уѣхать. Подробности вчерашняго дня—разговоръ за чаемъ, жена, Соболь, ужинъ, мои страхи—томили меня, и я радъ былъ, что скоро избавлюсь отъ обстановки, которая напоминала мнѣ обо всемъ этомъ. Когда я пилъ кофе, управляющій Владиміръ Прохорычъ длинно докладывалъ мнѣ о разныхъ дѣлахъ. Самое пріятное онъ приберегъ къ концу.

— Воры, что рожь у насъ украли, нашлись,—должить онъ, улыбаясь.—Вчера слѣдователь арестовалъ въ Пестровѣ трехъ мужиковъ.

— Убирайтесь вонъ!—крикнулъ я ему, страшно разсер-

дился, и ни съ того ни съ сего схватилъ корзину съ бисквитами и бросилъ ее на полъ.

IV.

Послѣ завтрака я потиралъ руки и думать: надо пойти къ женѣ и объявить ей о своемъ отѣздѣ. Для чего? Кому это нужно? Никому не нужно, отвѣтить я себѣ, но почему же и не объявить, тѣмъ болѣе, что это не доставить ей ничего, кромѣ удовольствія? Къ тому же уѣхать послѣ вчерашиней ссоры, не сказавши ей ни одного слова, было бы не совсѣмъ тактично: она можетъ подумать, что я испугался ея, и, пожалуй, мысль, что она выжила меня изъ моего дома, будетъ тяготить ее. Не мѣшаетъ также объявить ей, что я жертвуя пять тысячъ, и дать ей иѣсколько совѣтовъ насчетъ организаціи и предостеречь, что ея неопытность въ такомъ сложномъ, отвѣтственномъ дѣлѣ можетъ повести къ самымъ плачевнымъ результатамъ. Однимъ словомъ, меня тянуло къ женѣ и, когда я придумывалъ разные предлоги, чтобы пойти къ ней, во мнѣ уже сидѣла крѣпкая увѣренность, что я это непремѣнно сдѣлаю.

Когда я пошелъ къ ней, было свѣтло и еще не зажигали лампъ. Она сидѣла въ своей рабочей комнатѣ, проходной между гостиной и спальней, и, низко нагнувшись къ столу, что-то быстро писала. Увидѣвъ меня, она вздрогнула, вышла изъ-за стола и остановилась въ такой позѣ, какъ будто загораживала отъ меня свои бумаги.

— Виновать, я на одну минуту,—сказалъ я и, не знаю отчего, смущился.— Я узналъ случайно, что вы, Natalie, организуете помощь голодающимъ.

— Да, организую. Но это мое дѣло,—отвѣтила она.

— Да, это ваше дѣло,—сказалъ я мягко.— Я радъ ему, потому что оно вполнѣ отвѣтаетъ моимъ намѣреніямъ. Я прошу позволенія участвовать въ немъ.

— Простите, я не могу вамъ этого позволить,—отвѣтила она и посмотрѣла въ сторону.

— Почему же, Natalie?—спросилъ я тихо.— Почему же? Я тоже сѣть и тоже хочу помочь голодающимъ.

— Я не знаю, при чѣмъ вы тутъ?—спросила она, прозрительно усмѣхнувшись и пожавъ однимъ плечомъ.— Васть никто не просить.

— И васть никто не просить, однако же, вы въ *моемъ* домѣ устроили цѣлый комитетъ!—сказалъ я.

— Меня просять, а вать, повѣрте, никто и никогда не попросить. Идите, помогайте тамъ, гдѣ вать не знаютъ.

— Бога ради, не говорите со мною такимъ тономъ.

Я старался быть кроткимъ и всѣми силами души умоляль себя не терять хладнокровія. Въ первыя минуты мнѣ было хорошо около жены. На меня вѣяло чѣмъ-то мягкимъ, домовитымъ, молодымъ, женственнымъ, въ высшей степени изящнымъ, именно тѣмъ, чего такъ не хватало въ моемъ этажѣ и вообще въ моей жизни. На женѣ была канотт изъ розовой фланели — это сильно молодило ее и придавало мягкость ея быстрымъ, иногда рѣзкимъ движеніямъ. Ея хорошие темные волосы, одинъ видъ которыхъ когда-то возбуждалъ во мнѣ страсть, теперь оттого, что она долго сидѣла нагнувшись, выбились изъ прически и имѣли беспорядочный видъ, но отъ этого казались мнѣ еще пышнѣе и роскошнѣе. Впрочемъ, все это банально до пошлости. Передо мною стояла обыкновенная женщина, быть-можеть, некрасивая и неизящная, но это была моя жена, съ которой я когда-то жилъ и съ которой жилъ бы до сего дня, если бы не ея несчастный характеръ; это была единственный на всемъ земномъ шарѣ человѣкъ, котораго я любилъ. Теперь передъ отѣздомъ, когда я зналъ, что не буду видѣть ея даже въ окно, она, даже суровая и холодная, отвѣчающая мнѣ съ гордою, презрительною усмѣшкой, казалась обольстительной, я гордился ею и сознавался себѣ, что уѣхать отъ нея мнѣ страшно и невозможно.

— Павель Андреичъ, — сказала она послѣ нѣкотораго молчанія: — два года мы не мѣниали другъ другу и жили покойно. Зачѣмъ это вдругъ вамъ такъ понадобилось возвращаться къ прошлому? Вчера вы пришли, чтобы оскорбить меня и унизить, — продолжала она, возвышеная голосъ, и лицо ея покраснѣло, и глаза вспыхнули ненавистью: — но воздержитесь, не дѣлайте этого, Павель Андреичъ! Завтра я подамъ прошеніе, мнѣ дадутъ паспортъ, и я уйду, уйду, уйду! Уйду въ монастырь, во вдовій домъ, въ богадѣльню...

— Въ сумасшедшій домъ! — крикнулъ я, не выдержавъ.

— Даже въ сумасшедшій домъ! Лучше! лучше! — продолжала она кричать, блестя глазами. — Сегодня, когда я была въ Пестровѣ, я завидовала голоднымъ и больнымъ бабамъ, потому что они не живутъ съ такимъ человѣкомъ, какъ вы. Они честны и свободны, а я, по вашей милости, тунея-

дица, погибаю въ праздности, ъмъ вань хлѣбъ, трачу вани деньги и плачу вамъ своею свободой и какою-то вѣрностью, которая никому не нужна. За то, что вы не даете мнѣ паспорта, я должна стеречь ваше честное имя, котораго у васъ нѣть.

Надо было молчать. Стиснувъ зубы, я быстро вышелъ въ гостиную, но тотчасъ же вернулся и сказалъ:

— Убѣдительно прошу, чтобы этихъ сборищъ, заговоровъ и конспиративныхъ квартиръ у меня въ домѣ больше не было! Въ свой домъ я пускаю только тѣхъ, съ кѣмъ я знакомъ, а эта вся ваша сволочь, если ей угодно заниматься филантропіей, пусть ищетъ себѣ другое мѣсто. Я не позволю, чтобы въ моемъ домѣ по ночамъ кричали ура отъ радости, что могутъ эксплуатировать такую психопатку, какъ вы!

Жена, ломая руки и съ протяжнымъ стономъ, какъ будто у нея болѣли зубы, блѣдная, быстро прошлась изъ угла въ уголъ. Я махнулъ рукой и вышелъ въ гостиную. Меня душнило бѣшенство, и въ то же время я дрожалъ отъ страха, что не выдержу и сдѣлаю или скажу что-нибудь такое, въ чемъ буду раскаиваться всю мою жизнь. И я крѣпко скималъ себѣ руки, думая, что этимъ сдерживаю себя.

Вышивъ воды, немного успокоившись, я вернулся къ женѣ. Она стояла въ прежней позѣ, какъ бы загораживая отъ меня столъ съ бумагами. По ея холодному, блѣдному лицу медленно текли слезы. Я помолчалъ и сказалъ ей съ горечью, но уже безъ гнѣва:

— Какъ вы меня не понимаете! Какъ вы ко мнѣ несправедливы! Клянусь честью, я шелъ къ вамъ съ чистыми побужденіями, съ единственнымъ желаніемъ — сдѣлать добро!

— Павель Андреичъ, — сказала она, сложивъ на груди руки, и ея лицо приняло страдальческое, умоляющее выраженіе, съ какимъ испуганныя, плачущія дѣти просятъ, чтобы ихъ не наказывали. — Я отлично знаю, вы мнѣ откажете, но я все-таки прошу. Принудьте себя, сдѣлайте хоть разъ въ жизни доброе дѣло. Я прошу васъ, уѣзжайте отсюда! Это единственное, что вы можете сдѣлать для голодающихъ. Уѣзжайте, и я прощу вамъ все, все!

— Напрасно вы меня оскорбляете, Natalie, — вздохнула я, чувствуя вдругъ особенный приливъ смиренія. — Я уже рѣшилъ уѣхать, но я не уѣду, прежде чѣмъ не сдѣлаю чего-нибудь для голодающихъ. Это — мой долгъ.

— Ахъ! — сказала она тихо и нетерпѣливо поморщи-

лась.—Вы можете сдѣлать отличную желѣзную дорогу или мостъ, но для голодающихъ вы ничего не можете сдѣлать. Поймите вы!

— Да? Вы вчера поиредкнули меня въ равнодушіи и въ томъ, что я лишенъ чувства состраданія. Какъ вы меня хорошо знаете!—усмѣхнулся я.—Вы вѣрюете въ Бога, такъ вотъ вамъ Богъ свидѣтель, что я безнокоюсь день и ночь....

— Я вижу, что вы беспокоитесь, но голодъ и состраданіе тутъ ни при чемъ. Вы беспокоитесь оттого, что голодающіе обходятся безъ васъ, и что земство и вообще всѣ помогающіе не нуждаются въ вашемъ руководительствѣ.

Я помолчалъ, чтобы подавить въ себѣ раздраженіе и сказалъ:

— Я пришелъ, чтобы поговорить съ вами о дѣлѣ. Садитесь. Садитесь, прошу васъ.

Она не садилась.

— Садитесь, прошу васъ!—повторилъ я и указалъ ей на стулъ.

Она сѣла. Я тоже сѣлъ, подумалъ и сказалъ:

— Прошу васъ отнестись серьезно къ тому, что я говорю. Слушайте... Вы, побуждаемая любовью къ ближнему, взяли на себя организацію помощи голодающимъ. Противъ этого, конечно, я ничего не имѣю, вполнѣ вамъ сочувствуя и готовъ оказывать вамъ всякое содѣйствіе, каковы бы отношения наши ни были. Но при всемъ уваженіи моемъ къ вашему уму и сердцу... и сердцу,—повторилъ я:—я не могу допустить, чтобы такое трудное, сложное и отвѣтственное дѣло, какъ организація помощи, находилась въ одиѣхъ только вашихъ рукахъ. Вы женщина, вы неопытны, незнакомы съ жизнью, слишкомъ довѣрчивы и экспансивны. Вы окружили себя помощниками, которыхъ совершенно не знаете. Не преувеличу, если скажу, что при названныхъ условіяхъ ваша дѣятельность неминуемо повлечетъ за собою два печальныхъ послѣдствія. Во-первыхъ, нашъ уѣздъ останется совершенно безъ помощи, и во-вторыхъ, за свои ошибки и за ошибки вашихъ помощниковъ вамъ придется расплачиваться не только собственными карманами, но и своею репутацией. Растраты и упущенія, допустимъ, я покрою, но кто вамъ возвратить ваше честное имя? Когда вслѣдствіе плохого контроля и ущущеній разнесется слухъ, что вы, а, стало-быть, и я, нажили на этомъ дѣлѣ двѣсти тысячи, то развѣ ваши помощники придутъ къ вамъ на помощь?

Она молчала.

— Не изъ самолюбія, какъ вы говорите, — продолжалъ я:—а просто изъ расчета, чтобы голодающіе не остались безъ помощи, а вы безъ честнаго имени, я считаю своимъ нравственнымъ долгомъ вмѣшаться въ ваши дѣла.

— Говорите покороче,—сказала жена.

— Вы будете такъ добры,—продолжалъ я:— укажете мнѣ, сколько у васъ поступило до сегодня на приходъ и сколько вы уже потратили. Затѣмъ о каждомъ новомъ поступленіи деньгами или натурой, о каждомъ новомъ расходѣ вы будете ежедневно извѣщать меня. Вы, Natalie, дадите мнѣ также списокъ вашихъ помощниковъ. Быть-можеть, они вполнѣ порядочные люди, я не сомнѣваюсь въ этомъ, но все-таки необходимо навести справки.

Она молчала. Я всталъ и прошелся по комнатѣ.

— Давайте же займемся,—сказалъ я и сѣлъ за ея столъ.

— Вы это серьезно?—спросила она, глядя на меня съ недоумѣniемъ и испугомъ.

— Natalie, будьте разсудительны! —сказалъ я умоляюще, видя по ея лицу, что она хочетъ протестовать. — Прошу васъ, довѣрьтесь вполнѣ моему опыту и порядочности!

— Я все-таки не понимаю, что вамъ нужно!

— Покажите мнѣ, сколько вы уже собрали и сколько истратили.

— У меня нѣтъ тайнъ. Всякій можетъ видѣть. Смотрите.

На столѣ лежало штуку пять ученическихъ тетрадокъ, не сколько листовъ исписанной почтовой бумаги, карта уѣзда и множество клочковъ бумаги всякаго формата. Наступали сумерки. Я зажегъ свѣчу.

— Извините, я пока еще ничего не вижу,—сказалъ я, перелистывая тетради.—Гдѣ у васъ вѣдомость о поступленіи пожертвованій деньгами?

— Это видно изъ подписныхъ листовъ.

— Да-съ, но вѣдь и вѣдомость же нужна! —сказалъ я, улыбаясь ея наивности.—Гдѣ у васъ письма, при которыхъ вы получали пожертвованія деньгами и натурой? Pardon, маленькое практическое указаніе, Natalie: эти письма необходимо беречь. Вы каждое письмо нумеруйте и записывайте его въ особую вѣдомость. Такъ же вы поступайте и со своими письмами. Впрочемъ, все это я буду дѣлать самъ.

— Дѣлайте, дѣлайте...—сказала она.

Я былъ очень доволенъ собой. Увлекшись живымъ, интереснымъ дѣломъ, маленьkimъ столомъ, наивными тетрадками и прелестью, какую обѣщала мнѣ эта работа въ обществѣ жены, я боялся, что жена вдругъ помѣшаетъ мнѣ и все разстроитъ какою-нибудь неожиданною выходкой, и потому я торопился и дѣлалъ надъ собою усилия, чтобы не придавать никакого значенія тому, что у нея трясутся губы и что она пугливо и растерянно, какъ пойманный звѣрекъ, смотрѣть по сторонамъ.

— Вотъ что, Natalie,— сказалъ я, не глядя на нее.— Позвольте мнѣ взять всѣ эти бумаги и тетрадки къ себѣ наверхъ. Я тамъ посмотрю, ознакомлюсь и завтра скажу вамъ свое мнѣніе. Нѣтъ ли у васъ еще какихъ бумаг?— спросилъ я, складывая тетради и листки въ пачки.

— Берите, все берите!—сказала жена, помогая мнѣ складывать бумаги въ пачки, и крупные слезы текли у нея по лицу.— Берите все! Это все, что оставалось у меня въ жизни... Отнимайте послѣднее.

— Ахъ, Natalie, Natalie!— вздохнуль я укоризненно.

Она какъ-то беспорядочно, толкая меня въ грудь локтемъ и касаясь моего лица волосами, выдвинула изъ стола ящикъ и стала оттуда выбрасывать мнѣ на столъ бумаги; при этомъ мелкія деньги сыпались мнѣ на колѣни и на полъ.

— Все берите...— говорила она осипшимъ голосомъ.

Выбросивъ бумаги, она отошла отъ меня и, ухватившись обѣими руками за голову, повалилась на кушетку. Я подобралъ деньги, положилъ ихъ обратно въ ящикъ и заперъ, чтобы не вводить въ грѣхъ прислугу; потомъ взялъ въ охапку всѣ бумаги и пошелъ къ себѣ. Проходя мимо жены, я остановился и, глядя на ея спину и вздрагивающія плечи, сказалъ:

— Какой вы еще ребенокъ, Natalie! Ай-ай! Слушайте, Natalie: когда вы поймете, какъ серьезно и ответственно это дѣло, то вы первая же будете благодарить меня. Клянусь вамъ.

Придя къ себѣ, я не сиѣша занялся бумагами. Тетрадки не проиниорованы, на страницахъ нумеровъ нѣть. Записки сдѣланы различными почерками, очевидно, въ тетрадкахъ хозяиничаетъ всякий, кто хочетъ. Въ спискахъ пожертвованій натурою не проставлена цѣна продуктовъ. Но вѣдь, позвольте, та рожь, которая теперь стоитъ 1 р. 15 к., черезъ два мѣсяца можетъ подняться въ цѣнѣ до 2 р. 15 к.

Какъ же можно такъ? Затѣмъ «выдано А. М. Соболю 32 р.». Когда выдано? Для чего выдано? Гдѣ оправдательный документъ? Ничего нѣть и ничего не поймешь. Въ случаѣ судебнаго разбирательства, эти бумаги будутъ только затѣмнить дѣло.

— Какъ она наивна! — изумлялся я. — Какой она еще ребенокъ!

Миѣ было и досадно, и смѣшино.

V.

Жена собрала уже восемь тысячъ, прибавить къ нимъ мои пять — итого будетъ тринацдцать. Для начала это очень хорошо. Дѣло, которое меня такъ интересовало и беспокоило, находится, наконецъ, въ моихъ рукахъ; я дѣлаю то, чего не хотѣли и не могли сдѣлать другіе, я исполняю свой долгъ, организую правильную и серьезную помощь голодающимъ.

Все, кажется, идетъ согласно съ моими намѣреніями и желаніями, но почему же меня не оставляетъ мое беззокойство? Я въ продолженіе четырехъ часовъ разматривалъ бумаги жены, уясняя ихъ смыслъ и исправляя ошибки, чо вмѣсто успокенія я испытывалъ такое чувство, какъ будто кто-то чужой стоялъ позади меня и водилъ по моей спинѣ шаршавою ладонью. Чего миѣ не доставало? Организація помощи попала въ надежныя руки, голодающіе будутъ сыты, — что же еще нужно?

Легкая четырехчасовая работа почему-то утомила меня, такъ что я не могъ ни сидѣть согнувшись, ни писать. Снизу изрѣдка доносились глухіе стоны — это рыдала жена. Мой всегда смиренный, сонный и ханжеватый Алексѣй то и дѣло подходилъ къ столу, чтобы поправить свѣчи, и разматривалъ на меня какъ-то странно.

Нѣть, надо уѣхать! — рѣшилъ я, наконецъ, выбившись изъ силъ. Подальше отъ этихъ великолѣпныхъ впечатлѣній. Завтра же уѣду.

Я собралъ бумаги и тетрадки и пошелъ къ женѣ. Когда я, чувствуя сильное утомленіе и разбитость, прижалъ обѣими руками къ груди бумаги и тетради и, проходя черезъ спальню, увидѣлъ свои чемоданы, то до меня изъ-подъ пола донесся плачъ...

— Вы камерь-юнкеръ? — спросилъ меня кто-то на ухо. — Очень пріятно. Но все-таки вы гадина.

— Все вздоръ, вздоръ, вздоръ...—бормоталь я, спускаясь по лѣстницѣ.—Вздоръ... И то вздоръ, будто мною руководитъ самолюбіе или тщеславіе... Какіе пустяки! Развѣ за голодающихъ дадутъ мнѣ звѣзду, что ли, или сдѣлаютъ меня директоромъ департамента? Вздоръ, вздоръ! И передъ кѣмъ тутъ въ деревнѣ тщеславиться?

Я усталъ, ужасно усталъ, и что-то шептало мнѣ на ухо: «Очень пріятно. Но все же вы гадина». Почему-то я вспомнилъ строку изъ одного стаціннаго стихотворенія, которое когда-то зналъ въ дѣтствѣ: «Какъ пріятно добрымъ быть!»

Жена лежала на кушеткѣ въ прежней позѣ — лицомъ внизъ и обхвативъ голову обѣими руками. Она плакала. Возлѣ нея стояла горничная съ испуганнымъ, недоумѣвающимъ лицомъ. Я отослали горничную, сложилъ бумаги на столъ, подумалъ и сказалъ:

— Вотъ ваша канцелярія, Natalie. Все въ порядкѣ, все прекрасно, и я очень доволенъ. Завтра я уѣзжаю.

Она продолжала плакать. Я вышелъ въ гостиную и сѣлъ тамъ въ потемкахъ. Всхлипыванія жены, ея вздохи обвиняли меня въ чемъ-то, и, чтобы оправдать себя, я припоминаль всю нашу скору, начиная съ того какъ мнѣ пришла въ голову несчастная мысль пригласить жену на совѣщеніе, и кончая тетрадками и этимъ плачомъ. Это былъ обычный пришадокъ нашей супружеской ненависти, безобразный и безсмыленный, какихъ было много послѣ нашей свадьбы, но при чемъ же тутъ голодающіе? Какъ это могло случиться, что они попали намъ подъ горячую руку? Похоже на то, какъ будто мы, гоняясь другъ за другомъ, нечаянно вѣжали въ алтарь и подняли тамъ драку.

— Natalie,—говорю я тихо изъ гостиной:—полно, полно!

Чтобы прекратить плачь и положить конецъ этому мучительному состоянію, надо пойти къ женѣ и утѣшить, приласкатъ или извиниться; но какъ это сдѣлать, чтобы она мнѣ повѣрила? Какъ я могу убѣдить дикаго утенка, живущаго въ неволѣ и ненавидящаго меня, что онъ мнѣ симпатиченъ и что я сочувствую его страданію? Жены своей я никогда не зналъ и потому никогда не зналъ, о чёмъ и какъ съ нею говорить. Наружность ея я зналъ хорошо и цѣнилъ по достоинству, но ея душевный, нравственный міръ, умъ, міросозерцаніе, частыя перемѣны въ настроеніи, ея ненавидящіе глаза, высокомѣріе, начитан-

ность, которою она иногда поражала меня, или, напримѣръ, монашеское выраженіе, какъ вчера, — все это было мнѣ неизвѣстно и непонятно. Когда въ своихъ столкновеніяхъ съ нею я пытался опредѣлить, что она за человѣкъ, то моя психологія не шла дальше такихъ опредѣленій, какъ взбалмошная, несерьезная, несчастный характеръ, бабья логика — и для меня, казалось, этого было совершенно достаточно. Но теперь, пока она плакала, у меня было страстное желаніе знать болѣе.

Плачь прекратился. Я пошелъ къ женѣ. Она сидѣла на кушеткѣ, подперевъ голову обѣими руками, и задумчиво, неподвижно глядѣла на огонь.

— Я уѣзжаю завтра утромъ, — сказала я.

Она молчала. Я прошелся по комнатѣ, вздохнуль и сказала:

— Natalie, когда вы просили меня уѣхать, то сказали: прощу вашъ все, все... Значитъ, вы считаете меня виноватымъ передъ вами. Прошу вѣсть, хладнокровно и въ короткихъ выраженіяхъ формулируйте мою вину передъ вами.

— Я утомлена. Послѣ какъ-нибудь... — сказала жена.

— Какая вина? — продолжалъ я. — Что я сдѣлала? Скажете, вы молоды, красивы, хотите жить, а я почти вдвое старше вѣсть и ненавидимъ вами, но развѣ это вина? Я женился на вѣсть не насильно. Ну, что жъ, если хотите жить на свободѣ, идите, я дамъ вамъ волю. Идите, можете любить, кого вамъ угодно... Я и разводъ дамъ.

— Этого мнѣ не надо, — сказала она. — Вы знаете, я вѣсть любила прежде и всегда считала себя старше вѣсть. Пустяки все это... Вина ваша не въ томъ, что вы старше, а я моложе, или что на свободѣ я могла бы полюбить другого, а въ томъ, что вы тяжелый человѣкъ, эгоистъ, ненавистникъ.

— Не знаю, можетъ-быть, — проговорилъ я.

— Уходите, пожалуйста. Вы хотите бѣсть меня до утра, но предупреждаю, я совсѣмъ ослабѣла и отвѣтить вамъ не могу. Вы дали мнѣ слово уѣхать, я очень вамъ благодарна, и болѣе ничего мнѣ не нужно.

Жена хотѣла, чтобы я ушелъ, но мнѣ не легко было сдѣлать это. Я ослабѣлъ и боялся своихъ большихъ, нѣютныхъ, опостылѣвшихъ комнатъ. Бывало въ дѣствѣ, когда у меня болѣло что-нибудь, я жался къ матери или нянѣ, и, когда я пряталъ лицо въ складкахъ теплаго платья, мнѣ казалось, что я прячусь отъ боли. Такъ и тѣ-

иеръ почему-то мнѣ казалось, что отъ своего беспокойства я могу спрятаться только въ этой маленькой комнатѣ, около жены. Я сѣлъ и рукою заслонилъ глаза отъ свѣта. Было тихо.

— Какая вина?—сказала жена послѣ долгаго молчанія, глядя на меня красными, блестящими отъ слезъ глазами.— Вы прекрасно образованы и воспитаны, очень честны, справедливы, съ правилами, но все это выходитъ у васъ такъ, что куда бы вы ни вошли, вы всюду вносите какую-то духоту, гнетъ, что-то въ высшей степени оскорбительное, унизительное. У васъ честный образъ мыслей, и потому вы ненавидите весь міръ. Вы ненавидите вѣрюющихъ, такъ какъ вѣра есть выраженіе неразвитія и невѣжества, и въ то же время ненавидите и невѣрюющихъ за то, что у нихъ нѣтъ вѣры и идеаловъ; вы ненавидите стариковъ за отсталость и консерватизмъ, а молодыхъ — за вольнодумство. Вамъ дороги интересы народа и Россіи, и потому вы ненавидите народъ, такъ какъ въ каждомъ подозрѣваете вора и грабителя. Вы всѣхъ ненавидите. Вы справедливы и всегда стоите на почвѣ законности, и потому вы постоянно судитесь съ мужиками и сосѣдями. У васъ украли 20 кулей ржи, и изъ любви къ порядку вы пожаловались на мужиковъ губернатору и всему начальству, а на здѣшнее начальство пожаловались въ Петербургъ. Почва законности! — сказала жена и засмѣялась.— На основаніи закона и въ интересахъ нравственности вы не даете мнѣ паспорта. Есть такая нравственность и такой законъ, чтобы молодая, здоровая, самолюбивая женщина проводила свою жизнь въ праздности, въ тоскѣ, въ постоянномъ страхѣ и получала бы за это столь и квартиру отъ человѣка, котораго она не любить. Вы превосходно знаете законы, очень честны и справедливы, уважаете бракъ и семейныя основы, а изъ всего этого вышло то, что за всю свою жизнь вы не сделали ни одного добра, всѣ васъ ненавидятъ, со всѣми вы въ ссорѣ и за эти семь лѣтъ, пока женаты, вы и семи мѣсяцамъ не прожили съ женой. У васъ жены не было, а у меня не было мужа. Съ такимъ человѣкомъ, какъ вы, жить невозможно, нѣть силъ. Въ первые годы мнѣ съ вами было страшно, а теперь мнѣ стыдно... Такъ и пропали лучшіе годы. Пока воевала съ вами, я испортила себѣ характеръ, стала рѣз-

кой, грубой, цугливой, недовѣрчивой... Э, да что говорить! Развѣ вы захотите поиять? Идите себѣ съ Богомъ.

Жена присела на кушетку и задумалась.

— А какая бы могла быть прекрасная, завидная жизнѣ!—тихо сказала она, глядя въ раздумье на огонь. — Какая жизнѣ! Не веришь теперь.

Кто живалъ зимою въ деревнѣ и знаетъ эти длинные, скучные, тихіе вечера, когда даже собаки не лаютъ отъ скуки и, кажется, часы томятся отъ того, что имъ надоѣло тикать, и кого въ такіе вечера тревожила пробудившаяся совѣсть и кто безшокойно метался съ мѣста на мѣсто, желая то заглушить, то разгадать свою совѣсть, тотъ пойметъ, какое развлеченіе и наслажденіе доставлялъ мнѣ женскій голосъ, раздавшійся въ маленькой уютной комнатѣ и говорившій мнѣ, что я дурной человѣкъ. Я не понималъ, чего хочетъ моя совѣсть, и жена, какъ переводчикъ, по-женски, но ясно истолковывала мнѣ смыслъ моей тревоги. Какъ часто раньше, въ минуты сильного безшокойства, я догадывался, что весь секретъ не въ голодающихъ, а въ томъ, что я не такой человѣкъ, какъ нужно.

Жена черезъ силу поднялась и подошла ко мнѣ.

— Павель Андреичъ,— сказала она, печально улыбаясь. — Простите, я не вѣрю вамъ: вы не уѣдетѣ. Но я еще разъ прошу. Называйте это,— она указала на свои бумаги:—самообманомъ, бабьей логикой, ошибкой, какъ хотите, но не мѣшайте мнѣ. Это все, что осталось у меня въ жизнѣ.—Она отвернулась и помолчала.—Раньше у меня ничего не было. Свою молодость я потратила на то, что воевала съ вами. Теперь я ухватилась за это и ожила, я счастлива... Мнѣ кажется, въ этомъ я нашла способъ, какъ оправдать свою жизнь.

— Natalie, вы хорошая, идеальная женщина,—сказалъ я, восторженно глядя на жену:—и все, что вы дѣлаете и говорите, прекрасно и умно.

Чтобы скрыть свое волненіе, я прошелся по комнатѣ.

— Natalie, — продолжалъ я черезъ минуту: — передъ отѣздомъ прошу у васъ, какъ особенной милости, помогите мнѣ сдѣлать что-нибудь для голодающихъ!

— Что же я могу?—сказала жена и пожала плечами.—Развѣ вить только подписьной листъ?

Она порылась въ своихъ бумагахъ и нашла подписьной листъ.

— Пожертвуйте сколько-нибудь деньгами,—сказала она, и по ея тону замѣтно было, что своему подписаному листу она не придавала серьезнаго значенія.—А участвовать въ этомъ дѣлѣ какъ-нибудь иначе вы не можете.

Я взялъ листъ и подписалъ: *Неизвѣстный—5000.*

Въ этомъ «неизвѣстный» было что-то нехорошее, фальшивое, самолюбивое, но я понялъ это только, когда замѣтилъ, что жена сильно покраснѣла и торопливо сунула листъ въ кучу бумагъ. Намъ обоимъ стало стыдно. Я почувствовалъ, что мнѣ непремѣнно, во что бы то ни стало, сейчасъ же нужно загладить эту неловкость, иначе мнѣ будетъ стыдно потомъ въ вагонѣ и въ Петербургѣ. Но какъ загладить? Чѣдъ сказать?

— Я благословляю вашу дѣятельность, Natalie,—сказалъ я искренно:— и желаю вамъ всякаго успѣха. Но позвольте на прощанье дать вамъ одинъ совѣтъ. Natalie, держите себя поосторожнѣе съ Соболемъ и вообще съ вашими помощниками и не довѣрайтесь имъ. Я не скажу, чтобы они были не честны, но это не дворянѣ, это люди безъ идей, безъ идеаловъ и вѣры, безъ цѣли въ жизни, безъ опредѣленныхъ принциповъ, и весь смыслъ ихъ зиждется на рублѣ. Рубль, рубль и рубль! — вздохнуль я.— Они любятъ легкіе и даровые хлѣба и въ этомъ отношеніи, чѣмъ они образованнѣе, тѣмъ опаснѣе для дѣла.

Жена пошла къ кушеткѣ и прилегла.

— Идеи, идеино,—проговорила она вяло и нехотя:— идеиность, идеалы, цѣль жизни, принципы... Эти слова вы говорили всегда, когда хотѣли кого-нибудь унизить, обидѣть или сказать непріятность. Вѣдь вотъ вы какой! Если съ вашими взглядами и съ такимъ отношеніемъ къ людямъ подпустить васъ близко къ дѣлу, то это значитъ разрушить дѣло въ первый же день. Пора бы это понять.

Она вздохнула и помолчала.

— Это грубость нравовъ, Павелъ Андреичъ,—сказала она.—Вы образованы и воспитаны, но въ сущности какой вы еще... скинѣ! Это оттого, что вы ведете замкнутую, не-навистническую жизнь, ни съ кѣмъ не видаетесь и не читаете ничего, кроме вашихъ инженерныхъ книгъ. А вѣдь есть хорошиe люди, хорошия книги! Да... Но я утомилась и мнѣ тяжело говорить. Сиать надо.

— Такъ я ёду, Natalie,—сказалъ я.

— Да, да... Мэгси...

Я постоялъ немного и пошелъ къ себѣ наверхъ. Часъ спустя—это было въ половинѣ второго—я со свѣчкою въ рукахъ опять сошелъ внизъ, чтобы поговорить съ женой. Я не зналъ, что скажу ей, но чувствовалъ, что мнѣ нужно сказать ей что-то важное и необходимое. Въ рабочей комнатѣ ея не было. Дверь, которая вела въ спальню, была закрыта.

— Natalie, вы спите?—тихо спросилъ я.

Отвѣта не было. Я постоялъ около двери, вздохнулъ и пошелъ въ гостиную. Здѣсь я сѣлъ на диванъ, потушилъ свѣчу и просидѣлъ въ потемкахъ до самаго разсвѣта.

VI.

Выѣхалъ я на станцію въ 10 часовъ утра. Мороза не было, но валилъ съ неба крупный, мокрый снѣгъ и дуль непріятный, сырой вѣтерь.

Миновали прудъ, потомъ березнякъ и стали взбираться на гору по дорогѣ, которая видна изъ моихъ оконъ. Я оглянулся, чтобы въ послѣдній разъ взглянуть на свой домъ, но за снѣгомъ ничего не было видно. Немного погодя, впереди, какъ въ туманѣ, показались темныя избы. Это Пестрово.

«Если я когда-нибудь сойду съ ума, то виновато будегъ Пестрово,—подумалъ я.—Оно меня преслѣдуєтъ».

Вѣѣхали на улицу. На избахъ всѣ крыши цѣлы, нѣть ни одной содранной,—значить, совраль мой приказчикъ. Мальчикъ возитъ въ салазкахъ дѣвочку съ ребенкомъ, другой мальчикъ, лѣтъ трехъ, съ окутанной по-бабы головой и съ громадными рукавицами, хочетъ поймать языкомъ летающія снѣжинки и смѣется. Вотъ навстрѣчу ёдетъ возъ съ хворостомъ, около идетъ мужикъ, и никакъ не поймешь, сѣдѣлъ ли онъ или же борода его бѣла отъ снѣга. Онъ узналъ моего кучера, улыбается ему и что-то говорить, а передо мной машинально снимаетъ шапку. Собаки выбѣгаютъ изъ дворовъ и съ любопытствомъ смотрятъ на моихъ лошадей. Все тихо, обыкновенно, просто. Вернулись переселенцы, нѣть хлѣба, въ избахъ «кто хоочеть, кто на стѣну лѣзть», но все это такъ просто, что даже не вѣрится, чтобы это было на самомъ дѣлѣ. Ни растерянныхъ лицъ, ни голосовъ вопіющихъ о помощи, ни плача, ни браніи, а кругомъ тишина, порядокъ жизни, дѣти, салазки,

собаки съ задранными хвостами. Не беспокоятся ни дѣти, ни встрѣчный мужикъ, но почему же я такъ беспокоюсь?

Глядя на улыбающагося мужика, на мальчика съ громадными рукавицами, на избы, вспоминая свою жену, я понималъ теперь, что нѣтъ такого бѣдствія, которое могло бы побѣдить этихъ людей; мнѣ казалось, что въ воздухѣ уже пахнетъ побѣдою, я гордился и готовъ былъ крикнуть имъ, что я тоже съ ними; но лошади вынесли изъ деревни въ поле, закружилъ снѣгъ, заревѣлъ вѣтеръ, и я остался одинъ со своими мыслями. Изъ миллионной толпы людей, совершившихъ народное дѣло, сама жизнь выбрасывала меня, какъ ненужнаго, неумѣлаго, дурного человѣка. Я помѣхъ, частица народнаго бѣдствія, меня побѣдили, выбросили, и я спѣшу на станцію, чтобы уѣхать и спрятаться въ Петербургѣ, въ отель на Большой Морской.

Черезъ часъ прїѣхали на станцію. Сторожъ съ бляхой и кучеръ внесли мои чемоданы въ дамскую комнату. Кучеръ Никаноръ съ затѣненою за поясъ полой, въ валенкахъ, весь мокрый отъ снѣга и довольный, что я уѣзжаю, улыбнулся мнѣ дружелюбно и сказалъ:

— Счастливой дороги, ваше превосходительство. Дай Богъ часъ.

Кстати: меня всѣ называютъ превосходительствомъ, хотя я лишь коллежскій совѣтникъ, камеръ-юнкеръ. Сторожъ сказалъ, что поѣздъ еще не выходилъ изъ сосѣдней станціи. Надо было ждать. Я вышелъ наружу и, съ тяжелой отъ безсонной ночи головой и едва передвигая ноги отъ утомленія, направился безъ всякой цѣли къ водокачкѣ. Кругомъ не было ни души.

— Зачѣмъ я ѿду? — спрашивалъ я себя. — Что меня ожидаетъ тамъ? Знакомые, отъ которыхъ я уже уѣхалъ, одиночество, рестораннныя обѣды, шумъ, электрическое освѣщеніе, отъ котораго у меня глаза болятъ... Куда и зачѣмъ я ѿду? Зачѣмъ я ѿду?

И какъ-то странно было уѣзжать, не поговоривъ съ женой. Мнѣ казалось, что я оставилъ ее въ неизвѣстности. Уѣзжая, слѣдовало бы сказать ей, что она права, что я въ самомъ дѣлѣ дурной человѣкъ.

Когда я повернулъ отъ водокачки, въ дверяхъ показался начальникъ станціи, на котораго я два раза уже жаловался его начальству; приподнявъ воротникъ сюртука, пожимаясь

оть вѣтра и снѣга, онъ подошелъ ко мнѣ и, приложивъ два пальца къ козырьку, съ растеряннымъ, напряженно почтительнымъ и ненавидящимъ лицомъ сказалъ мнѣ, что поѣздъ опаздаетъ на 20 минутъ и что не желаю ли я пока обождать въ тепломъ помѣщениѣ.

— Благодарю васъ, — отвѣтилъ я: — но, вѣроятно, я не поѣду. Велите сказать моему кучеру, чтобы онъ подождалъ. Я еще подумаю.

Я ходилъ взадъ и впередъ по платформѣ и думалъ: уѣхать мнѣ, или иѣть? Когда пришелъ поѣздъ, я рѣшилъ, что не поѣду. Дома меня ожидали недоумѣніе и, пожалуй, насмѣшки жены, унылый верхній этажъ и мое безнокойство, но это въ мои годы все-таки легче и какъ-то роднѣе, чѣмъѣхать двое сутокъ съ чужими людьми въ Петербургъ, гдѣ я каждую минуту сознавалъ бы, что жизнь моя никому и ни на что не нужна и приближается къ концу. Иѣть, ужь лучше домой, что бы тамъ ни было... Я вышелъ изъ станціи. Возвращаться домой, гдѣ всѣ такъ радовались моему отѣзду, при дневномъ свѣтѣ было неловко. Остатокъ дня до вечера можно было провести у кого-нибудь изъ сосѣдей. Но у кого? Съ одними я въ настянутыхъ отношеніяхъ, съ другими незнакомъ вовсе. Я подумалъ и вспомнилъ про Ивана Иваныча.

— Поѣдемъ къ Брагину! — сказалъ я кучеру, садясь въ сани.

— Далече, — вздохнулъ Никаноръ. — Верстъ, пожалуй, 28 будетъ, а то и всѣ 30.

— Пожалуйста, голубчикъ, — сказалъ я такимъ тономъ, какъ будто Никаноръ имѣлъ право не послушаться. — Поѣдемъ, пожалуйста!

Никаноръ съ сомнѣніемъ покачалъ головой и медленно проговорилъ, что по-настоящему слѣдовало бы запрячь въ корень не Черкеса, а Мужика или Чижика, и нерѣшительно, какъ бы ожидая, что я отмѣню свое рѣшеніе, забралъ вожжи въ рукавицы, привсталъ, подумалъ и потомъ ужь взмахнулъ кнутомъ.

«Цѣлый рядъ непослѣдовательныхъ поступковъ... — думалъ я, пряча лицо оть снѣга. — Это я сошелъ съ ума. Ну, пускай...»

Въ одномъ мѣстѣ на очень высокомъ и крутомъ спускѣ Никаноръ осторожно спустилъ лошадей до половины горы, но съ половины лошади вдругъ сорвались и со страшною

быстротой понесли внизъ; онъ вздрогнулъ, поднялъ локти и закричалъ дикимъ, неистовыемъ голосомъ, какого я раньше никогда у него не слышалъ:

— Эй, прокатимъ генерала! Запалимъ, новыхъ купить, голубчики! Ай, берегись, задавимъ!

Только теперь, когда у меня отъ необыкновенно быстрой ъзды захватило дыханіе, я замѣтилъ, что онъ сильно пьянъ; должно-быть, на станціи выпилъ. На днѣ оврага затрешалъ ледъ, кусокъ крѣпкаго унавоженнаго снѣга, сбитый съ дороги, больно ударилъ меня по лицу. Разбѣжавшіяся лопиади съ разгону понесли на гору такъ же быстро, какъ съ горы, и не успѣлъ я крикнуть Никанору, какъ моя тройка уже летѣла по ровному мѣсту, въ старомъ еловомъ лѣсу, и высокія ели со всѣхъ сторонъ протягивали ко мнѣ свои бѣлые мохнатыя лапы.

«Я сонечль съ ума, кучерь пьяни... — думалъ я. — Хорошо!»

Ивана Иваныча я засталъ дома. Онъ закашлялся отъ смѣха, положилъ мнѣ на грудь голову и сказалъ то, что всегда говорить при встрѣчѣ со мной:

— А вы все молодѣете. Не знаю, какой это вы краской голову и бороду красите, мнѣ бы дали.

— Я, Иванъ Иванычъ, пріѣхалъ вамъ визитъ отдать, — солгалъ я. — Не взыщите, человѣкъ я столичный, съ предразсудками, считаюсь визитами.

— Радъ, голубчикъ! Я изъ ума выжилъ, люблю честь... Да.

По его голосу и блаженно улыбавшемуся лицу я могъ судить, что своимъ визитомъ я сильно польстилъ ему. Въ передней шубу съ меня снимали двѣ бабы, а повѣсили ее на крючокъ мужикъ въ красной рубахѣ. И когда мы съ Иваномъ Иванычемъ вошли въ его маленький кабинетъ, двѣ босыя дѣвочки сидѣли на полу и рассматривали иллюстрацію въ переплетѣ; увидѣвъ насъ, онъ вспрыгнули и побѣжали вонъ, и тотчасъ же вошла высокая тонкая статруха въ очкахъ, степенно поклонилась мнѣ и, подобравъ съ дивана подушку, а съ полу иллюстрацію, вышла. Изъ сосѣднихъ комнатъ непрерывно слышались шопотъ и шлепанье босыхъ ногъ.

— А я къ себѣ доктора жду обѣдать, — сказалъ Иванъ Иванычъ. — Обѣщалъ съ цункта заѣхать. Да. Онъ у меня каждую среду обѣдаетъ, дай Богъ ему здоровья. — Онъ потянулся ко мнѣ и поцѣловалъ въ шею. — Пріѣхали, голуб-

Чикъ—значить, не сердитесь,—зашепталъ онъ, сопя. Не сердитесь, матушка. Да. Можетъ, и обидно, но не надо сердиться. Я объ одномъ только прошу Бога передъ смертью: со всѣми жить въ мирѣ и согласіи, по правдѣ! Да.

— Простите, Иванъ Иванычъ, я положу ноги на кресло,—сказалъ я, чувствуя, что отъ сильнаго утомленія я не могу быть самимъ собой; я поглубже сѣлъ на диванъ и протянуль ноги на кресло. Послѣ снѣга и вѣтра у меня горѣло лицо и, казалось, все тѣло впитывало въ себя теплоту и отъ этого становилось слабѣе. — У васъ тутъ хорошо,—продолжалъ я:—тепло, мягко, уютно... И гусиная перья,—засмѣялся я, поглядѣвъ на письменный столъ:—песочница...

— А? Да, да... Письменный столъ и вотъ этотъ шкафчикъ изъ краснаго дерева дѣлалъ моему отцу столяръ-самоучка Глѣбъ Бутыга, крѣпостной генерала Жукова. Да... Большой художникъ по своей части.

Вяло, тономъ засыпающаго человѣка, онъ сталъ разсказывать мнѣ про столяра Бутыгу. Я слушалъ. Потомъ Иванъ Иванычъ вышелъ въ сосѣднюю комнату, чтобы показать мнѣ замѣчательный по красотѣ и дешевизнѣ комодъ изъ палисандрового дерева. Онъ постучалъ пальцемъ по комоду, потомъ обратилъ мое вниманіе на изразцовую печь съ рисунками, которыхъ теперь нигдѣ не встрѣтишь. И по печи постучалъ пальцемъ. Отъ комода, изразцовой печи и отъ креселъ и картинъ, шитыхъ шерстью и шелкомъ по канвѣ, въ прочныхъ и некрасивыхъ рамкахъ, вѣяло добродушiemъ и сытостью. Какъ вспомнишь, что всѣ эти предметы стояли на этихъ же мѣстахъ и точно въ такомъ же порядкѣ, когда я еще былъ ребенкомъ и приѣзжалъ сюда съ матерью на именины, то просто не вѣрится, чтобы они могли когда-нибудь не существовать.

Я думалъ: какая страшная разница между Бутыгой и мной! Бутыга, строившій прежде всего прочно и основательно и видѣвшій въ этомъ главное, придавалъ какое-то особенное значеніе человѣческому долголѣтію, не думалъ о смерти и, вѣроятно, плохо вѣрилъ въ ея возможность; я же, когда строилъ свои желѣзные и каменные мосты, которые будутъ существовать тысячи лѣтъ, никакъ не могъ удержаться отъ мыслей: «Это не долговѣчно... Это ни къ чему». Если со временемъ какому-нибудь толковому историку искусствъ попадутся на глаза шкафъ Бутыги и мой

мость, то онъ скажеть: «Это два въ своемъ родѣ замѣчательныхъ человѣка: Бутыга любилъ людей и не допускалъ мысли, что они могутъ умирать и разрушаться, и потому, дѣлая свою мебель, имѣлъ въ виду бессмертнаго человѣка, инженеръ же Асоринъ не любилъ ни людей, ни жизни; даже въ счастливыя минуты творчества ему не были противны мысли о смерти, разрушеніи и конечности, и потому, посмотрите, какъ у него ничтожны, конечны, робки и жалки эти линіи»...

— Я только эти комнаты топлю,—бормоталъ Иванъ Иванычъ, показывая мнѣ свои комнаты.—Съ тѣхъ поръ, какъ умерла жена и сына на войнѣ убили, я заперъ парадныя. Да... вотъ...

Онъ отперъ одну дверь, и я увидѣлъ большую комнату съ четырьмя колоннами, старый фортепьяно и кучу гороху на полу; пахнуло холодомъ и запахомъ сырья.

— А въ другой комнатѣ садовыя скамейки...—бормоталъ Иванъ Иванычъ.—Некому ужъ мазурку танцовать... Залеръ.

Послышался шумъ... Это пріѣхалъ докторъ Соболь. Пока онъ съ холodu потирали руки и приводилъ въ порядокъ свою мокрую бороду, я успѣлъ замѣтить, что, во-первыхъ, ему жилось очень скучно и потому пріятно было видѣть Ивана Иваныча и меня, и во-вторыхъ, это былъ простоватый и наивный человѣкъ. Онъ смотрѣлъ на меня такъ, какъ будто я былъ очень радъ его видѣть и очень интересуюсь имъ.

— Две ночи не спалъ!—говорилъ онъ, наивно глядя на меня и причесываясь.— Одну ночь съ роженицей, а другую, всю напролетъ, клопы кусали, у мужика ночевалъ. Спать хочу, понимаете ли, какъ сатана.

Съ такимъ выраженіемъ, какъ будто это не можетъ доставить мнѣ ничего, кроме удовольствія, онъ взялъ меня подъ руку и повелъ въ столовую. Его наивные глаза, помятый сюртукъ, дешевый галстукъ и запахъ юдоформа произвели на меня непріятное впечатлѣніе; я почувствовалъ себя въ дурномъ обществѣ. Когда сѣли за столъ, онъ налилъ мнѣ водки, и я, безпомощно улыбаясь, выпилъ; онъ положилъ мнѣ на тарелку кусокъ ветчины — и я покорно сѣѣлъ.

— Repetitio est mater studiorum,—сказалъ Соболь, торопясь выпить другую рюмку. — Вѣрите ли, отъ радости,

что хорошихъ людей увидѣлъ, даже сонъ прошелъ. Я мужикъ, одичалъ въ глухи, огрубѣлъ, но я все-таки еще, господа, интеллигентный человѣкъ и искренно говорю вамъ: тяжело безъ людей!

Подали на холодное бѣлаго поросенка съ хрѣномъ и со сметаной, потомъ жирныя, очень горячія щи со свининой и гречневую кашу, отъ которой столбомъ валилъ паръ. Докторъ продолжалъ говорить, и скоро я убѣдился, что это былъ слабый, виѣнніе безиоридочный и несчастный человѣкъ. Отъ трехъ рюмокъ онъ опьянялъ, неестественно ожидалъ, болѣ очень много, покрякивая и причмокивая, и меня уже величалъ по-италіански: экченца. Наивно глядя на меня, какъ будтоувѣренный, что я очень радъ видѣть его и слушать, онъ сообщилъ мнѣ, что со своею женой онъ давно уже разошелся и отдаетъ ей три четверти своего жалованья; что живеть она въ городѣ съ его дѣтьми — мальчикомъ и девочкой, которыхъ онъ обожаетъ, что любить онъ другую, вдову-помѣщицу, интеллигентную женщину, но бываетъ у нея рѣдко, такъ какъ бываетъ занять своимъ дѣломъ съ утра до ночи и совсѣмъ не имѣть свободного времени.

— Цѣлый день то въ больницѣ, то въ разѣздахъ, — рассказывалъ онъ: — и, клянусь вамъ, экченца, не только что къ любимой женщинѣ сѣѣздить, но даже книжку прочесть некогда. Десять лѣтъ ничего не читалъ! Десять лѣтъ, экченца! Что же касается материальной стороны, то вотъ извольте спросить у Ивана Ивановича: табаку купить иной разъ не на что.

— Зато у васъ нравственное удовлетвореніе,—сказалъ я.

— Чего-съ? — спросилъ онъ и прищурилъ одинъ глазъ. — Нѣть, давайте ужъ лучшіе выпьемъ.

Я слушалъ доктора и по своей всегдашней привычкѣ подводилъ къ нему свои обычныя мѣрки, — материалистъ, идеалистъ, рубль, стадные инстинкты и т. п., но ни одна мѣрка не подходила даже приблизительно; и странное дѣло, пока я только слушалъ и глядѣлъ на него, то онъ, какъ человѣкъ, былъ для меня совершенно ясенъ, но какъ только я начиналъ подводить къ нему свои мѣрки, то при всей своей откровенности и простотѣ онъ становился необыкновенно сложной, запутанной и непонятной натурой. Можетъ ли эта человѣкъ, спрашивалъ я себя, растратить чужія

деньги, злоупотребить довѣріемъ, имѣть склонность къ даровыи хлѣбамъ? И теперь этотъ, когда-то серьезный значительный вопросъ казался мнѣ наивнымъ, мелочнымъ и грубымъ.

Подали пирогъ, потомъ, помню, съ длинными промежутками, въ продолженіе которыхъ мы пили наливку, подавали соусъ изъ голубей, что-то изъ потроховъ, жаренаго поросенка, утку, куропатокъ, свѣтную капусту, вареники, творогъ съ молокомъ, кисель и, подъ конецъ, блинчики съ вареньемъ. Сначала, особенно щи и капу, я ъѣлъ съ большимъ аппетитомъ, но потомъ жевать и глотать машинально, беспомощно улыбаясь и не ощущая никакого вкуса. Отъ горячихъ щей и отъ жары, какая была въ комнатѣ, у меня сильно горѣло лицо. Иванъ Иванычъ и Соболь тоже были красны.

— За здоровье вашей супруги,—сказалъ Соболь.—Она меня любить. Скажите ей, что кланялся ей лейбъ-медикъ.

— Счастливая, ей-Богу!—вздохнуль Иванъ Иванычъ.—Не хлопотала, не беспокоилась, не сутилась, а вышло такъ, что она теперь первая персона во всемъ уѣздѣ. Потчи все дѣло у нея въ рукахъ и около нея всѣ: и докторъ, и земскіе начальники, и барыни. У настоящихъ людей это какъ-то само собой выходитъ. Да... Яблонѣ не надо беспокоиться, чтобы на ней яблоки росли—сами выростутъ.

— Не беспокоются равнодушные,—сказалъ я.

— А? Да, да...—забормоталъ Иванъ Иванычъ, не разсЫпавъ.—Это вѣрно... Надо быть равнодушнымъ. Такъ, такъ... Именно... Будь только справедливъ передъ Богомъ и людьми, а тамъ—хоть трава не расти.

— Экченца,—сказалъ торжественно Соболь:—посмотрите вы на окружающую природу: высунь изъ воротника носъ или ухо—откусить; останься въ полѣ на одинъ часъ—снѣгомъ засыплеть. А деревня такая же, какая еще при Рюрикѣ была, нисколько не измѣнилась, тѣ же печенѣги и половцы. Только и знаемъ, что горимъ, голодаемъ и на всѣ лады съ природой воюемъ. О чемъ бишь я? Да! Если, понимаете ли, хорошенько вдуматься, вглядѣться да разобрать эту, съ позволенія сказать, капшу, то вѣдь это не жизнь, а пожаръ въ театрѣ! Тутъ, кто падаетъ или кричитъ отъ страха и мечется, тотъ первый врагъ порядка. Надо стоять прямо и глядѣть въ оба—и ни чичиркъ! Тутъ ужъ некогда нюни распускать и мелочами заниматься. Коли имѣешь дѣло со

стихієй, то и выставляй противъ ися стихію,—будь твердъ и неподатливъ, какъ камень. Не такъ ли, дѣдушка? — повернулся онъ къ Ивану Иванычу и засмѣялся. — Я самъ баба, тряпка, кисляй кисляичъ и потому терпѣть не могу кислоты. Не люблю мелкихъ чувствъ! Одинъ хандрить, другой трусить, третій войдетъ сейчасъ сюда и скажетъ: «Иши ты, уперли десять блюдъ и заговорили о голодающихъ!» Мелко и глупо! Четвертый попрекнеть васъ, экчеленца, что вы богаты. Извините меня, экчеленца,—продолжалъ онъ громко, приложивъ руку къ сердцу: — но то, что вы задали нашему слѣдователю работу, что онъ вашихъ воровъ день и ночь ищетъ, извините, это тоже мелко съ вашей стороны. Я выпивши, потому и говорю это сейчасъ, но понимаете ли, мелко!

— Кто его просить беспокоиться, не понимаю? — сказалъ я, вставая; миѣ вдругъ стало невыносимо стыдно и обидно, и я заходилъ около стола. — Кто его просить беспокоиться? Я вовсе не просилъ... Чортъ его подери совѣтъ!

— Троихъ арестовалъ и выпустилъ. Оказались не тѣ и теперь новыхъ ищетъ, — засмѣялся Соболь. — Грѣхи!

— И я вовсе не просилъ его беспокоиться, — сказалъ я, готовый заплакать отъ волненія. — Къ чему, къ чему все это? Ну, да, положимъ, я былъ не правъ, поступать я дурно, положимъ, но зачѣмъ они стараются, чтобы я былъ еще больше не правъ?

— Ну, ну, ну, ну! — сказалъ Соболь, успокаивая меня. — Ну, я выпивши, потому и сказалъ. Языкъ мой — врагъ мой. Ну-съ, — вздохнулъ онъ: — пойти, наливки попили, а теперь на боковую.

Онъ всталъ изъ-за стола, поцѣловавъ Ивана Иваныча въ голову и, пошатываясь отъ сытости, вышелъ изъ столовой. Я и Иванъ Иванычъ молча покурили.

— Я, родной мой, не сплю послѣ обѣда, — сказалъ Иванъ Иванычъ: — а вы пожалуйте въ диванную, отдохните.

Я согласился. Въ полутемной, жарко натопленной комнатахъ, которая называлась диванною, стояли у стѣнъ длинные, широкіе диваны, крѣпкіе и тяжелые, работы столяра Бутыги; на нихъ лежали постели высокія, мягкія, бѣлые, постланныя, вѣроятно, старушкою въ очкахъ. На одной постели, лицомъ къ спинѣ дивана, безъ сюртука и безъ сапогъ, спаль уже Соболь; другая ожидала меня. Я сняль

сюртукъ, разулся и, подчиняясь усталости, духу Бутыги, который виталъ въ тихой диванной, и легкому, ласковому храпу Соболя, покорно легъ!

И тотчасъ же мнѣ стали сниться жена, ся комната, начальникъ станціи съ ненавидящимъ лицомъ, кучи снѣга, пожаръ въ театрѣ... Приснились мужики, вытащившіе у меня изъ амбара двадцать кулей ржи...

— Все-таки это хорошо, что слѣдователь отпустилъ ихъ,—говорю я.

Я просыпаюсь отъ своего голоса, минуту съ недоумѣніемъ смотрю на широкую спину Соболя, на его жилетную пряжку и толстая пятки, потомъ опять ложусь и засыпаю.

Когда я проснулся въ другой разъ, было уже темно. Соболь спалъ. На душѣ у меня было покойно и хотѣлось поскорѣе домой. Я одѣлся и вышелъ изъ диванной. Иванъ Иванычъ сидѣлъ у себя въ кабинетѣ въ большомъ креслѣ совершенно неподвижно и глядѣлъ въ одну точку, и видно было, что въ такомъ состояніи оцѣненія онъ находился все время, пока я спалъ.

— Хорошо!—сказалъ я, зѣвая.—У меня такое чувство, какъ будто я проснулся послѣ разговѣнья на Пасху. Я къ вамъ теперь часто будуѣздить. Скажите, у васъ обѣдала жена когда-нибудь?

— Бы... бы... бываетъ,—забормоталъ Иванъ Иванычъ, дѣлая усилие, чтобы пошевелиться. — Въ прошлую субботу обѣдала. Да... Она меня любить.

Послѣ нѣкотораго молчанія я сказалъ:

— Помните, Иванъ Иванычъ, вы говорили, что у меня дурной характеръ и что со мной тяжело? Но что надо сдѣлать, чтобы характеръ былъ другой?

— Не знаю, голубчикъ... Я человѣкъ сырой, обрюзгъ, совѣтовать уже не могу... Да... А сказалъ я вамъ тогда потому, что люблю васъ, и жену вашу люблю, и отца любиль... Да. Я скоро помру и какая мнѣ надобность таиться отъ васъ или врать? Такъ и говорю: люблю васъ крѣпко, но не уважаю. Да, не уважаю.

Онъ повернулся ко мнѣ и проговорилъ шопотомъ, задыхаясь:

— Невозможно васъ уважить, голубчикъ. Съ виду вы какъ будто и настоящій человѣкъ. Наружность у васъ и осанка какъ у французскаго президента Карно,—въ илю-

страциі на мѣдни видѣлъ... да... Говорите вы высоко, и умны вы, и въ чинахъ, рукой до васъ не достанешь, но, голубчикъ, у васъ душа не настоящая... Силы въ ней нѣтъ... Да.

— Скинь, однимъ словомъ,—засмѣялся онъ.—Но что жена? Расскажите мнѣ что-нибудь про мою жену. Вы ее больше знаете.

Мнѣ хотѣлось говорить про жену, но вошелъ Соболь и помѣшилъ.

— Поспѣль, умылся, — сказалъ онъ, наивно глядя на меня:— попью чайку съ ромомъ и домой.

VII.

Былъ уже восьмой часъ вечера. Изъ передней до крыльца, кромѣ Ивана Иваныча, провожали на съ причитываніями и пожеланіями всякихъ благъ бабы, старуха въ очкахъ, девочки и мужикъ, а около лошадей въ потемкахъ стояли и бродили какіе-то люди съ фонарями, учили нашихъ кучеровъ, какъ и гдѣ лучше проѣхать, и желали намъ добра гаго пути. Лошади, сани и люди были бѣлы.

— Откуда у него столько народу? — спросилъ я, когда моя тройка и докторская пара шагомъ выѣзжали со двора.

— Это все его крѣпостные,—сказалъ Соболь.—До него еще не дошло положеніе. Кое-кто изъ старой прислуги своей вѣкъ доживаетъ; ну, спротки разныя, которымъ дѣваться некуда; есть и такие, что насилино живутъ, не выгонишь. Чудной старики!

Опять быстрая Ѣзда, необыкновенный голосъ пьяного Никанора, вѣтеръ и неотвязчивый снѣгъ, лѣзущій въ глаза, въ ротъ, во всѣ складки шубы...

«Эка меня носить!»—думаю я, а мои колокольчики заливаются вмѣстѣ съ докторскими, вѣтеръ свиститъ, кучера гикаютъ и подъ этотъ неистовый шумъ я вспоминаю всѣ подробности этого странного, дикаго, единственнаго въ моей жизни дня, и мнѣ кажется, что я въ самомъ дѣлѣ съ ума сошелъ или же сталъ другимъ человѣкомъ. Какъ будто тотъ, кѣмъ я былъ до сегодняшняго дня, мнѣ уже чуждъ.

Докторъ Ѣхалъ позади и все время громко разговаривалъ со своимъ кучеромъ. Изрѣдка онъ догонялъ меня, Ѣхалъ рядомъ и все съ тою же наивною увѣренностью, что для меня это очень пріятно, предлагалъ панировъ, просилъ спичекъ. А то, поровнявшись со мной, онъ вдругъ вытянулся въ са-

няхъ во весь ростъ, замахалъ рукавами своей шубы, которые были у него чуть ли не вдвое длиннѣе рукъ, и закричалъ:

— Луци, Васька! Обгони-ка тысячныхъ! Эй, котята!

И докторскія котята при громкомъ злорадномъ смѣхѣ Соболя и его Васьки понеслись впередъ. Мой Никаноръ обидѣлся и придержалъ тройку, но когда не стало уже слышно докторскихъ звонковъ, поднялъ локти, гикнулъ и моя тройка, какъ бѣшеная, понеслась вдогонку. Мы вѣхали въ какую-то деревню. Вотъ мелькнули огоньки, силуэты избъ, кто-то крикнулъ: «Ишь, черти!» Проскакали, кажется, версты двѣ, а улица все еще тянется и конца ей не видно. Когда поровнялись съ докторомъ и поѣхалитише, онъ попросилъ спичекъ и сказалъ:

— Вотъ прокормите-ка эту улицу! А вѣдь здѣсь пять такихъ улицъ, сударь. Стой! Стой!—закричалъ онъ.—Къ трактуру поворачивай! Надо согрѣться и лошадямъ отдохнуть.

Остановились около трактира.

— У меня въ епархїи не одна такая деревенька,—говорилъ докторъ, отворяя тяжелую дверь съ визжащимъ блокомъ и пропуская меня впередъ.—Среди бѣла дня взглянешь на такую улицу — конца не видать, а тутъ еще иерусалки, и только затылокъ почешешь. Трудно что-нибудь сдѣлать.

Мы вошли въ «чистую» комнату, гдѣ сильно пахло скатертями, и при нашемъ входѣ вскочилъ съ лавки заспаный мужикъ въ жилеткѣ и рубахѣ на-выпускѣ. Соболь попросилъ пива, а я чаю.

— Трудно что-нибудь сдѣлать,—говорилъ Соболь.—Ваша супруга вѣрить, я преклоняюсь передъ ней и уважаю, но самъ глубоко не вѣрю. Пока наши отношенія къ народу будутъ носить характеръ обычной благотворительности, какъ въ дѣтскихъ приютахъ или инвалидныхъ домахъ, до тѣхъ поръ мы будемъ только хитрить, вилять, обманывать себя и больше ничего. Отношенія наши должны быть дѣловыя, основанныя на расчетѣ, знаніи и справедливости. Мой Васька всю свою жизнь былъ у меня работникомъ; у него не уродило, онъ голодень и боленъ. Если я даю ему теперь по 15 коп. въ день, то этимъ я хочу вернуть его въ прежнее положеніе работника, то-есть охраняю прежде всего свои интересы, а между тѣмъ эти 15 коп. я почему-то называю помошью, пособіемъ, добрымъ дѣломъ. Теперь будемъ говорить такъ. По самому скромному расчету, считая по 7 коп.

на душу и по 5 душъ въ сем'ѣ, чтобы прокормить 1.000 семействъ, нужно 350 руб. въ день. Этой цифрой опредѣляются наши дѣловыя обязательныя отношенія къ 1.000 семействъ. А между тѣмъ мы даемъ не 350 въ день, а только 10 и говоримъ, что это пособіе, помошь, что за это ваша супруга и всѣ мы исключительно прекрасные люди, и да здравствуетъ гуманность. Такъ-то, душа моя! Ахъ, если бы мы поменьше толковали о гуманности, а побольше бы считали, разсуждали да совѣтливо относились къ своимъ обязательствамъ! Сколько среди насъ такихъ гуманныхъ, чувствительныхъ людей, которые искренно бѣгаютъ по дворамъ съ подписными листами, но не платятъ своимъ портнымъ и кухаркамъ. Логики въ нашей жизни нѣть, вотъ что! Логики!

Мы помолчали. Я мысленно сдѣлалъ расчетъ и сказалъ:

— Я буду кормить тысячу семействъ въ продолженіе двухсотъ дней. Вы приѣзжайте завтра поговорить.

Я былъ доволенъ, что это вышло у меня просто, и быть радъ, что Соболь отвѣтилъ мнѣ еще проще:

— Ладно.

Мы заплатили, что нужно, и вышли изъ трактира.

— Люблю такъ путаться,—сказалъ Соболь, садясь въ сани.—Экчеленца, одолжите спичку: я свои въ трактирѣ забылъ.

Черезъ четверть часа его пары отстала, и сквозь шумъ метели уже не слышно было его звонковъ. Пріѣхавъ домой, я прошелся по своимъ комнатамъ, стараясь обдумать и возможно яснѣе опредѣлить себѣ свое положеніе; у меня не было готово для жены ни одной фразы, ни одного слова. Голова не работала.

Не придумавъ ничего, я отправился внизъ къ женѣ. Она стояла у себя въ комнатѣ все въ томъ же розовомъ калотѣ и въ той же позѣ, какъ бы загораживая отъ меня свои бумаги. Лицо ея выражало недоумѣніе и насмѣшку. Видно было, что она, узнавъ о моемъ пріѣздѣ, приготовилась не плакать, не просить и не защищать себя, какъ вчера, а смеяться надо мною, отвѣтить мнѣ презрѣніемъ и поступать решительно. Лицо ея говорило: если такъ, то прощайте.

— Natalie, я не уѣхалъ,—сказалъ я:—но это не обмань. Я съ ума сошелъ, постарѣлъ, боленъ, сталъ другимъ чело-

въкомъ — какъ хотите, думайте... Отъ прежняго самого себя я отшатнулся съ ужасомъ, съ ужасомъ презираю и стыжусь его, а тотъ новый человѣкъ, который во мнѣ со вчерашняго дня, не пускаетъ меня уѣхать. Не гоните меня, *Natalie!*

Она пристально посмотрѣла мнѣ въ лицо, извѣрила, и въ ея глазахъ блеснуло беспокойство. Очарованный ея присутствиемъ, согрѣтый тепломъ ея комнаты, я бормоталъ какъ въ бреду, протягивая къ ней руки:

— Я говорю вамъ: кромѣ васъ, у меня никого нѣть близкихъ. Я ни на одну минуту не переставалъ скучать по васъ, и только упрямое самолюбіе мѣшало мнѣ сознаваться въ этомъ. Того прошлаго, когда мы жили какъ мужъ и жена, не вернешь, и не нужно, но вы сдѣлайте меня вашимъ слугой, возьмите все мое состояніе и раздайте его, кому хотите. Я покоенъ, *Natalie*, я доволенъ... Я покоенъ.

Жена, пристально и съ любопытствомъ смотрѣвшая мнѣ въ лицо, вдругъ тихо вскрикнула, заплакала и выбѣжала въ сосѣднюю комнату. Я пошелъ къ себѣ наверхъ.

Черезъ часъ я уже сидѣлъ за столомъ и писалъ «Исторію желѣзныхъ дорогъ», и голодающіе не мѣшали мнѣ дѣлать это. Теперь я уже не чувствую беспокойства. Ни тѣ беспорядки, которые я видѣлъ, когда на-дняхъ съ женою и съ Соболемъ обходилъ избы въ Пестровѣ, ни зловѣщіе слухи, ни ошибки служащихъ людей, ни моя близкая старость — ничто не беспокоитъ меня. Какъ летающія ядра и пули на войнѣ не мѣшаютъ солдатамъ говорить о своихъ дѣлахъ, Ѣсть и починять обувь, такъ и голодающіе не мѣшаютъ мнѣ покойно спать и заниматься своими личными дѣлами. У меня въ домѣ, во дворѣ и далеко кругомъ кипитъ работа, которую докторъ Соболь называетъ «благотворительною оргіей»; жена часто входитъ ко мнѣ и беспокойно обводитъ глазами мои комнаты, какъ бы ища, что еще можно отдать голодающимъ, чтобы «найти оправданіе своей жизни», и я вижу, что, благодаря ей, скоро отъ нашего состоянія не останется ничего, и мы будемъ бѣдны, но это не волнуетъ меня, и я весело улыбаюсь ей. Что будетъ дальше, не знаю.

Оглавлениe

VII ТОМА.

	СТР.		СТР.
Водоля	3	Припадокъ	119
Княгиня	16	Шампанское	142
Бѣда.	28	Въ ссылкѣ	148
Спать хочется	35	Отецъ	157
Холодная кровь	41	Леса	165
Скущая история	59		



INSTITUT
JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ
BIBLIOTEKA
00-300 Warszawa, ul. Nowy Świat 71
Tel 26-68-63



F

24.113/7